

Владимир
ПОРУДОМИНСКИЙ
СТАРИК
НА ОБОЧИНЕ

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ СТАРИК НА ОБОЧИНЕ

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАЖЛА

Владимир
ПОРУДОМИНСКИЙ

СТАРИК
НА ОБОЧИНЕ

КАЯЛА
Киев, 2018

УДК 821.161.1(430)'06-3
П60

Порудоминский В.

П60 Старик на обочине. — Киев: Каяла, 2018. 232 с. — (Серия «Современная литература: поэзия, проза, публицистика»).

ISBN 978-617-7390-76-2

«Странно и приятно думать, что то время, которое я помню... — уже история». Словами Льва Толстого открывается книга, в которой старый писатель (книга издается к 90-летию автора) рассказывает о многом из того, что пришлось пережить за долгие годы, ему отпущенные. Пережитое, передуманное, пережитое, во всевозможных, подчас неожиданных сцеплениях возникает в памяти автора, требует воплощения в слове, сызнова живет на книжных страницах. «Собственно это оригинальный литературный жанр, изобретенный самим мастером: синтез мемуарно-автобиографической прозы, просто художественно прозы и эссеистики. Этим, однако, его характеристика едва ли исчерпывается», — пишет о жанре книги Борис Хазанов. События реальные и вымышленные, с которыми знакомится читатель, рассказывают о Мире и Времени, в которых жил автор, которые жили и живут в нем.

УДК 821.161.1(430)'06-3

БЫЛО — ТАК

Давным-давно, еще в 60-е, юной студенткою журфака МГУ, открыла я для себя этого писателя — Владимира Порудоминского. Его книги из серии «ЖЗЛ» о Гаршине и о Дале, резко выделяясь из потока серобиографической словесности, поражали терпким сочетанием учености и человечности, естественным, неангажированным тоном повествования, да что там — попросту талантом рассказчика. Редкий дар: автор так умел проникнуться чужой (и очень крупной) личностью, драмою, тайной, что — без фамильярного нарушения дистанций — становился словно бы «доверенным лицом» и, одновременно, исследователем героя.

Знала ли я, что много лет спустя, уже в грядущем столетии, этот самый, неведомый мне лично и с восторгом приемлемый заочно, просветитель — станет моим, что называется, *добрым знакомцем*, собеседником, корреспондентом и вообще, я надеюсь, другом?

А дело было так. В 2001 году меня занесло в славный немецкий город Кёльн — читать лекции в местном Институте славистики. Два дня надо было где-то перекантоваться, пока освободится комната в общежитии, — общие друзья в Москве дали мне координаты Порудоминских... И вот я иду с саквояжем по кёльнской улочке к указанному в записке дому. Из окна в третьем этаже смотрит на меня прекрасное, будто античное, с седою челкой лицо — Владимир Ильич — и улыбается, будто мы знаем друг друга всю жизнь. «Милости прошу к нашему шалашу!»

Эта семья, где все поколения бурлят творческой энергией, рисуют, сочиняют, философствуют, учатся, преподают, служат в церкви и просто делают бесконечно много для окружающих, стала моей родней. Знаете: есть такие люди, которым самим трудно, но они не устают облегчать участь других (чужих для них нет)?

Как я раньше жила и справлялась без этих людей?

Владимир Порудоминский оказался мастером не просто биографического жанра и не только искусствоведом и филологом — когда я впервые прочла его прозу, балансирующую на грани строго-документальной мемуаристики и смелого вымысла, дух захватило: новое, свежее, насыщенное!

Вернувшись в Москву, отнесла эти рассказы в журнал «Знамя», приготовясь ждать ответа долго и безропотно. Звонок из редакции буквально через несколько дней: «Таня! Что вы нам принесли?» «А что?» «Это чудо! Где ваш Порудоминский? Координаты — скорее!»

Потрясающее повествование «Похороны бабушки зимой 1953 года» появилось в «Знамени» осенью 2001-го под рубрикой «*Non fiction*» — определение весьма условное. И эта вещь, и все остальные тексты В. Порудоминского, собранные в книге, не умещаются в привычные жанровые рамки. Литература повышенного правдоподобия? Автобиографическая эссеистика? Словесный рисунок с натуры? Так или иначе — перед нами лирическая проза, где повествователь (он же — главный герой) чрезвычайно близок к автору, но не тождествен с ним, ибо не эгоцентричен. Он спускает в себе время, пространство, историю, многих *детей ничтожных света* и горестно-блаженную мудрость того, кто взялся говорить от их имени.

«Бабушка умерла в психиатрической больнице. Больница находилась за городом — сорок минут на электричке. В вагоне, кроме меня, было всего два-три человека: январь, пятница — будний день, рабочее время», — сразу задан ритм: твердый, отрывистый, нежный. Сразу явлена хроникальная четкость и разночинский лад повествования. Сразу при этом ощущаешь: это не любительская фотография, а художественное чудо с фантазией, с гротеском, с головокружительными зигзагами подсознания. Читая прозу В. Порудоминского, поражаешься обилию материальных подробностей, житейских деталей, бытовых мелочей, просто *прохожих персонажей* («сколько типов и лиц!» — как сказал бы Пастернак), сквозь которое мощным лучом проходит внятный автору единый замысел.

В рассказе «Пробуждение во сне» писатель воссоздает творчески причудливую работу собственной души: «...Средь бела дня иду по улице города, жителем которого оказался совсем недавно и который обречен быть моим настоящим и никогда — прошлым, и картины иных, давних времен, будто неожиданно, без всякой связи с тем, что я вижу вокруг и о чем только что думал, с поразительно точными, тревожащими до боли подробностями, “околичностями”, как говорили старые русские живописцы, встают передо мною»... Ключ найден — уроки старой русской живописи, о которой с таким блеском писал Порудоминский-искусствовед, но — добавлю — помноженные на внятную ему насквозь толстовскую школу и на персонально-единственный опыт автора, обретенный в XX и в уже XXI столетиях.

Он пишет вспышками памяти и, разом, откровеньями текущего мига.

Он то и дело нарушает стройность сюжета, никогда не разрушая правду восприятия.

Он виртуозно владеет искусством коллажа: убийство Кирова — фильм «Веселые ребята» — патефоны с изогнутой рукояткой — шляпа с вуалеткой — первомайская демонстрация — открытие московского метро... А в проемах меж кадрами — участь, судьба, смерть и, все острее, жизнь. Хронос бытия.

Он, идет ли речь о Большом Терроре, о детских играх, о тайных снах или о литературных хохмах, — дает воздух эпохи, который гудит и поет в его прозе как живой. Без честолюбивых смещений, без фальши, без купюр. Читаешь и веришь: так было. Было — так.

«Но разве нам дано постигнуть тайную связь времен и вещей?» — вопрошает несамовлюбленный писатель. Отвечаю: в прозе такого уровня — дано.

Владимир Порудоминский наделен талантом обращаться, казалось бы, канувшее «давно» — в острейшую часть настоящего.

...После первой встречи летом 2001 года мы с Владимиром Ильичом — в постоянной пунктирной переписке. Свои послания — премудрые, печальные и всегда обнадеживающие — он подписывает: «Ваш старый Кёльнский Собор». А ранней весной 2003-го мне посчастливилось вновь оказаться в их многолюдном доме, да еще в дни знаменитого кёльнского карнавала, когда весь город передевается, пьет пиво, поет песни, идет с факелами: проводы зимы.

Мы встретились на вокзале (я на два дня приехала в Кельн из Мюнхена — с приключеньями и пересадками: немецкие железнодорожники бастовали!) — я, Порудоминский и Йенс Херльт, замечательный русист, младший друг и ученик Владимира Ильича. Мне немедленно был куплен огромный разноцветный праздничный колпак с колокольчиками, который нынче стоит у меня в Москве на этажерке как оберег, — и начался наш общий карнавал, и бесконечный разговор о главном, и смех сквозь слезы.

Впрочем, лучше я приведу тут свое скромное стихотворение, где обо всем об этом поведано в рифму...

GEISTERZUG

В. И. Порудоминскому

Из вокзала — на площадь. И сразу купили колпак
Желто-синий, снабженный бубенчиками перезвона
С карнавальными духами:

это тебе не толпа,
Но мундиры и рясы, а рядом — метла и корона.

Это древнее шествие здесь называется «пуг» —
Коллективный проход и орание песен на кельше,
Чтоб сама география спутала север и юг,
Чтоб история взвыла куда веселее и горше,

Чем в учебном пособии... Цугом идти в полумрак
На мерцающий факел (и это порыв, а не навьк!)
И гордиться, что твой настоящий дурацкий колшак —
Он и впопу пришелся, и все-таки падает набок.

Теперь понятно ли, почему я счастлива и горда распахнуть вам
дверь в эту прекрасную книгу нашего с вами современника, которую
следует немедленно (а потом — медленно) начинать читать!

Татьяна Бек, 2004 г.

ИЗ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА»

«Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, — 30-е года — уже история».

Лев Толстой

Вместо эпитафии

Мне было шесть лет.

Недавно, на днях, может быть, вчера, убили Кирова.

Этот день, 1 декабря 1934 года, я хорошо помню.

Мы с соседской девочкой Танькой Тепляковой, топтались у ворот нашего дома и смотрели, как дворник, дядя Костя Афанасьев, которого все жильцы именовали просто Афанасием, взобравшись на некрашеную деревянную лесенку, расправляет в кольцах над воротами спутанные ветром красные полотнища, обшитые со всех сторон широкой черной каймой.

Мне было страшно.

Тревога и предчувствие дрожали в моей детской душе, пораженной неведением.

По улице, отбивая шаг, проследовал отряд красноармейцев в остроконечных шлемах и длинных серых шинелях.

Туманное морозное утро, серая улица, серый, как бы застывший в каждый миг своего движения отряд, — потом всё это осталось в памяти высеченным из гранита барельефом на серой стене противоположного дома.

Лица пешеходов были угрюмы и замкнуты.

Торопливым шажком прошел мимо наших ворот священник. Облачение вне храма священникам надевать не разрешалось, — мы узнавали их по длинным волосам, стекающим из-под черной шляпы, по бороде, которую тогда мало кто носил, по всей

особой повадке. Встреча со священником считалась недоброй приметой. Танька, хоть и годом младше, была много шустрее меня: она тотчас легонько хлопнула меня ладонью, как хлопают, играя в салочки, и крикнула: «Горе на тебя!». Я беспомощно озирался: следовало не медля осалить еще кого-нибудь и передать недоброе пожелание, — но кому? Не Афанасию же!..

Откуда было знать мне, маленькому, что вся Россия уже *осалена*, запятнана, заклеямена кощеевым шестипалым прикосновением, обожжена приговором: «Горе на тебя!».

Мамины папиросы

1

...Иногда я просыпался по ночам.

Мне казалось — глубокой ночью.

В соседней комнате горел свет. Оттуда слышались негромкие разговоры взрослых...

Может быть, конечно, я просыпался вовсе не среди ночи.

Просто меня рано, в приличное возрасту время укладывали спать, и всякое пробуждение в темноте чудилось случившимся глубокой ночью.

Но может быть, и в самом деле я просыпался далеко за полночь, а взрослые еще бодрствовали: дни в ту пору, и с ними вся жизнь, сильно сдвинулись в ночь.

2

Привлекательные лозунги о восьмичасовом рабочем дне были вкованы в законы и указы — и забыты. Потому что «Время — вперед!», «Пятилетку — в четыре года!» — кто посмеет тормозить могучую поступь народа, спешащего в социализм?!

«Просыпается с рассветом вся советская земля», — даже если только-только успела глаза сомкнуть.

«Не спи, вставай, кудрявая, навстречу дня», — даже если еще не ложилась.

Вот ведь и — «люди в Кремле никогда не спят»...

Товарищ Сталин любил работать по ночам. От него и пошла эта всесоюзная бессонница.

Соответственно, ближайшее окружение должно было находиться на месте. Опять же соответственно, на месте должны были пребывать наркомы, после войны переименованные в министров, а с ними сотрудники наркоматов-министерств, предприятий, ведомств — все, кто мог потребоваться и страшился быть востребованным во всякое время дня, а главное, ночи. И так, по цепочке, до небезызвестной Марьи Федотовны, балагурки, уборщицы при общественном нужнике на площади Ногина, напротив тяжелого темно-серого здания прежнего ВСНХ, позже заселенного серьезными министерствами. «Без меня всю Москву заснут», — доверительно говорила полуночному посетителю Марья Федотовна, угощаясь папироской.

Поэты воспевали никогда ими не виденный немеркнущий свет в окне сталинского кабинета.

В прозрениях Даниила Андреева запечатлелись эти бессонные сталинские ночные бдения, когда за плотно закрытыми дверями вождь вступал в общение с силами мирового Зла, набираясь от них яростной темной энергии.

Меня всегда занимал вопрос: почему Сталин, подыскивая вымышленную дату своего рождения взамен подлинной, выбрал 21 декабря — самый короткий день в году, самую долгую темную ночь?..

3

...Я просыпался.

Табачный дым беспокойно качался в просвете двери

Я побаивался темноты и просил оставлять дверь приоткрытой.

Взрослые разговаривали и курили.

Курили тогда много. Мне кажется, что в пору моего детства люди курили много больше, чем теперь.

У Поэта: «С табаком в чайных чашках весь в окурках буфет».

Быть взрослым означало, прежде всего — курить. Мальчики во дворе (чуть позже — и я с ними) сворачивали сигарки из сухих листьев. Вкурившись во вкус, начинали таскать папиросы у родителей. В девятом классе я уже курил всюю.

Во время войны, кроме наших исконных российских папирос, появились американские сигареты. Я поворовывал у мамы

из большой, сразу на сто штук, пачки полученные по ленд-лизу сигареты «Мемфис». Позже никогда их не встречал. Они казались замечательно вкусными (может быть, после рассыпного табака и махорки) и остались в душе лакомым, каким-то шоколадным воспоминанием ранней юности.

4

Из папирос моего детства помню «Нашу марку», «Яву», «Пушки», «Бокс» — двух сортов: дешевые — в бумажной пачке и дорогие, с тем же названием, в картонной коробке. Но у дорогого «Бокса» на крышке коробки были яркими красками нарисованы почему-то не боксеры, а восточные борцы, похоже, что монголы, низко пригнувшиеся для схватки и протянувшие один к другому руки.

Охочий до шуток народ расшифровывал самую ходкую аббревиатуру *ВКП(б)* — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков): *Ворошилов курит папиросы («Бокс»)*. За такую шутку можно было схлопотать нешуточный срок.

(Замечательная способность — рождать недозволенные шутки и анекдоты под прицелом надзирателей. Когда за острое слово перестали сажать, таковые слова не то что числом поубавились — просто почти что вывелись. То ли сочинять стало неинтересно («русская рулетка»), то ли жизнь нынешняя сделалась настолько нелепой, что анекдот, шутка, призванные заострять действительность, оборачивать страшное смехом, не в силах превзойти ее, хоть и страшную, но смехотворную нелепость.)

5

Никакой борьбы с курением, конечно, не велось. Разве что в излюбленных тогда «сборных» концертах, где певицу сменял юморист, юмориста — скрипач, скрипача — чечеточник, а чечеточника — дуэт из оперетты, среди иных прочих появлялся чтец с ранним чеховским (еще Антоши Чехонте) рассказом «О вреде табака», суть которого как раз в том, что лектор, вышедший на сцену, чтобы поведать публике о вреде никотинового зелья, не в силах удержаться, рассказывает взамен о своей неудавшейся жизни. Да и кто бы посмел поднять руку на табак, когда даже на первой странице главной книги для детей «Вчера и сегодня», по-

вествующей, как счастливо преобразовала октябрьская революция наше отечество, красовался портрет товарища Сталина, раскуривающего трубку? Когда придворные стихотворцы равняли огонек сталинской трубки с сиянием кремлевских звезд: «Шуршит по крышам снеговая крупка, На Спасской башне в полночь бьют часы. Знакомая *негаснущая* трубка, Чуть тронутые проседью усы...» и т.д.

Еще в начале 1930-х известный литератор, увидевший Сталина, особо отметил в дневниковой записи, что тот курил свою *легендарную* трубку.

Среди немногих подробностей интимной жизни вождя и учителя было, в частности, известно, что курил он не трубочный табак, а, набивая трубку, обламывал папиросы «Герцеговина флор».

Из статьи об этих папиросах, обнаруженной в интернете, я узнал, что начали их выпускать в 1912 году (то есть Сталин к ним приохотился, возможно, еще в дооктябрьскую эпоху).

В статье, правда, сказано, что в сталинское время папиросы «Герцеговина флор» как предмет высочайшего пользования производились под надзором ГБ, в очень ограниченном количестве и в свободную продажу не поступали, будучи распространяемы лишь в кругу избранных. Но это — позднейшая острая приправа.. Черно-зеленые с золотом коробки «Герцеговины флор» в те достопамятные годы можно было увидеть во всяком порядочном табачном киоске и, затягиваясь кисловатым дымком, как бы сподобиться общего причастия с величайшим и единственным.

У Анатолия Рыбакова в «Детях Арбата» есть запоминающаяся глава о приглашенном к Сталину зубном враче. У персонажа, насколько я знаю, имелся реальный прототип. Материал главы основан на его рассказе. По свидетельству врача, у Сталина были испорченные никотином, темные зубы заядлого курильщика.

6

У мамы были крепкие белые зубы сибирячки, хотя курила она всюю.

В течение дня выкуривала пачку и вечером успевала распечатать новую.

Курила она охотно, можно даже сказать — с любовью. Видно было, что каждая папироса ей в радость.

Мама курила «Беломор».

Эти папиросы начали выпускать в 1932 году.

Пачка из грубой серой бумаги. Бело-розово-голубая картинка: схематическая карта Европы, на которой, как особенная достопримечательность, красным отмечен Беломоро-Балтийский канал имени Сталина.

Рекордно быстрое строительство канала подходило к окончанию. Оно было завершено в 1933-м.

7

Канал был гордостью первой пятилетки. Такого строительства нигде и никогда в мире и в самом деле не было... Беломорканал был невиданной по размаху *каторжной* стройкой. Его от начала до конца строили заключенные. Их именовали с подлой демагогической торжественностью — «заключенные *каналоармейцы*». Отсюда и пошла ставшая составной частью нашей истории аббревиатура *з/к* (зека). Потом просто — *зек*. Про «каналоармейцев» забыли за ненужностью. Всеобщий, всесоюзный *зек*.

С Беломора начиная, каторга сделалась весомой *естественной* частью советской «экономики». При этом произносились речи о том, что (рабский) труд превращает враждебных обществу людей в полноценных и полезных граждан. На Беломоре это с той же демагогической подлостью называлось — «*перековка*».

8

Еще прежде того, как развернулось строительство канала, Максим Горький по приезде из Италии нанес визит в Соловецкий концлагерь особого назначения, оглядел пытливым взглядом социалистического реалиста то, что ему сочли нужным показать, и, захлебываясь в слезах восторга, благодарил чекистов, «чертей этаких» (любовно), за их самоотверженный гуманный труд по воспитанию нового человека.

Горький придумал сделать возвышенную, жизнеутверждающую книгу о том, как за колючей проволокой, в концлагерях (с карцерами, расстрелами, в голоде и холоде, — о чем в книге, понятно, сообщать не предполагалось) чуткие педагоги чекисты *перековывают* недоброкачественную людскую массу в советский народ.

Это самая позорная, самая преступная книга, вышедшая в России.

По-своему самая замечательная и самая необычная книга.

Ее коллективным автором были лучшие тогдашние писатели. «Звезды» советской литературы.

Писателей привезли на стройку, кормили икрой, балыками, колбасами, которых многие в те скудные посленэповские годы и дома не едали (норма зека — 500 граммов хлеба и баланда), инженеры человеческих душ под руководством лагерного начальства беседовали с каторжанами, высоко оценили человечность и гуманность чекистов («любая иная гуманность и человечность являются ложью»), восторгались увиденным — и, как повелось на канале, ударным трудом быстро собрали огромный 600-страничный том, озаглавленный просто и мощно — «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина».

9

Виктор Борисович Шкловский рассказывал, будто на вопрос одного из руководителей НКВД, как он чувствовал себя на строительстве Беломорканала, откликнулся рискованной остротой: «Как живая черно-бурая лиса в меховом магазине».

Но в книге писатель зачем-то посмеялся над только что привезенной партией зеков из Средней Азии: очень смешно они выглядели на беломорском холоде в тощей южной одежке (не на меху), в которой их взяли.

10

Вообще в лагере литераторов, как вспоминали они по приезде, царило бодрое, веселое настроение (в отличие, надо полагать, от лагерей, которые им показывали): много пили, пели, шутили, выпускали юмористическую стенгазету.

У Мандельштама — об этом: «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам...

Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы».

Осенью 1933-го, той самой, когда звезды советской литературы воодушевленно варили книгу о канале, Осип Мандельштам написал роковое «Мы живем, под собою не чуя страны...» — и начал свой путь на Голгофу.

Книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» предназначалась в качестве подарка делегатам 17-го съезда ВКП(б). Съезд проходил в 1934 году. Его торжественно именовали «съездом победителей». В 1937-м большая часть «победителей»-делегатов была уничтожена. Съезд шепотком переименовали в «съезд расстрелянных». Книга, набитая к тому же *не теми* именами, оказалась не ко двору. Было приказано изъять ее из библиотек и книжных магазинов.

Памятником каналу, «чуду первой пятилетки», остались береговые откосы, темный камень, темная вода — и папиросы «Беломор».

Вот уж и впрямь — подлинное чудо. Паршивые папиросы 5-го класса, с обилием вредных смол, восемьдесят лет всё в той же несменяемой аляповатой упаковке, — единственная марка, пережившая эти годы-десятилетия и, даже при нынешнем табачном изобилии, по-прежнему любимая народом.

Может быть, впрочем, и не каналу памятник, давно сдвинутому в осознаваемой нами картине мира куда-то в сторонку иными «великими стройками», но памятник эпохе, так или иначе поныне нескончаемой, — памятник самим себе.

Двадцать пять с лишком лет спустя, в 1961-м, снова собрали съезд партии, уже 22-й по счету.

На этот раз объявили, что социализм в стране построен, теперь до коммунизма рукой подать. Коммунизм назначили в 1980 году.

Почему бы и нет?

Помню, зимой 1953-го большой группе работников печати показывали подходившее к концу строительство университета на Ленинских горах. Мне тоже достался билет — по знакомству: я в ту пору не работал, никуда не брали. До смерти Сталина оставалось несколько недель. Время было мрачное.

Удостоившиеся входного билета работники печати сидели в каком-то пустынном, ярко освещенном актовом зале и ждали приезда начальства. С поздним временем, как уже помним, тогда не считались. (Мне иногда кажется, когда вспоминаю — не памятью, а всем существом, — что той зимой время как бы остановилось.) Наконец, на сцене появилось несколько плотных, ухоженных мужчин. Они пошептались между собой, потом один из них, самый моложавый, с ярким румянцем на полных щеках, выступил вперед и произнес буквально следующее:

— Когда наша машина поднималась на Ленинские горы и под нами, внизу сверкала огнями красавица-Москва, а перед нами устремилась к небу башня университета, мы замерли от волнения, и лишь минуто-другую спустя один из нас (сразу стало понятно, что это он про себя), — сказал: «Братцы, а ведь это уже коммунизм!».

Пребывавшие на сцене братцы согласно закивали и заулыбались. Зал отозвался на только что объявленный коммунизм бурными аплодисментами.

Но вот Сталин умер, и выяснилось, что коммунизма всё еще нет.

Стихи о похоронах Сталина, ходившие по рукам, Борис Слуцкий закончил строчкой: «Социализм был выстроен, поселим в нем людей».

Построили пятиэтажки, люди расселились; пора и в самом деле — в коммунизм.

Другим решением 22-го съезда было — убрать тело Сталина из мавзолея.

В отличие от коммунизма с этим делом справились быстро — в одну ночь.

В подробном описании перезахоронения меня особенно поразила малая подробность: перекладывая тело вождя из стеклянного саркофага в обычный гроб, с мундира генералиссимуса спорили золотые пуговицы, переданные затем в спецхранилище, а взамен пришили латунные. Было что-то трогательное в этой нашей неизменной заботе о государственном достоинстве (так сказать: бриллианты для диктатуры пролетариата).

Вскоре после завершения 22-го съезда, ранним осенним вечером того 1961 года, еще не стемнело, мы с Н., торопясь куда-то, вышли к Земляному валу, и — такая удача! — на стоянке такси, будто только нас и дожидаясь, задержалась единственная машина. Мы шустро пробрались на заднее сидение, лихой водитель в летной кожанке, еще не спрашивая «куда?», нажал на газ — и тут же еще более резко наступил на тормоз. Машину сильно качнуло. «Ого!» — только и выдохнул водитель, даже и не изумленно, скорее — потрясенно. Мы вслед за ним глянули в переднее стекло.

...Не обращая внимания на уличное движение, не поворачивая в его сторону головы, уверенным размеренным шагом Садовую переходил — Сталин.

Это был *он*, и только — *он*. Его голова, его фигура, его походка, его слегка согнутая в локте рука. Серая шинель, не с погонами, как в поздние годы, а хрестоматийная, довоенная, со слегка распахнувшимися на ветру полами бронзовела в лучах заходящего солнца (это я для красоты описания).

Садовая ошалела от неожиданного восторга. Скрежетали тормоза машин. Медным всадником вздыбился троллейбус; контактная штанга, срываясь с провода, выдрала из него метровую голубую искру. А *он* шел себе ровным ходом, не оступаясь, нигде

не сворачивая, и я вспомнил, пересказывали, будто, услышав музыку нового гимна (взамен революционного «Интернационала»), ту самую, которая и поныне подымает с места полтора (или сколько там осталось) миллионов россиян, вождь заметил удовлетворенно: «Как броненосец прет!» Сталин между тем приблизился к нашей машине, прошел перед самым ее носом, обогнул и, даже касанием глаза не поинтересовавшись, имеется ли кто-нибудь на заднем сидении, открыл переднюю дверцу, устроился рядом с водителем и, не повернувшись к нему, по-прежнему глядя прямо перед собой, негромким хриплым голосом с сильным акцентом приказал: «На Большую Грузинскую».

Я тогда еще ничего не знал ни про ныне легендарного Феликса Дадаева, которого якобы и впритык не в силах были отличить от подлинника даже понавидавшиеся вождя члены политбюро (или делали вид со страха?), ни про четырех (кажется) других двойников Сталина, чьи имена остались для меня неизвестными. Возможно, это была опасная шутка или, скорее, шаг отчаяния кого-нибудь из них в те дни и часы, когда дело их жизни было по велению свыше низвергнуто в трехметровую яму и сырою землю зарыто в тщетной надежде, что навсегда предано поруганию и забвению... Не ведаю. Но то, что я пишу, — не выдумка, не притча. Как говорил мой знакомый охотник из какого-то таежного племени: «Это не факт, а было на самом деле».

«На Большую Грузинскую!» — хрипло, с акцентом приказал человек в серой шинели и серой низко надвинутой на лоб фуражке. Он достал из кармана трубку и, не раскуривая, держал ее в левой руке. «Есть!» — восторженно отозвался водитель.

За всю дорогу странный пассажир не произнес ни единого слова. Он сидел неподвижно с нераскуренной трубкой в руке и смотрел из-под козырька фуражки только вперед. Мы все тоже сидели молча. В нужном месте он слегка шевельнул трубкой, останавливая машину, выудил из кармана маленький старомодный кошелек для мелочи и щелкнул замочком из двух цепляющихся один за другой металлических шариков. «Не надо. Спасибо, товарищ Сталин», — зачарованно остановил его водитель. Человек снова щелкнул замочком, опустил кошелек в карман и, так и не повернувшись в нашу сторону, мерной походкой направился в подворотню большого ведомственного дома.

Мы продолжали стоять, не трогаясь с места.

«Перекурим?» — сказал водитель. Я протянул ему пачку с сигаретами. «У меня Беломор», — сказал водитель. Мы закурили.

«Надо же, — засмеялась Н. — Из мавзолея вытащили, в землю зарыли, а он тут как тут».

«Куда мы без него, — сказал водитель. — Пропадем...»

16

Я хорошо знаю эту книгу про Беломорканал. Серый, «стального» цвета переплет. В правом верхнем углу — также отливающий металлом медальон с барельефным портретом Сталина. Вот уже почти восемь десятилетий книга стоит у меня на книжной полке.

В трудные 1930-е мои весьма смиренные родители книг не уничтожали.

А помойки в те годы полнились книгами.

Дом у нас был большой, три корпуса, — соответственно, и помойка обширная: этакое кирпичное сооружение, в облике которого сквозила даже архитектурная мысль (тайком, сильно рискуя, — но как удержишься: всё та же русская рулетка! — ее именовали «мавзолей»). По утрам выброшенные книги распирали прочные стены помойки, развалом и пачками обступали ее снаружи.

Дом был кооперативный, заселен интеллигенцией. (Тогда, в 1930-е, изначальных жильцов поубавилось, появились новые, иных сословий.)

Как известно, в 1930-е германские национал-социалисты, придя к власти, раскладывали в городах костры из *не-наших* — то есть *не-ихних* — книг. (Примечательно: организатором сожжения книг были не штурмовики, не геббельсовское министерство пропаганды, а *по-нашему* — то есть *по-ихнему* — настроенные студенты и университетские профессора.) Недавно общественность и СМИ Германии отметили восьмидесятилетие книжных аутодафе.

Мы о своей расправе с книгами, конечно, и не вспоминаем, хотя уничтожили их, может быть, не меньше. Выбрасывали книги на помойки, предварительно исследуя, не остались ли где автограф, дарственная надпись или пометки на полях. Топили ими

печи (тем, у кого оставалось печное отопление, в этом смысле сильно повезло). Увозили за город и оставляли в каком-нибудь лесном овраге. Счастливые обладатели отдельных квартир (в отличие от обитателей коммуналок, где, куда ни повернешь, чужой взгляд) жгли интеллектуальные сокровища по листку в унитазах, задыхаясь от дыма и страшась предательской копоты.

Представим себе хотя бы только объем уничтоженной политической литературы — выходявшие миллионными тиражами брошюры и иные обращенные к «широкому читателю» сочинения разного калибра авторов, теперь объявленных «врагами народа». Прибавим к ним сотни учебных и научных изданий, написанных *не теми, не о том, не о тех*. А тут еще прозаики, поэты, драматурги, вдруг как бы бесследно исчезнувшие с лица земли и тем самым лишенные права жительства на книжных полках в квартирах рядовых граждан...

17

Мои родители книг не уничтожали.

Они не были героями.

Где уж там!.. До самой смерти Сталина мама привыкла проводить бессонные ночи: читала, дымила «Беломором» и прислушивалась к шуршанию пробегавших под окном машин — не остановится ли какая...

Может быть, и книги они не выбрасывали, не сжигали — отчасти из страха: засорить трубу в клозете, закоптить стены, встретить крадущегося на помойку соседа со своим ворохом гутенберговских отпрысков под мышкой.

Или интуитивно познали истину, годы спустя сформулированную опытным *сидельцем* Львом Разгоном: «Если за тобой пришли, а у тебя в шкафу только сочинения классиков марксизма, — всё равно заберут».

Книгу, сделавшуюся запретной, родители просто перемещали на полке в задний ряд, укрывая от недоброго глаза за строем тесно прижавшихся корешками одно к другому выставленных впереди изданий. Туда же переселяли книги, не обретшие статуса запретных, но, по маминым представлениям, не пригодных для предъявления посторонним.

Так в заднем ряду вместе с Гумилевым и Пильняком теснились знаменитые томики Есенина в белой мягкой обложке с безрезками, ремарковская «На Западном фронте без перемен» и уж вовсе непонятно почему, засекреченный мамой «Анатоль Франс в халате и туфлях» Жан-Жака Бруссона.

В укромной темноте *закнижся* провел долгие годы жизни и «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина».

18

Родителям, конечно бы, не сдобровать, если бы кто-нибудь в то время узнал, *от кого* досталась им эта книга. Но дарственно-го автографа на титульном листе, слава Богу, не имелось, а родители были не хвастливы.

...Однажды, жарким летним днем моего отца, медика, срочно вызвали на консультацию к ответственному больному. Я не в силах объяснить, как это случилось, позже такое стало невысказанным, да и в те времена, уже не «вегетарианские», было трудно представимо, но отец взял меня с собой. Может быть, впрочем и разгадки искать не следует, может быть, *просто* — взял. Бог любит простодушных, — сказано в псалме, а папа был простодушен. Он хотел одарить меня радостью: человек более позднего, чем мое, поколения не в силах понять, всем своим существом прочувствовать, что значило для нас, тогдашних детей, *покататься на машине*.

В давнем рассказе я писал про жившего в нашем дворе комдива, — который иногда, приехав под вечер домой, пообедав, приказывал шоферу (слово «водитель» еще в обиходе не было, только — «шофер») *покатать* нас, детей, игравших во дворе, на служебном «Линкольне» (счастье катания закончилось с исчезновением комдива, конечно же, не уцелевшего в истребительной охоте 1930-х годов).

Ответственный больной прислал за отцом не «Линкольн», а (по мальчишескому счету — поднимай выше!) сверкавший никелированными подробностями васильково-синий «Крейслер». Я мог поспорить с кем угодно, что не только ни один мальчик из нашего двора, но и ни один взрослый его обитатель ни разу не влезал в такой лимузин. Шофер был пожилой, седой, коротко стриженный — бобриком; за всю дорогу он слова не проронил.

Нас доставили к дому с просторной открытой террасой. Дом стоял на возвышенности, и с террасы далеко смотрелись картинно-красивые окрестности. Теперь, когда я вспоминаю этот день, мне кажется, что дом, в котором мы оказались, располагался где-то неподалеку от трассы строившегося канала Москва-Волга.

Канал этот, связавший столицу нашей родины с пятью морями, строили так же, как Беломорский, зеки — всё та же каторжная индустрия. Правда, о *перековке* трубить как-то уже перестали, нового книжного тома, изготовленного ведущими силами союза писателей, тоже, кажется, не предполагалось. На Беломоре ГУЛАГ пытались показать миру праздником, теперь он делался буднями, повседневностью и повсеместностью.

Впрочем, подробности пейзажа того давнего солнечного летнего дня, наверно, возникли в моем воображении много позже. Через двадцать лет после истории, о которой пишу, я работал в выходявшей на канале многотиражке (это был уже не канал Москва-Волга, а Канал имени Москвы — образчик высочайшего велемудрия: *канал имени города*), — пейзажи окрестностей трассы мне хорошо известны.

Отца увели куда-то вглубь здания. Я остался один на террасе, подошел к барьеру и скучал, глядя, как из-за дальнего леса выплывали на синий простор неба белые облака. Из двери, ведущей во внутренние покои, появилась плотная немолодая женщина в темном платье и белом переднике. В одной руке она несла тарелку, на которой лежали несколько крымских яблок, удлиненных, с румяной щечкой, и гроздь винограда, в другой — поставленный на блюдце высокий стакан с лимонадом. «Это тебе!» — коротко сказала она и снова ушла. Яблоко, а тем более — виноград, я взять постеснялся, но лимонад в ту пору был для нас, детей, неодолимо желанной радостью. Чтобы не пить слишком быстро, я, слегка наклонив стакан, не глотал, а потихоньку всасывал холодную, чересчур пахучую влагу и, скосив глаза, следил, как из ее глубины выныривают блестящие пузырьки.

Я оставался один недолго. Отец возвратился на террасу в сопровождении хозяина, молодежавого, по-военному подтянутого, с худощавым лицом, полноватыми губами и слегка курчавящимися рыжеватыми волосами. На нем была белая рубаха с засученными рукавами и светлые брюки. (Я предпочел бы

гимнастерку с тремя — или... сколько ему там причиталось? — ромбами в петлице. Хотя... У чекистов, кажется, вместо ромбов были звездочки.)

Человек был весел, белозубо улыбался, слегка потрепал мне волосы, сказал несколько шуточных слов — что-то самое обыкновенное. Он отодвинул соломенное кресло, пригласил отца присесть перед дорогой. Тотчас возникла женщина в белом фартуке, принесла поднос с такими же крымскими яблоками, виноградом и фруктовой водой, уже в бутылках. Хозяин что-то оживленно рассказывал отцу, но я видел, что папа чувствует себя неловко: как и я, он не притронулся к соблазнительно красневшим щечкой яблокам, даже фруктовую воду не пил, хотя очень ее любил (мы с ним тайком от мамы удирали к киоску на углу нашей улицы пить газировку) — он кивал, слушая хозяина, и неловко отщипывал от грозди длинные зеленые ягоды.

Человек, который принимал нас, большинству знавших о нем соотечественников казался всемогущим. Возможно, он и себе казался таковым: Часто как раз тот, кто особенно хорошо осведомлен о хрупкой уязвимости человеческого существования, со странной легкостью забывает о ней, присматриваясь к собственной судьбе. Когда в твоей власти оказывается великое множество людей, чья жизнь зависит от твоего слова, взгляда, жеста, наверно, трудно удержаться и не почувствовать себя богом. В «ревизских сказках» человека, который сидел перед нами за столом, вкусно, большими глотками отпивал лимонад из запотевшего стакана, говорил что-то веселое и широко улыбался, числились сотни тысяч, даже миллионы, пребывавших в его владении «крепостных душ». Человек этот был Матвей Берман, начальник ГУЛАГ'а, властитель бескрайнего архипелага.

Мне не дано знать, как это пришлось к беседе, но хозяин вдруг сказал: «Хотите посмотреть, как меня охраняют?». Я хорошо помню этот вопрос и горделивый тон, каким он был произнесен, потому что меня поразило то, что произошло тут же, следом, и потому, что папа долгие годы вспоминал эту сцену, изумленный (как он определял) ее *непостижимой наивностью*.

Наверно, под столом имелась какая-нибудь кнопка, которую тайком нажал хозяин, но вопрос его еще, что называется, висел в воздухе, а на террасе со всех сторон вдруг выросли крепкие пле-

чистые ребята в военной форме. Берман, прищурясь, провел по ним взглядом, улыбнулся и небрежно махнул рукой: «Всё в порядке». Добрые молодцы исчезли, как в сказках «Тысячи и одной ночи».

И правда — *непостижимо!* В стране, где, исключая разве что самого владыку, ничья жизнь не стоила даже ломаного гроша, один из самых осведомленных участников, того более — организаторов (папа определял — *кашеваров*) происходящего вроде бы не шутя уверен, что пять-шесть ладно сбитых ребят способны охранять, сохранить его жизнь?..

Через несколько лет, в 1937-м, Матвея Бермана назначат наркомом связи — пост (хоть и министр), по неписанной субординации тех лет, несравнимо уступающий ГУЛАГовскому (не говоря о том, что, согласно тогдашним же правилам игры, такое перемещение означало скорый конец). Еще год спустя вчерашнего командующего ГУЛАГа арестуют прямо в здании ЦК партии, в кабинете с курьерской скоростью набирающего силу Маленкова, и расстреляют.

Где были в тот день и час его добрые молодцы? Сами же волокли бывшего хозяина и подопечного в подвал Лубянки или Лефортова? Или, притаившись под террасой, на которой я когда-то пил лимонад, охраняли его преемника (этот продержался на высоком посту лишь год с небольшим, получил свой орден Ленина и тоже был расстрелян)? Или самих молодцов к тому времени уже пустили в расход за то, что охраняли врагов народа?..

...Беседа на террасе не затянулась. Мы поднялись уходить, когда Берман, припомнив что-то, показал рукой задержаться, вышел и спустя минуту снова появился с книгой о Беломоре, в которой волею судьбы выступал одним из главных героев... Протянул отцу: «Начнете читать, не оторветесь».

В самом деле. Годы минули, десятилетия, а я всё не могу оторваться памятью от того, что написано в этой книге, и от того, что в ней не написано, но, желали авторы или нет, хранится между строк, и от того, как и кем книга была произведена на свет. Потому что всё это, по-своему и в разных измерениях, так или иначе вошло в состав моей жизни, моей судьбы, в мой духовный и душевный состав...

Больше в тот день ничего существенного не случилось, если не считать, что на обратном пути, укаченный мягкими рессорами

«Крейслера» и разомлевший от жары и духоты, я слегка облевал роскошную обивку сидения. Папа оттирал пятно носовым платком и бормотал извинения; седой шофер, посверкивая бобриком затылка, утешительно пробурчал что-то в ответ.

19

В 1980-е годы художник Петр Белов написал картину — «Беломор».

Своего рода живописный проект памятника эпохе.

Тяжело лежит на земле (занимая большую часть поверхности холста) огромная бело-розово-голубая с красной метой пачка от папирос «Беломор». Угол пачки надорван, как надрывают курьшицы. Четырехугольная громада захватившей земной простор пачки — это лагерный барак. В черную дыру надорванного угла, как в барачные ворота, со всех концов земли движется потоком темная людская масса.

На строительстве Беломорканала работало около полутора-ста тысяч заключенных.

В одной нынешней (!) статье о канале утешительно сообщается, что число зеков на самом деле *не превышало (!!!)* 126 тысяч.

Всего-то!

Шестьсот человек на каждый километр трассы.

20

Мама говорила лихо: «Будете меня хоронить, положите в гроб пачку “Беломора”».

Но дело до этого не дошло. Однажды, уже в старости, она перестала курить.

Не бросила, а именно *перестала*.

Легко, как-то само собой, не задумывая наперед и не прилагая к тому никаких усилий. Будто забыла в одночасье, что курила.

(Со мной, в мое время, произошло то же самое. Одним прекрасным утром *почему-то* не захотелось взять любимую первую, открывающую день сигарету — и больше уже никогда *не захотелось*, даже не снится никогда, что курю.)

Папины часы

1

Это были сверкающие никелем карманные часы с мелко гравированным ободком вокруг циферблата и витиеватой вязью *Ударнику* на задней крышке.

Часы в то скудное время были предметом почитания.

Часами награждали вместо ордена.

Как и фотоаппаратом. Или — патефоном собственного советского производства «Тизприбор».

В характеристике писали: «Награжден именными часами».

2

Папины часы были тоже новинкой, недавно освоенной советской индустрией.

Они скоро остановились и, похоже, навсегда.

Идущими я их не помню.

Стрелки несменяемо показывали двадцать пять минут третьего.

В Каталоге проходившей уже в недавнее время не где-нибудь — в Кремле! — выставки истории отечественных часов говорится, что революция ознаменовала конец высокого часового искусства в России.

3

В конце тридцатых годов Николай Погодин написал пьесу «Кремлевские куранты», ставшую одним из знаковых произведений советской драматургии.

Несомненно самой запоминающейся в пьесе (спектакле) стала сцена беседы Ленина со старым часовщиком.

Часовщик понадобился Ленину, чтобы снова пустить в ход остановившиеся (к слову: пораженные снарядом при взятии большевиками Кремля) куранты на Спасской башне и научить их звучать *по-нашему*, то есть вызванивать «Интернационал».

Сцена, казалось бы, побочная, но по глубинному замыслу — центральная (свидетельство тому — название пьесы). Кремлевские куранты отбивают *наше* время.

Хотя мастер, починивший куранты, и другой, набравший на игральный вал мелодию коммунистического гимна, в действительности ни евреями не были, ни стариками, чутье драматурга подсказало Николаю Погодину, что *его* часовщиком непременно должен быть старый еврей.

Это придало сцене неповторимый колорит, решительно выделило ее в тексте пьесы.

В пьесе, в спектакле можно многое забыть, можно даже всё забыть, но эта сцена не забывается. (Исполнение роли старого часовщика Борисом Яковлевичем Петкером в спектакле Художественного театра единодушно признается классикой актерского искусства.)

В беседе с Лениным часовщик рассказывает, что после революции его «объединили» в артель, а артели не нужна уникальная, штучная работа, ей нужен «поток». Мастер напомнил новому начальству артели басню Эзопа. Лиса упрекает львицу: она, лиса, рожает сразу шестерых детенышей, тогда как львица только одного. На что львица отвечает: «Но я рожаю льва!» Начальство басни не поняло и объявило старика агентом Эзопа, а Эзопа — агентом Антанты. Ленин, заливаясь, хохочет.

Но большой «артели», которой он руководит, нужен поток, а не штучные львы.

На Первом съезде советских писателей (уже в 1934 году, к которому я то и дело возвращаюсь) Бухарин ставил задачей, чтобы «в ширпотребе было поменьше брака, а качество всего ширпотреб не уступало бы качеству товаров из торгсина». (Напомню: в торгсинах — аббревиатура: «торговля с иностранцами» — товары хорошего качества продавались не на советские рубли, а на золото.) Но советское время шло, золото оставалось золотом, а ширпотреб, в том числе и рубли, и, в большей своей части, литература, оставался ширпотребом.

Папины часы *Ударнику* покоились в плоской синего стекла вазочке на туалетном столике, именовавшемся у нас почему-то

«трельяж», хотя зеркало было только одно, небольшое и круглое; по обе стороны от него — маленькие выдвигаемые ящички, в которых лежали мамины бусы (из розовых коралловых шариков и еще одни, из мелкого, как икра, жемчуга), а также пересыпанные табаком пуговицы, недорогие брошки, зажимы для галстука, огрызки карандашей, старые рецепты, счета за квартиру.

Тут же на трельяже стояли простые настольные часы, похожие на будильник (может быть, и правда, будильник?), — едва ли не главный в доме прибор для определения времени. На кухне были еще жестяные ходики с тяжелой гирей на длинной цепочке. Когда гирия, приводившая в движение механизм, опускалась совсем низко, ее, взявшись за цепочку, с металлическим лязгом снова подтягивали наверх. Ходики показывали часы, тем более минуты очень приблизительно. Была, наконец, черная тарелка репродуктора на буфете: в начале каждой передачи по радио сообщали время, а каждый шестой и двенадцатый час проводили *проверку времени*: «Третий сигнал соответствует шести (или двенадцати) часам по московскому времени»...

Весьма памятный на подробности, наручных часов ни на папе, ни на маме не помню.

5

В тридцатые годы наручные часы, можно считать, были редкостью. Счастливые их обладатели, демонстрируя свою особость, старались при удобном случае побольше высунуть руку из рукава.

Век наручных часов бурно начался у нас сразу после войны, когда наши солдаты хлынули домой из поверженной Европы.

Известно, что, ворвавшись в немецкий дом, победители прежде всего искали алкоголь, женщину и часы («уры»).

В послевоенной Москве часы можно было подобрать себе «на углу» — у инвалида.

Инвалиды войны, не умевшие найти места в мирной жизни, сбивались группами на углах улиц (по большей части вблизи пивных палаток, торговавших и водкой в розлив), продавали поштучно кустарно набитые папиросы, кремни для зажигалок (тоже вывезенный из Европы трофей) и — часы. Иной из таких продавцов, предлагая товар, закатывал рукав поношенной гимнастерки: пять-шесть штук часов разных марок обстегивали руку до самого локтя.

Так я незадорого обрел первые свои часы — выдавший виды давнего выпуска «лонжин», который между тем еще долго и верно мне служил и выбыл из строя по не зависящим от него причинам.

Инвалиды своим внешним обликом и поведением, своим самоощущением «вольницы», за пролитую кровь им дозволенной, конечно, искажали облик советских городов, бодро взявших курс на дальнейшее строительство коммунизма. Однажды мы проснулись в городе без инвалидов на углах, с папиросами по талонам и с продукцией 1-го и 2-го госчасзаводов на прилавках государственных магазинов.

Но, как говорится, «процесс пошел». Люди всё реже спрашивали друг у друга который час, и, чтобы ответить на вопрос, уже почти никто не проталкивал пальцы за часами в кармашек жилета: время, несущее нас по жизни (уносящее из жизни), металлическим сердцем стучало едва не у каждого на руке.

6

Любопытно (почему-то раньше не поинтересовался), надел ли товарищ Сталин после войны наручные часы или обходился старыми карманными.

(Ныне, когда у правителей страны на запястье состояние в полмиллиона долларов, вопрос приобретает дополнительный интерес.)

Из некоторых воспоминаний узнаём, что у вождя собралась даже небольшая коллекция чем-то привлёкших его внимание наручных часов. Но опять же из воспоминаний узнаём, что он неохотно вносил перемены в свой вещный мир.

7

Про серебряные (похоже, самые простые) карманные часы Сталина рассказывается в опубликованном дневнике Корнея Ивановича Чуковского.

Позже в записках другого литератора о тридцатых годах я обнаружил занятную подробность: разговаривая, Сталин играл перламутровым перочинным ножичком, висевшим на часовой цепочке.

Но у Чуковского часы эти — не подробность, пусть занятая, пусть даже значимая: в его дневнике они вырастают в триумфальный образ (прямо-таки кремлевские куранты!), в грандиозную метафору сталинского величия.

Рассказ ведется о съезде комсомола, на котором Чуковский присутствовал, в апреле 1936 года:

«Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН <прописные у К.Ч.> стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое.

Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему всё время обращалась с какими-то разговорами Демченко <прославленная в те годы колхозница-ударница>. И мы все ревновали, завидовали — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» — и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне всё время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью».

8

Когда я прочитал этот горячечный бред, первая мысль была, что это сатира, пародия на происходившее. Ну, не мог же Корней Чуковский, злой, насмешливый умница, с его отменным, четким вкусом, с его жестким неприятием пошлости, всерьез написать *такое*.

Если даже всерьез искренно, то всерьез так пошло:

«...утомленный, задумчивый и величавый...»

«...у всех (!)... влюбленные, нежные лица...»

«...просто видеть его — для всех было счастьем...» и проч.

И эта галиматья с часами...

И эта клоунада с Демченко, которая всё время ЕГО заслоняет...

Возникло даже подозрение: не *оберег* ли это.

Вон у Евсея Цейтлина в его необычной книге «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» главный герой, литовский писатель-еврей (лицо реальное), в трудную пору «дела врачей-убийц» сочиняет пьесу о евреях-вредителях, диверсантах. Объясняет наивно: его придут арестовывать, станут просматривать бумаги, а тут эта пьеса; значит — *свой*.

Подобных примеров вне сомнений немало, просто не афишировались, конечно.

9

Но вот шестью годами раньше Чуковский занес в дневник свой разговор с Тыняновым (тоже человек умнейший и вкуса безукоризненного). Речь шла о колхозах.

«В историческом аспекте Сталин как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он, кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи»...

Разорялась деревня, эшелоны увозили десятки тысяч крестьянских семей на Север, на Дальний Восток, черной тучей надвигался голодомор.

Сам «величайший из гениев» выступил с («гениальной», конечно) демагогической статьей «Головокружение от успехов», торопясь перевалить на чужие плечи очевидные беды начавшейся коллективизации.

А тут — такой непомерный восторг.

Разговор завершился весьма своеобразно — пожеланием держать сказанное в секрете: «столько прохвостов хвалят *его* теперь для самозащиты».

10

Оборвись эта фраза двумя словами раньше — из нее вычитывался бы один смысл.

Но «для самозащиты» (*оберег*) — это уже другое.

Допускаю, что насчет колхозов Чуковский заблуждался искренно. Накануне он размышлял в дневнике: «...Ни одному даже самому мудрому из народников, даже Шедрину, даже Чернышевскому — ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически — и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и всё это благодаря колхозам».

Ну, что тут поделаешь! Остается лишь пожалеть Корнея Ивановича. Пронзительно зоркий, умеющий тотчас схватить суть, к тому же человек весьма недоверчивый, он не взглянул *окрест себя*, не выбрался за пределы полос официозных газет (а других уже не было), тех самых полос, по которым бродил уничтожающий термин «чуковщина», где имя его было привычно окаймлено хулой и почти никогда хвалой, где незадолго до того напечатано было вынужденное *отречение* его от своих сказок (сказки Чуковского, по определению Крупской, «муть», «болтовня»), от любимых своих мойдодыров, мух-цокотух, тараканищ.

Так что и о *самозащите*, наверно, подумать было не грешно.

11

В предисловии к изданному «Дневнику» составитель Е.Ц.Чуковская, знавшая жизнь Корнея Ивановича, что называется, *изнутри*, пишет:

«Тяготы 30–40-х годов: личные — смерть младшей дочери — и общественные — убийство Кирова, террор в стране, — накладывают отпечаток на содержание и характер записей. После убийства Кирова в записях появляются многочисленные пробы, в дневниковых тетрадах — множество вырванных страниц, вырезанных строк... Многие важнейшие события в жизни автора «Дневника» и его близких не нашли никакого отражения или упомянуты лишь мельком.

В августе 1937 г. был арестован зять К.Чуковского, муж его дочери Лидии — физик-теоретик М.П.Бронштейн, вскоре расстрелянный, и Корней Иванович присутствовал на квартире дочери в момент обыска, конфискации имущества, опечатывания дверей. Обо всем этом в «Дневнике» написаны два слова: «Лидина трагедия».

Умолчания, относящиеся к событиям середины 30-х годов, попытки убедить себя вопреки всему, что дела обстоят превосходно («Какое счастье, что детская литература наконец попала <...> в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра»... и другие аналогичные записи), описание изматывающих баталей с партийными руководителями культуры... — всё это характеризует дневник этих лет. *<Похвалы ЦК ВЛКСМ — несколькими страницами раньше сталинских часов на съезде комсомола.>...*

Смесь трезвого и меткого наблюдательного взгляда с испуганными попытками объяснить необъяснимое и принять неприемлемое, запечатленная в записях 30-х годов, характерна для восприятия эпохи многими писателями той давней поры».

12

Снова буду цитировать. Потому что никогда не смог бы сказать то, что хочу сказать, лучше, чем это сделала Лидия Яковлевна Гинзбург в замечательном эссе «В поисках тождества». Того более: мне, скорей всего, не пришлось бы в голову сказать то, что я собираюсь предложить читателю, если бы в свое время я не познакомился с этим потрясающим текстом.

Вот что пишет Л.Я.Гинзбург об эпохе, о которой идет у нас речь и которая была полной мерой *ее* эпохой.

«Тридцатые — коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й — и притом вовсе не подавленность, но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять. Интеллигенция заявила об этом и поездкой писателей по Беломорканалу, и писательским съездом 1934 года с речами Пастернака, Олеси, Заболоцкого и проч.

Нынешние всё недоумевают — как это было возможно? Это было возможно и в силу исторических условий, и в силу общечеловеческих закономерностей поведения социального человека.

К основным закономерностям принадлежат: приспособляемость к обстоятельствам, оправдание необходимости (зла в том числе) при невозможности сопротивления; равнодушие человека к тому, что его не касается...

До нас же об украинском голоде доходили неясные, подавленные слухи. Мы ни за что не отвечали и ничем не могли помочь, в наше поле это не вошло. Поэтому мы были равнодушны и занимались тем, что нас касается.

На этот факт не было установки, как не было установки на факт коллективизации (тоже подавленные слухи), на аресты, пока они совершались в другой среде и еще не стали опасностью для пласта, к которому принадлежали равнодушные...

Личная реализация общих ценностей — регулятор социального поведения. Чтобы активизироваться — в чем человек испытывает неодолимую потребность — надо с существующим примириться, если только активизация не состоит в сопротивлении существующему. Чтобы притом сохранить чувство полноценности, надо оправдать себя и то, с чем примирился...

А на своем поэтическом уровне Мандельштам всё это выразил глубочайше

Как я ступать и говорить умею...

Человек хочет, конечно, быть лучше других, но этого ему мало. Главное — быть не хуже других, только это, а вовсе не сознание своей гениальности избавляет от комплекса неполноценности.

Я человек эпохи Москвошвей, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак...

Москвошвей — это место, где шьют для всех, для бедных, и плохо шьют. Где говорят на упрощенном языке. Но это язык всех, тех, за кого на своем языке говорит поэт, поэтому поэт тоже имеет право быть одним из всех.

На этом праве особенно упорно настаивал Пастернак...

В.В.Иванов в воспоминаниях о Пастернаке рассказывает, как Борис Леонидович огорчился, обиделся, когда писателям скопом давали ордена, а ему не дали. Он даже просил кого-то по телефону похлопотать.

Удивительно здесь не то, что огорчился. Кто из нас без греха слабости и суеты? Удивительно, что не скрыл, не посты-

дился огорчение обнаружить. Это не просто спонтанная инфантильность Пастернака. Это тоже поиски равенства: пусть все знают, что я тоже хочу орден — как все (как все определенного ранга).

В стихах оно обернулось публичным отречением от дара невероятных сочетаний, от чуда «Сестры моей — жизни», где всё замещает и всё объединяет всё.

Неотвратимо заявил о себе под конец двойной пастернаковский комплекс — равенства в жизни и простоты в стихах...»

13

Пастернак увидел Сталина с его часами на съезде комсомола уже после ныне ставшего легендарным телефонного разговора с ним о Мандельштаме, разговора, в котором Сталин резок, невежлив, напорист, как следователь, и который закончился тем, что на предложение Пастернака поговорить о бытийных проблемах (о жизни и смерти) попросту бросил трубку («к счастью для собеседника», — замечает сын поэта Е.Б.Пастернак в книге об отце).

1936 год, о котором веду речь, был трудным для советской культуры и для Пастернака, в частности (впрочем, ни для нее, ни для него *легкий год* подобрать не просто).

Сам поэт писал тогда же:

«Зимой была дискуссия о формализме... Началось со статьей о Шостаковиче <«Сумбур вместо музыки» в «Правде»>, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариетту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников и опять-таки лучших...»

В определении критики существенны эпитеты — «омерзительно несамостоятельная», «эхоподобная»: ни для кого не было секретом, что статья об опере Шостаковича написана под диктовку Сталина.

В ходе всех этих по указке сверху организованных дискуссий неизменно доставалось и Пастернаку.

«Пастернаку предложено задуматься, куда ведет его путь индивидуализма, цехового высокомерия и претенциозного зазнайства».

Он пытался перевести разговор в бытийный план:

«Ах, эта невозможная жизнь! Здешние ее нелепости, становящиеся препятствиями для художника — баснословны. Но такова и должна быть революция... До судеб ли тут, до оправдавшихся ли биографий. Но история размахнулась тут чем-то несговорчиво-крупным и это — возвышает».

В ответ, вполне в манере вождя, обличители угрожающе бросали трубку:

«Поэт, которого чуть было не провозгласили вершиной советской поэзии, пишет, печатает <...> стихи, в которых клеветает на советский народ.

Он как свое изделие
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

Нельзя без возмущенья читать эти строчки и говорить о них».

Путь от самобытности к «как все», готовность и даже желание отдать ради этого свои мечты и цели под общее «долото» ведет, по слову Л.Я.Гинзбург, к отречению от себя, к обмену золотой валюты на ширпотреб.

Вот и Борис Пастернак в пору мучительных (подчас, без преувеличения, на грани жизни и смерти) раздумий о своем месте в этом невозможном для художника мире *как все* с восторженным благоговением воспринимает разыгранную самолюбленным тираном клоунаду с часами, завидует колхознице Марии Демченко, возле тирана размещенной, сердится, что она «заслоняет» его, «задумчивого и величавого», сам, кажется, готов стать ею.

(Я заинтересовался лишь одним, не слишком значительным эпизодом в дневнике Корнея Чуковского, эпизодом с сталинскими часами. Чувства и взгляды писателя будут, что совершенно

естественно, меняться. После разоблачений 20-го съезда прочитаем дневниковые записи и про «сталинскую полицейщину», и про «Сталина, Ежова и их подручных... всю эту мразь, которая хотела искоренить интеллигенцию, ненавидела всех *самостоятельно думающих*, не понимая, что интеллигенция сильнее их всех...», и про радость оттого, «что из Третьяковки вынесли все картины, где холуи художники изображали Сталина» и т.п. В последние годы жизни старый писатель занял, однако, позицию, которую, опять же согласно с Л.Я.Гинзбург, можно определить не как активизацию на стороне существующего, а как активизацию *сопротивления существующему*, и это замечательно прочитывается на его дневниковых страницах.

Отношения Пастернака со Сталиным внимательно рассмотрены в капитальном труде Б.Сарнова «Сталин и писатели».)

15

В годы, на которые пришлось мое раннее детство, новогодняя (она же — рождественская) елка была под запретом.

Доброе деревце («и много, много радости детишкам принесла») громоздилось в бдительных умоизвращениях политкомиссаров — контрреволюцией, антисоветчиной, поповщиной.

Радостное празднество детишек оборачивалось для неосторожных взрослых бедами и лишениями.

Так, случайно похмелившись в чужом пиру, на «нелегальной» елке, пострадала мамина приятельница с нечастым именем Фрина. Прежде она то и дело к нам забегала и очень мне нравилась (ярко накрашенные губы, подведенные синим глаза и даже меня, малыша, пьянящий запах каких-то особенных духов). Эта Фрина занималась чем-то в культпросвете и однажды водила меня в детский театр (едва ли не первый спектакль, мной увиденный). Показывали «Сказку о рыбаке и рыбке», и я до сих пор помню, как жадная старуха, которая не хотела больше быть дворянкой, а хотела стать царицей, лупила от злости кулаком огромную подушку в красной наволочке, а из подушки летели во все стороны изображавшие пух белые клочки бумаги. Фрине пришлось даже на время покинуть Москву. Уезжая, она пристроила у нас низкое мягкое кресло, обитое зеленым бархатом, в

котором я очень полюбил валяться, особенно с книгой. Прошло несколько лет, Фрина не появлялась. Кажется (к моему тогдашнему огорчению), она вышла замуж за какого-то железнодорожника. Мама, вспоминая ее, непременно прибавляла: «Счастливо отделалась» (всегда с ударением на «а»).

16

При своей крайней встревоженности и очень опасливом отношении к советской власти, мама с упрямой убежденностью всякий год одаривала меня елкой.

Конечно, всякий год мне снова и снова объяснялось, что, «если хоть муха узнает», — папу тотчас с работы, а может быть, даже в тюрьму, и маму, скорее всего, тоже, и, вообще, — прощай, Москва: «Ты ведь Фрину помнишь? Еще счастливо отделалась!». Я, задыхаясь от волнения, спрашивал (впрочем, не сомневаясь в ответе): «И часы *Ударнику* отнимут?» — (Наверно, в этих часах я интуитивно ощущал воплощенное сопряжение папиной исключительности и его причастности к тождеству.) «Непременно отнимут».

17

Одно из частых слов моего детства — «кошелка».

Проверяя себя, заглянул в словари.

Кошёлка — *плетеная* сумка.

Даже — корзина.

Но кошелка моего детства — сумка не плетеная, а сшитая из плотной ткани, парусины, часто из клеенки.

Женщины с *кошелками* ходили по магазинам, на рынок, отоваривали карточки, цепко высматривали, где что *дают*, стояли в очередях, озабоченные стойкой необходимостью добывать *продукты*.

В советское время с продуктами всегда были сложности. Весной 1982-го, когда советской власти перевалило уже за шестьдесят — пенсионный возраст! — была принята новая продовольственная программа, обещавшая вскоре досыта накормить население. Но до назначенного срока советская власть не дожила.

...В один из последних декабрьских вечеров, мама, возвратившись с работы, прямо от двери направлялась со своей черной клеенчатой кошелкой в дальнюю запроходную комнату, где в уголке прижалась и моя маленькая кровать, и по маминому возбужденному лицу, по глазам я тотчас понимал, что настало время чуда.

Я нетерпеливо, как собачонка, прыгал вокруг мамы, а она, будто мучая меня (это тоже было частью игры — *ожидание* чуда), нарочито не спешила: задергивала тяжелую штору на окне, шла обратно в прихожую — скинуть пальто, что-то передвигала, переставляла. Наконец, порядком меня истомив, она поворачивала ко мне лицо, в котором таилась улыбка, мною угадываемая, прикладывала к губам палец: «Никому?» Я тоже прикладывал палец к губам: «Никому». Она брала меня за обе руки, повторяла, уже серьезно: «Ну, смотри, милый, чтобы — никому...»

Мама доставала из кошелки большую еловую ветку (где только она ее находила в те «безъёлочные» годы?), пушистая зеленая лапа, оказавшись на свободе, распрямлялась, встряхивалась, — и тотчас комнату заполнял чудесный запах хвои.

Суровой ниткой ветку пришивали к коврику над моей кроватью. На серой холстине коврика — аппликация из лоскутков: белая в коричневых пятнах собака в чуткой стойке замерла среди высокого камыша. Простецкое воспроизведение картины художника Мако.

Чудо продолжалось.

Мама открывала стоявший в кухне сундук, большой, зеленый, обитый по краям и крест на крест по крышке и бортам полосками черной жести. Здесь, в сундуке, хранились старые вещи, извлекаемые обычно с появлением *Тютельки в тютельку*, Пульхерии Андреевны, старушки с мягкими щеками и яркими для ее годов голубыми глазами, — старушка ходила по домам и за недорогую плату и обед с необычайной изворотливостью перешивала в детские одежки ношенные материнские платья, отцовы пиджаки и рубахи. Словами *Тютелька в тютельку* она определяла качество своей тщательной, изощренной выдумками голи рукодельной работы. (Пульхерия Андреевна прославилась

еще и тем, что во всех домах, где приходилось ей шить, приучала детей к любимому своему блюду — сладкой пшенной каше, которую надо было есть непременно с хлебом.)

Из сундука появлялись отслужившие свой век, но по скудости жизни на всякий случай хранимые вещи, которые казались мне очень интересными: бабушкино, будто атласом поблескивающее пальто, почему-то еще не перешитое, мамин изрядно потраченный белый меховой воротник, папина черная визитка... Наконец, откуда-то с самого дна выбиралась на свет круглая жестяная коробка, голубая, с золотой надписью «Халва» на крышке. В ней — чудом уцелевшие в перипетиях лет старинные елочные игрушки — несколько красных и желтых деревянных вишенок, попарно, по две ягоды, дрожавших на проволочных рогульках-черенках, и вырезанные из картона фигурки — маркиза в сказочно прекрасном розовом платье и маркиз в голубом камзоле. Такие картинки когда-то укладывали как подарок в коробки с шоколадом фабрики Эйнем.

«Мама, а трельяж?» — спрашивал я с надеждой.

«И трельяж, — говорила мама. — Только смотри — никому!»

Мы развешивали на елке брошки и красивые пуговицы, окутывали ее мамиными бусами — розовыми, коралловыми, и набранными из мелкого бисера.

«Мама, — снова спрашивал я. — А часы?»

«Ну, если папа разрешит...»

Я, волнуясь, бежал к папе.

С прилаженными часами елка отчего-то становилась не только прекрасной, но даже значительной.

«Прямо кремлевская башня», — говорила мама.

Она зажигала на туалетном столике свечу в подсвечнике, всегда бывшую наготове на случай, если отключат электричество, и гасила в комнате свет.

Пламя свечи отражалось в зеркале трельяжа, рассыпалось сверкающими звездочками в висевших на елке бусах, пуговицах, брошках.

В этот счастливый вечер я засыпал *под елкой*, вдыхая яркий, смолистый запах хвои...

Утром, когда я открывал глаза, всё в комнате было уже обыкновенно.

На серой холстинке над моей кроватью, как всегда, стояла, поджав переднюю лапу, знакомая до последнего лоскутка белая в коричневых пятнах собака.

Еловой ветки и след простыл.

И чудо то ли вправду меня навестило, то ли явилось в прекрасном сне.

19

Новогоднюю елку снова разрешили в конце 1936-го.

В главной газете «Правда» появилась статья видного большевистского руководителя Постышева: запрет елки объявлялся «левацким загибом».

Статья, конечно же, была согласована со Сталиным. Но вождь благодушно оставил идею сатрапу. Считалось, что елку «вернул детям» Постышев.

Человек, причастный ко многим жестоким преступлениям режима (и к украинскому голодомору тоже), он стал глядеться в разговорах добрым дядюшкой, который разве что не водит с детьми хороводы и не распекает с ними «В лесу родилась елочка...»

Песенка эта долго считалась народной, тогда как автор ее, поэт Раиса Адамовна Кудашева, по своим причинам, в те годы вполне объяснимым, пряталась в безвестности. Природа наделила ее долголетием: она тихо пережила сталинское время и даже хрущевское, — в конце жизни ее, наконец, стали упоминать как автора повсеместно распеваемой «Елочки».

Постышева, которого расстреляли через два года после того, как он «подарил детям елку», она тоже пережила.

В недолгое оставшееся время жизни Постышев одарил население, детей и взрослых, новой забавой. На этикетке спичечного коробка он обнаружил замаскированный портрет Троцкого. Потом — какое-то крамольное изображение на обложке школьной тетради. Дальше — больше. На хлебной корке, на куске колбасы он видел свастики. Конфетные этикетки тоже оказались под подозрением.

Не думаю, что он помешался. Помешанными были все. Время Большого Террора — *сон разума, рождающий чудовищ*.

По примеру руководителя, доверчивое и вместе бдительное советское население стало в любом сочетании линий и пятен угадывать преступные замыслы врага.

Я уже учился в школе. На уроках и на переменах мы со страстью рассматривали рисунки в наших учебниках, даже (и особенно) на просвет — и непременно находили что-нибудь возмутительное: то подобие фашистского знака, то запретное сочетание букв, то всё того же Троцкого.

Я хорошо помню эти «страшные» спичечные этикетки. На рисунке — зажженная спичка, три острых язычка пламени, в которых ослепленному подозрениями взору чудились клоч волос над лбом, нос и острая бородка — профильный портрет самого страшного врага нашей советской родины.

Спички с такими этикетками изымались из продажи.

Коробок спичек мог грозить его владельцу изъятием из жизни.

Самого Постышева расстреляли как организатора подпольного троцкистского центра и заодно как японского шпиона.

20

Разрешение устраивать елку явилось неожиданное-негаданное, под самый Новый год. Тотчас и елки откуда-то взялись, в Москве, во всяком случае. Страна бросилась делать игрушки: фабричные в тот первый год не успели.

Клеили из цветной бумаги фигурки, цепи, резали бахрому. Серебрили грецкие орехи. В посеребрённый орех, в крошечную дырочку, там, где смыкаются половинки скорлупы, втыкали прищепочную булавку с петелькой, сквозь нее протягивали нитку — привязывать орехи к ветвям елки. Вешали на елку пряники, конфеты, мандарины (они только что появились в продаже — каждый мандарин был завернут в листок папиросной бумаги).

...Как хорошо — не бояться!

У нас елка — до потолка, и шторы на окнах — настезь.

Вдруг оказалось, что папа умеет делать из гофрированной цветной бумаги замечательные китайские фонарики — желтые, зеленые, красные шары и цилиндры (из обрезков мы с мамой лепили фантастических — какие в голову приходили — рыб и попугаев).

Год спустя *новогодняя елка* стала уже обязательным общественным мероприятием.

Придя с работы, папа протягивал мне красивый глянцевый билет — елка для детей сотрудников, и непременно надо пойти, председатель месткома сама разносила билеты по отделам, — ну, и подарки, конечно, будут. И мама приносила с работы глянцевый пестрый билет. В школе тоже елка. И в домоуправлении. И «главная елка страны» (тогда еще не в Кремле) — в Колонном зале. И знакомый мальчик пригласил к себе домой на елку. И знакомая девочка. И кто-то подарил родителям для меня билет на елку в клуб наркоминдела, — как такую пропустить!..

Артистка Рина Зеленая, прославившая себя тем, что передавала детскую речь, какой она представляется взрослым и тешит их, всякий день читала по радио один и тот же написанный кем-то к случаю уморительно-смешной монолог затасканного по елочным праздникам ребенка.

Чтобы украсить елку, большого труда уже не требовалось: прилавки магазинов были завалены всевозможным *елочным ширпотребом*.

...Прошло полвека.

Даже больше.

Папы уже не было в живых. И мамы тоже. Хотя она надолго его пережила.

Я не забывал про папины часы, но они давно не попадались мне на глаза, и стали для меня больше образом, творимым памятью, чем предметной реальностью.

Пока однажды счастливый случай вдруг не явил их мне снова.

Они обнаружили в черной лаковой федоскинской шкатулке, на крышке которой лихая тройка с седоками в яркой одежде мчалась по серебристому снежному полю.

Шкатулка упряталась в платяном шкафу, в самой глубине, на полке, где лежали стопкой мамины блузки, шейные косынки

и платки, которые, несмотря на миновавшие годы, хранили ее запах и, казалось, тепло и прикосновение, — так, что не было возможности ни раздать их, ни даже переложить куда-нибудь.

В шкатулке, огнисто алой изнутри, оказались некоторые памятные вещи, прежде хранимые в «трельяже». Самого трельяжа давно след простыл; не помню, чтобы его отдали кому-нибудь или попросту выбросили за ветхостью и ненадобностью, — он как-то сам собой неприметно исчез, будто стерся временем, — такое нередко случается со старыми вещами.

Я обнаружил в шкатулке мамины розовые коралловые бусы, брошку темно-синего стекла, сквозь которую в детстве любил смотреть на свет лампы и — папины часы.

Часы показывали всё те же двадцать пять минут третьего.

Они вдруг увиделись мне замечательно красивыми — с резным ободком вокруг просторного, свободного от подробностей циферблата, четким курсивом цифр, каллиграфически исполненной гравированной надписью *Ударнику* на задней крышке.

Часы лежали у меня на ладони, их стальное тельце понемногу набиралось моего тепла.

Мне хотелось прижаться к ним ухом и услышать мерное бие-ние их маленького стального сердца.

Я почувствовал требовательное желание оживить их, дожить свой век по этим папиным часам, с которыми познакомился в рассветную пору детства и вновь встретился на закате дней.

Мысль о мистической связи времен разогревала мое желание.

23

Мне дали адрес некогда знаменитого часовщика.

Старик уже давно не работал, но иногда выполнял на дому частные заказы, если они были ему интересны.

Он жил на Маросейке, в одном из переулков.

Дом был старый — пятиэтажный доходный дом позапрошлого столетия, и лестница — старая, просторная, со стершимися каменными ступенями, и дверь, каких теперь уже не бывает — с резным рельефом и круглой медной ручкой.

Квартира была тесно заставлена старинными вещами, начиная с тяжелой стоячей вешалки — такие еще в пору моего детства называли «старинными».

Всклощенные седые волосы мастера нимбом облегали лоб; давно не бритые румяные щеки серебрились щетиной.

На старике была домашняя клетчатая куртка с бархатным воротником; его ноги прятались в высоких ботах на меху.

В комнате у окна стоял рабочий стол, покрытый матовым стеклом. На нем, в каком-то заведомо значимом порядке были разложены всевозможные часовых дел инструменты.

Рядом со столом, на старинной тумбочке высились песочные часы — очень большие, каких мне никогда не приходилось видеть; песок тонкой ровной струйкой перетекал из одного стеклянного шара в другой. Песка в ёмкости хватало, может быть, на целый час, или даже два...

Мастер усадил меня и стал расспрашивать, с чем я к нему пришел. Я рассказал больше, чем предполагал: глаза старика встречали мои слова с доброжелательством и интересом.

Наконец, я извлек из кармана часы.

Старик почти жадно выхватил их из моей руки, быстро, как-то боком, по-птичьи, взглянул на них — и радостно заключил: «Не Павел Буре».

Артист Художественного театра Борис Яковлевич Петкер чудесно бы его сыграл.

24

Он надвинул на голову кольцо с окуляром, пристроил окуляр под кустистой бровью, ловким движением сбросил с часов заднюю крышку, тут, там тронул маленькой отверткой механизм. Быстрым щелчком вернул крышку на место, сдвинул окуляр на лоб и протянул мне часы обратно.

«Вы, конечно, мне не поверите, но эти часы чего-нибудь стоят именно тогда, когда они — стоят».

Он произнес это опять же радостно, точно сообщал мне нечто необыкновенно приятное и нужное. Его небритые щеки пылали под сединой радостным детским румянцем.

«Вы меня понимаете? Теперь, когда часы стоят, они показывают абсолютно точное время. Это то время, которое вам оставил на память ваш отец. Предположим, у нас получится — мы их запустим. И *что?* Каждый вечер вы будете заводить пружину, тревожить хрупкий механизм. Часы будут, конечно, отставать или убежать вперед, потому что, нравится нам это или нет, то, что вы держите в руках, не *Павел Буре* и тем более не *Брежет*. Вы будете сердиться и крутить туда и сюда минутную стрелку. В один прекрасный день, и, наверно, очень скоро, часы снова остановятся. Но на них будет уже не время вашего отца, а — ваше время. Вы понимаете, что я хочу сказать?..»

Тихо отворилась высокая дверь, на пороге появилась маленькая полная старушка в светлом фартуке.

«Исай! — сказала она. — Может быть, ты лучше предложишь твоему гостю покушать суп с клецками?..»

25

...Кажется, с того дня мне не приходилось больше есть суп с клецками...

26

А папины часы лежат теперь у меня на столе.

Время от времени я поглядываю на них и уточняю время, в котором живу.

На циферблате всегда двадцать пять минут третьего.

1934-й год.

Валя-Валентина

1

Надя была самая маленькая в нашем — третьем — классе, и фамилия у нее была — Воробьева, все, конечно же, называли ее — *Воробей*.

И в самом деле неприметная, как эта в наших краях примелькавшаяся глазу птица, она вот только пела не по-воробьиному прекрасно.

На уроке пения Надя без всяких с ее стороны усилий будто преображалась, и, что бы мы ни пели (даже «Буденновский марш»), всегда казалось, что поет в классе она одна, мы же, с нашим неинтересным галдением, лишь при этом присутствуем, если вовсе не перестаем существовать.

Голос у Нади был не громкий и замечательно чистый, не удержусь, напишу привычное — *как ручеек*: в нем слышались, того более — ощущались непрерывность движения и прозрачная свежесть.

Что бы мы ни пели (тем более «Буденовский марш»), мы, остальные, в общем-то, выкрикивали под музыку слова, — *пела* одна Надя. В каждом звуке, вылетавшем, нет — выливавшемся из ее горла, жили в единении слово, чувство и мелодия; и всё это, казалось, жило и в ее серых глазах, и в бледном лице, и в хрупком сутулящемся теле...

Но мой рассказ не об уроке пения, а об уроке физкультуры.

В середине года к нам пришла новая учительница — Нина Ивановна.

Говорили, будто она чемпион Москвы по гребле. Во всяком случае, у нее были могучие плечи, широкая спина и мощный голос. От нее веяло силой.

«Спина прямая, подбородок приподнят, ноги на ширине плеч!» — командовала Нина Ивановна, расставив нас на гимнастику; стекла в окнах зала отзывались ей дребезжанием.

Классный хулиган, патластый второгодник Качаев, по кличке Качок, сразу назвал новую учительницу *жопа на ширине плеч*; мы, мальчики, и даже некоторые девочки, перемигиваясь и пересмеиваясь, восторженно за ним повторяли.

«Спина прямая! Прямая спина, Воробьева! — командовала, будто в гонг била, Нина Ивановна. — Грудь развернута!»

Надю она с первого дня заметно невзлюбила.

«Выше подбородок! Подбородок! Не тосковать Воробьева!»

Тосковать — это когда сутулишься, когда грудь не развернута и подбородок не торчит гордо вверх.

Тосковать на уроках Нины Ивановны было строжайше запрещено...

...«Ноги на ширине плеч! При наклонах спина прямая! Правая ладонь к левому носку... Воробьева!.. — учительница напра-

вилась к Наде. — ...Ты что опять сторбилась? Старуха, что ли? — Она положила на спину Нади огромную чемпионскую ладонь. — А ну! Расслабить тело!..»

«Тело!..» — шkodливо захохотал Качок, и все вдруг поняли, что слово это ужасно неприличное и начали перемигиваться и пересмеиваться.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное.

«Да что же это такое?» — не закричала, а тихо и даже как будто испуганно вдруг произнесла Нина Ивановна, и от этого нам, детям, сделалось не по себе.

Сначала мы ничего не поняли: просто замолчали, как по команде, и, недоумевая, смотрели, как учительница, бормоча что-то, с усилием заталкивает свою могучую руку Наде за пазуху.

На уроки физкультуры мы надевали тесные, в обтяжку, майки со шнуровкой на груди — их называли *футболками*. (Белые футболки, черные сатиновые трусы: это называлось — *белый верх, черный низ*.)

Даже классный хулиган Качок, который непременно должен бы был сообщить по такому случаю что-нибудь неприличное, замер, разинув рот, в молчаливом изумлении.

«Совесть у тебя есть?..» — Нина Ивановна с трудом выпростала обратно руку и разжала кулак.

На ее ладони лежал маленький серебряный крест на тонкой цепочке.

Тишина в зале стояла такая, какую принято именовать привычным — *звенящая*.

Если бы Нина Ивановна вытащила из-за пазухи у Нади ручную гранату Ф-1, чертеж которой можно было увидеть тут же в зале на стенде «Будь готов к труду и обороне», это оказалось бы для нас меньшей неожиданностью.

Мы были уже юные воинствующие безбожники, которых лепили из нас, по собственному подобию, взрослые воинствующие безбожники.

Воинствующие безбожники, потому и — *воинствующие*, не только знали (и нас учили), что Бога нет; они знали больше (и нас учили): что Бог — враг... Как этот толстый поп с пьяным лицом и маленькими злыми глазками, помещенный на карикатуре в газете рядом с капиталистом и помещиком.

Наши враги.

«Совесть у тебя есть?» — повторила Нина Ивановна. Голос ее снова набрал крепость. «Мы стихи учим про Валю-Валентину. Умирала пионерка — крест не надела... А ты?..» — уже отзывалось эхом по углам зала и дребезжанием оконных стекол.

Надя молчала.

«И кто же эти родители такие — на дочку крест нацепили!»

То ли всегда носила Надя этот крестик, да никто не замечал, то ли нынче, собираясь в школу, позабыла снять?

«Что молчишь? Сказать нечего? Нет уж, ты давай, объясни товарищам!..»

Надя стояла молча — лицо бледнее, чем всегда, подбородок приподнят, грудь развернута...

«Мы пионеры, внуки Ильича... — гремела Нина Ивановна. — Нам Бог не нужен. А ты, что? Монашка?..»

«Монашка! — взорвался, восторженно затряс патлами Качок. — Монашка-барашка! Она в церковь ходит! Богу молится!..»

Он повалился на колени, стал отбивать поклоны, смешно заблеял: «бе-е... бе-е...»

И остальные мальчишки, точно охваченные какой-то недоброй пьяной силой, и даже некоторые девочки (а девочки были не в пример рассудительнее) вдруг запрыгали, захохотали, заблеяли: «монашка... а... а... барашка... бе... бе...»

И я, хотя сердце мое сжималось от жалости к Наде и я ненавидел эту *жопу на ширине плеч*, Нину Ивановну, тоже почему-то блеял и хохотал...

«Монашка... а... а!.. Монашка... а... а!..»

Ааааааааа...

2

Едва затягивали у нас на шее алые пионерские галстуки, мы начинали читать и затверживать стихи про *Валю-Валентину*.

Валя-Валентина, что с тобой теперь: белая палата, крашенная дверь, — у школьника моего поколения эти строки были на языке, как самая известная поговорка.

Поэма Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки», откуда взяты эти строки, входила в *обязательную* школьную программу.

Стихи про девочку-пионерку, которая умирает от скарлатины, и знает, что умирает, но перед смертью наотрез отказывается надеть на шею крестик (мать уговаривает: «Не противься, Валенька, // Он тебя не съест, // Золоченый, маленький // Твой крестильный крест»). В предсмертном видении девочки — «трубы, трубы, трубы поднимают вой»: перед ее угасающим взором в небе за больничным окном один за другим шагают на вечерний сбор пионерские отряды, красное знамя реет, «молнии, как галстуки, по ветру летят». Последним усилием Валя-Валентина отстраняет протянутый крестик и поднимает руку в пионерском салюте, приветствуя шагающие отряды. Вой труб, красное знамя, галстуки-молнии на шеях товарищей.

Этот, в общем-то, частный сюжет, поставленный в центр поэмы, — однако же, не частность, но часть романтического революционного эпоса, созданного Багрицким. Одна из главных составляющих такого эпоса — торжество гибели, смерти ради торжества творимого революцией мира. Неслучайно любимая песня революционной поры — «И как один умрем в борьбе за это» (любимая песня Ильича — «Замучен тяжелой неволей, он славную смертью почил» — разучивали на уроках пения). Какой «мы наш, мы новый мир построим», какую стройку учиним, оно видно будет, главное — сегодня, сейчас, не колеблясь, жизнь за это отдать. Вот и у Багрицкого в поэме: «Возникай содружество вора на бойцом». Сильно и страшно...

«Боевые лошади // Уносили нас, // На широкой площади // Убивали нас. // Но в крови горячей // Поднимались мы, // Но глаза незрячие // Открывали мы...»

Прекрасные пионерские видения встают перед незрчими глазами бедной девочки Вали-Валентины, причисленной к погибавшим в сражениях бойцам революции — тем самым искренним ее бойцам, без которых (и без гибели которых) революций не бывает. И в самом деле, кто же искреннее ребенка с его наивной, не изъедаемой раздумьями верой в то, во что он успел, во что его научили поверить?..

Тут было нечто противное человечности, когда нас, маленьких, принуждали читать, затверживать эти стихи: детская душа противится смерти, еще не вбирает ее в себя, еще не приучена к тому опытом жизни.

Багрицкий был настоящий поэт, и стихи настоящие, и смерть в них — при всем романтическом революционном пафо-

се — настоящая (даже девочка с ее именем — настоящая: дочь домохозяев поэта, он у них комнату снимал на окраине Москвы). Оттого, что чувствовалось — *настоящее*, стихи как-то особенно отпугивали.

«Тоньше паутины // Из-под кожи щек // Тлеет скарлатины // Смертный огонек... // Говорить не можешь, // Губы горячи. // Над тобой колдуют // Умные врачи... Воздух воспаленный. // Черная трава. // Почему от зноя // Ноет голова? // Почему теснится // В подъязычье стон? Почему ресницы // Обдувает сон?..»

Читать-затверживать такое не хотелось, было *не по себе* (естественное отчуждение читателя-ребенка от смерти и, соответственно, от описания ее). Затвердив, я почти тотчас интуитивно уложил стихи в тот неохотно посещаемый уголок памяти, от которого детской душой отстранялся, где хранились рисунок «Тамара в гробу» из иллюстрированного однотомника Лермонтова, пестренькое платьице умершей в младенчестве сестры, иногда извлекаемое мамой из сундука, похороны соседского трехлетнего мальчика Шурика — розовый гробик, белый катафалк с витыми колонками по углам, серебряные сетчатые попоны на лошадях... Там же находился и Ленин в Мавзолее («профиль желтый и красный орден на груди» — не Багрицкого строчка, другого поэта) — к ленинскому гробу детей, пионеров и октябрят, водили как для причастия.

3

Надя в школе больше не появилась.

4

А вскоре умерла от скарлатины Лиля Шифрина.

Лиля была дочерью каких-то давних знакомых моих родителей. Изредка родители ходили к Шифриным в гости. Несколько раз они брали меня с собой. Бывать у Шифриных мне не нравилось. Гости собирались все взрослые. За столом нас с Лилей сажали рядом, и взрослые гости, улыбаясь, на нас поглядывали, подмигивали в нашу сторону и отпускали шуточки, как будто мы

жених и невеста. И мама Лили, полная, с румяными щеками, слушая эти шуточки, щурилась и как-то особенно улыбалась, и подкладывала мне на тарелку что-нибудь вкусное: «Кушай, мальчик», — похоже, она никогда не помнила, как меня зовут. У отца Лили была узкая лысина, маленькие черные усики, как у Чарли Чаплина, и обручальное кольцо, которые почти никто уже не носил... Его звали Рафаил Зиновьевич.

Мне у Шифриных было скучно и даже неприятно; я всякий раз просил маму оставить меня дома, но мама говорила: «Нет, нет, неудобно. Они так просили привести тебя с собой...» Жили Шифрины где-то недалеко от Каланчовской площади; у них была большая отдельная квартира.

С Лилей мы почти не разговаривали: сидели, не глядя друг на друга, слушали беседу взрослых, иногда отвечали на их вопросы; я — стесняясь, неохотно, Лиля — бойко и уверенно.

Меня раздражала навязанная мне роль Лилиного жениха, я злился на Лилю, еще больше злился оттого, что она так свободно, без тени смущения откликалась на вопросы и шутки взрослых, но при этом мне почему-то казалось, что для нее всё происходящее так же стыдно и неприятно, как для меня.

Лишь однажды — в тот день я в последний раз был у Шифриных — Лиля, выждав удобную паузу, возникшую в трапезе, вдруг предложила, что покажет мне свою комнату. Мы встали из-за стола, Лиля взяла меня за руку и повела прочь из столовой, гости говорили нам вслед что-то веселое, я чувствовал, что покраснел, шагал неловко, и у меня потела ладонь, а Лиля — хоть бы что, легко и уверенно переступала ножками в лаковых туфлях.

Уже одно то, что у девочки оказалась собственная комната, произвело на меня сильное впечатление, но комната была к тому же красиво обставлена: ковер на полу, письменный стол с чернильным прибором — хрустальная чернильница на мраморной подставке, стакан для ручек и карандашей, пресс-папье, в углу на тумбочке патефон и пластинки. «Если хочешь, послушай что-нибудь» — предложила Лиля. «А родители позволяют?» — мне не позволяли, боялись, перекручу пружину (патефон тогда еще не стал окончательно ширпотребом, еще не утратил особенности ценной вещи). «Это мой собственный, — сказала Лиля. — У родителей радиолы, там, в столовой». В столовой и в самом деле кра-

совалось похожее на дорогой комод заграничное чудо. Иногда Шифрин подходил к нему, передвигал какие-то рычажки, раздавалась музыка, гости быстро поднимались из-за стола и спешили, пока музыка не кончится, станцевать какой-нибудь модный в те времена танец — фокстрот, танго, румбу. Я торопливо (будто кто-то сейчас войдет, выругает, запретит) покрутил рукоятку, поставил первую попавшуюся пластинку и, волнуясь, осторожно опустил на нее тяжелую мембрану с иглой. «Это вальс-бостон, — сказала Лиля. — Хочешь, научу тебя танцевать?..» У нее были такие же, как у матери, пылающие румянцем щеки и большие серые глаза, которых у матери не было. Танцевать я отказался...

Однажды — родители пришли с работы, мы сели обедать, — папа, помешивая ложкой слишком горячий суп, сказал: «Представь только, у Шифриных дочка умерла. Как ее звали?» (Папа часто забывал имена.)

Я тотчас заметил это не *зовут*, а *звали*.

«Лилия, — ответила мама. — Какой ужас! А что случилось?».

«Скарлатина. Шифрин и Молчанова привозил, и Молоденкова...» (Это были известнейшие детские врачи.)

«Надо к ним заехать, — сказала мама. — Такое несчастье. Я съезжу после обеда»

«Похороны послезавтра, кажется. Залуцкий сказал. У него между прочим сестра тоже совсем плоха».

«Лида или Фаня?»

«Фаня. Ты поезжай одна. Мне сегодня вечером поработать надо: завтра у меня серьезный день».

Папа начал осторожно есть суп.

Мама повернулась в мою сторону: «Ты помнишь Лилию Шифрину?»

Я молча кивнул. Мне не хотелось поднимать глаза на родителей. Тон разговора, слова, которые они произносили, — всё, казалось мне, не соответствовало тому, о чем шла речь. Было даже стыдно за них. Я смотрел в стоявшую передо мной тарелку с картофельным супом. Я очень любил этот суп. Обычно, когда я его ел, я воображал, что длинные ломтики картофеля, плавающие в бульоне, это корабли в море, а я, огромный великан, Гулливер или Гаргантюа, вылавливая их ложкой и поедая, побеждаю в морском сражении. Но в тот день перед моими глазами были всего лишь склизкие кусочки, плавающие в желтоватой жиже.

После обеда мама быстро уехала и приехала быстрее, чем я ожидал. Папа оторвался от своих записей: «Ну, что там?» Мама показала на меня глазами: «Потом».

А мне и не нужно было, чтобы она рассказывала. Я боялся тона и слов разговора, который может возникнуть. Я сам знал, *что там*. Я видел перед собой яркие румяные щеки девочки, ее серые глаза, сверкающие лаковые туфельки. И я видел эту же девочку, но добела бледную и худую, как пионерка, умиравшая в страшном стихотворении; девочка с закрытыми глазами лежала на кровати в комнате с ковром и патефоном, бледная. тонкая рука ее бессильно свисала к полу. Послезавтра ее положат в маленький розовый гроб, как мальчика Шурика с нашего двора, и на белой колеснице с четырьмя витыми колонками по углам и ужасным названием *катафалк* отвезут на кладбище, чтобы навсегда зарыть в землю. Я знал в тот вечер еще больше — знал, что все люди умирают, что умрут мама с папой, что я умру, что невозможно избежать этого, и мне не от страха, а от ужаса, хотелось закричать, но молча, не производя ни звука...

Господи!.. Причем тут шагающие отряды, воюющие трубы, галстуки-молнии, пионерский салют, отрядное красное знамя?..

Зачем, Господи, — *«Чтоб земля суровая // Кровью истекла, // Чтобы юность новая // Из костей взошла?..»*

Ааааааааа...

По улицам оставленной Москвы

ДОЖДЬ ПОБЕДЫ

Последний выпускной экзамен в школе — историю — мы сдавали 24 июня.

Настроение у всех было шальное. И у нас, отбывавших последние часы за партами школяров. И у старавшейся соблюдать торжественную строгость экзаменационной комиссии, возглавляемой директором школы, крепко сбитым мужичком с чубом и хитрым прищуром серых запорожских глаз.

В самом деле, какая там еще история, какие учебники, билеты, хронологические таблицы, когда подлинная история вот она — за окнами, и мы ее живые свидетели и уже поэтому как-никак соучастники!

Как раз на этот день, 24 июня 1945-го, назначен был на Красной площади Парад Победы.

!!!!

Только наша учительница, совсем молоденькая, на вид сама школьница, не в силах была поддаться обуревавшему всех радостному возбуждению. Бледная, по-больничному коротко остриженная, она с нескрываемым страхом смотрела на каждого отвечавшего, будто непрестанно ожидая, что именно его ответ произведет какую-то непоправимую катастрофу.

Эта учительница пришла к нам в десятый всего полгода назад, похоже, только что из института. Годом раньше средние школы в стране разделили по половому признаку. Нас было в выпускном классе пятнадцать парней, не разбежавшихся на всякий случай (кто знает, сколько еще война протянется) по всевозможным подготовительным курсам сулящих броню технических вузов. Учительница — от неопытности, должно быть, духовной и женской, — не сумела угадать в нас мальчишек, начинающих чувствовать себя мужчинами, желающих и страшась этого, поверила нашему часто вызывающему поведению и вызывающим речам, дурацким шуткам, перемигиваниям, ухмылкам — поверила и вместо того, чтобы подружиться с нами, отгородилась от нас страхом. Так, со страхом в глазах, она объясняла новый материал, спрашивала уроки, проводила консультации перед экзаменами, сидела за экзаменационным столом. И лишь когда последний из нас пятнадцати (это был самый маленький в классе и заключающий список по алфавиту, рыжий, как огонь, Саша Яшин), ответил на вопросы билета и директор, тряхнув чубом, торжественно поздравил нас с получением законченного среднего образования, она поднялась с места, едва не впервые улыбнулась, сказала: «Спасибо, мальчишки!» — и заплакала.

А час спустя мы — и учительница с нами — каким-то образом, не помню уже каким, очутились в колонне демонстрантов и, под командные крики распорядителей, то пробегая сотню, другую шагов, то останавливаясь, чего-то ожидая, пропуская кого-то вперед,

чтобы потом, опять пускаясь бегом, обогнать кого-то, что-то возбужденно крича, подхватывая кем-то начатые или долетавшие откуда-то песни, продвинулись до Ильинских ворот — здесь, у памятника гренадерам, некогда павшим под Плевной, надо было дожидаться окончания военного парада. Демонстранты, сходящиеся колоннами с разных сторон, с веселой терпеливостью горланили песни, плясали, расчистив кружок, под гармошку, орали «ура!», вторя оглушительному реву громкоговорителей, качали затесавшихся в толпу людей в военной форме, взбирались на чугунную ограду бульвара, стараясь сквозь просветы улиц разглядеть там, вдалеке, хоть какой-нибудь кусочек парадного действия.

Теперь, смотря старые кадры кинохроники, запечатлевшие этот день, я вижу на экране чеканящие шаг по брусчатке Красной площади сводные полки фронтов, вижу, как напротив трибуны возглавляющие каждый полк особые группы знаменосцев круто — левое плечо вперед — поворачивают направо, чтобы на подступах к мавзолею швырнуть штандарты поверженной немецкой армии под ноги генералиссимусу, как стоящий на трибуне старый человек с хмурым лицом и тяжелыми стариковскими плечами трудно и словно бы неохотно поднимает руку к козырьку низко нахлобученной на лоб фуражки...

Старая кинохроника, запечатлевшая Парад Победы, не показывает, что было дальше.

А дальше был ливень.

Будто небо из конца в конец одним махом разверзлось над Москвой, и вся масса скопившейся в хлябях небесных воды рухнула на землю.

Демонстрацию трудящихся отменили.

Трудящиеся, в одну минуту промокнув до костей, бросились по домам.

Было необыкновенно весело. Я не замечал, что белая праздничная рубашка, специально к экзаменам перешитая из маминой батистовой кофты, облепила мое тело, не думал об отцовых ботинках, в последние год-два вдруг ставших мне впору, вода, хлеставшая в лицо, струящаяся по телу как если бы на мне ничего и надето не было, радовала и возбуждала меня. Будто подгоняемые бодрящей живительной силой мы почти бегом

мчались по быстро пустеющей улице, хохотали, выкрикивали что-то, прыгали во встречные лужи, стараясь обрызгать друг друга, — и наша учительница с нами. Она сбросила надетые на экзамен туфли-лодочки, не стесняясь нас, соблазнительно задрала юбку, отстегнула чулки, и бежала босая, и тоже кричала, и прыгала в лужи, и, кажется, плакала, но под дождем не разглядеть.

А дождь лил и лил, и шумно колотил струями землю, словно хотел отмыть ее от годами накопленной тяготы, грязи, тревоги, очистить для готовой неминуемо наступить новой жизни, для нового времени и новых надежд.

ПЕРВАЯ ЗИМА

Памяти Шуриногo Шуры

Первая послевоенная зима было как бы перевальной. Война перерезала пространство жизни, и теперь, когда она окончилась, люди, одолевая этот перевал, оглядывали открывающуюся перед их взором новую территорию, делали по ней первые шаги.

Вот и Сталин, явив себя той зимой народу, подводил общие итоги войны, намечал самые общие задачи послевоенного развития. Послушать его, получалось, что всё в эти только что минувшие тяжкие годы шло по пронизательно обдуманному плану, что не кровью людской, а мудростью партии и государства была удобрена земля, на которой вызрела победа.

Многие из тех, кто в тот вечер прижимал ухо к черной бумажной тарелке радиорепродуктора, с горечью обиды заметили, что вождь и учитель, впервые после войны встретившись со своим народом, и слова не нашел, чтобы вспомнить о понесенных жертвах, — замета болящим рубцом легла на израненное потерями сердце.

Я бы из нашего сегодня не взялся умозрительно размышлять об этом, задним умом мы все сильны, но про обиду, о которой в ту пору и намекнуть-то было опасно, я впервые услышал минутную спустя после того, как Сталин окончил свою не слишком

внятную из-за глуховатости голоса и сильного акцента речь, а из репродуктора, перекрывая овацию, грозящую стать вечной, грянули оглушительные звуки победного марша.

Сидя у нас в тот вечер, вместе с нами слушала речь старая мамина приятельница Александра Васильевна, ярая общественница двадцатых годов, с которой мама в то исполненное энтузиазма время дружно основывала какие-то трудовые профилактории, имевшие целью перевоплотить падшие создания — воровок и проституток — в деятельных гражданок Страны Советов. Мама именовала приятельницу *Шурой с чаеразвески*, в отличие от другой Шуры, и тоже Александры Васильевны, жены папиного двоюродного брата. (С малолетства помню эту мамину Шуру, маленькую, тощую, по-цыгански смуглую, точно прокопченную, помню ее грубый прокуренный голос, громкий смех, шутливые тумачи, которыми она меня награждала, пытаясь перебороть мою, с детства, сутулость: «Стой прямо, ходи браво». Годами собирался спросить у мамы, так и не собрался, что это за «чаеразвеска» такая.) У *Шуры с чаеразвески* был сын, тоже Шура, которого она растила без отца. Мама говорила по секрету, что отцом был, кажется, какой-то видный советский деятель, может быть, даже член правительства (позже сгинул, наверно, на островах архипелага, если не расстреляли). Шурин Шура в первые же дни войны ушел на фронт, хотя носил очки и мог не идти («Да как не пойти, он ведь у меня коммунист», — говорила Шура-мать), и тогда же, в первые дни, был убит. *Шура с чаеразвески*, черная, как галка, сидела, склонив голову, возле репродуктора, дымила толстой, в палец, самокруткой. Когда в репродукторе победной артиллерией загрохотали финальные аплодисменты, она крепко затянулась напоследок, ткнула окурок в пепельницу, хрипло отметила: «Погибших не помянул». И добавила с укором: «Пока воевали, слава павшим героям. А теперь — не счел». Все промолчали...

Сталин говорил о победах. И даже не о Берлине и Праге. О победах не просто исторических, но вселенски-исторических. В которых незыблемо бронзовела вечность. Советский Союз с коммунистами во главе — самая лучшая, самая жизнеспособная форма государства и общества. Вот главная историческая победа, главный исторический итог минувшей войны.

(Многие из тех, кто слышал эту речь — мыслимо ли было подумать! — доживут до распада государства, которое именовалось Советским Союзом, до распада общества, которое в Советском Союзе именовалось социалистическим, до пьяных дней, когда члены самой победоносной партии будут с партийной лихостью сжигать выношенные на груди партийные книжечки, а немногим стойким, не покинувшим ее сильно поредевших рядов, останется утверждать свои идеалы возложением по табельным дням казенных красных гвоздик к основанию гробницы, от которой новые правители не чают, но пока всё не найдут способа избавиться.)

Бедный Шурич Шура!..

Безбожный

В тот промозглый февральский день 1946 года Сталин выступал перед избирателями. Со времени предыдущих выборов прошло восемь лет. Предыдущие, в нарицательном тридцать седьмом, были первыми, когда, по велению новоиспеченной конституции, обозначенной как *сталинская*, население страны было допущено к избирательным урнам. Теперь, после затянувшегося перерыва, объявленного войной, велено было вновь по заранее намеченной разверстке (столько-то рабочих, столько-то колхозников, мужчин, женщин, комсомольцев, столько-то с высшим образованием и со средним столько-то), как из нарезанных кусочков картинку в детской игре, составить картинку советского *парламента*.

Для работы среди населения на избирательные участки направляли агитаторов. Я тоже в числе многих других студентов был удостоен доверия разъяснять народу политику партии и правительства.

Избирательный участок нашему институту достался тяжелый — целый городок старых барачных или приспособленных под бараки строений в Безбожном переулке.

«В Безбожном переулке хиреет мой талант», — позже напишет и споет Булат Окуджава. Он после долгих мытарств получит завидную по тем временам квартиру в писательском доме, воздвигнутом в шестидесятые или в семидесятые годы на том самом месте, где прежде стояли бараки.

В перестроечное время переулку вернут давнее имя — Протопоповский. Не уверен, что это прибавило месту божественного духа. Тем более, что не угодившее советским властям «религиозное» название было произведено не от духовного сана, а от фамилии какого-то почитаемого домовладельца.

В бараках обитали десятки семей, теснившихся в маленьких, по большей части, плохо приспособленных для нормальной человеческой жизни клетушках. Коридоры были завешаны корытами, тазами, заставлены ящиками с убогим барахлом, колченогими стульями и тумбочками, всем тем, что никак уже не годилось для употребления, но по бедности рука не поднималась выбросить. Центром наших пропагандистских трудов становилась, как правило, общая кухня. Здесь сохло белье, пахло паром, кислыми щами — опорным блюдом бедняцкого меню, табачным дымом, помоями. Женщины стирали, согнувшись над тазами и корытами, толклись, задевали друг друга локтями, у плиты, мешали что-то половниками в закопченных кастрюлях, ругались между собой, ругали нехотати подвернувшихся под руку детей, соседей по дому, мироустройство. Сообщать им, что они живут в самом совершенном государстве и обществе, не позволяла совесть: я предлагал им какую-нибудь интересную новость, политическую или из области науки и техники, прикнопливал к двери, ведущей на черный ход, принесенный мною очередной призывный плакатик и, извлекая из кармана блокнот и карандаш, спрашивал о назревших бытовых нуждах. Я знал, что нужды эти не будут удовлетворены, и женщины знали, — тем не менее все обычно возбуждались, начинали кричать, перебивать одна другую, иногда даже оттирали одна другую от меня плечом, будто, как в известной евангельской купальне, исцеление ждет лишь того, кто сумеет раньше остальных войти в воду. Никто не верил, все просили, — поистине надежда умирает последней.

Те, кто посылал нас в эти мгlistые кухни, тоже заранее знали, что ничего не сделают для несчастного населения барачного городка; впрочем, и у них, точь-в-точь, как у невинных агитаторов, не имелось ни возможностей, ни средств сделать что-либо. В конечном счете вся так называемая *агитработа* имела целью принудить доставшихся тебе избирателей в день голосования как можно раньше опустить бюллетени в урны. Именно по этому показателю городские и районные власти судили о деятельности избирательных комиссий; участки соревновались между собой.

«Не пойду голосовать! На, гляди!..» — горланила Лена, самая беспокойная моя избирательница. Она раздвигала полы нечистого байкового халата и выставляла вперед ногу в коротком, обрезанном, как опорки, валенке. «Вся моя обувь, и та дырявая! — горланила Лена и еще больше раздвигала халат и выставляла ногу. — Другую обувь советскую власть не дала!..» Нога у Лены была красивая, будто точеная. Я смущался, но был не в силах отвести взгляд. И сама Лена была бы красивая, если бы не тягостная бледность лица, бледность ростка, живущего в темноте, если бы не припухшие глаза, не запах только что вышитой водки. «Посодют тебя, Ленка! — деловито обещали женщины. — Непременно посодют!..». «Расстреляют!» — добавляла меру наказания старуха Прохорова, неотлучно стоявшая у дальней плиты в углу и шаркавшая половником по дну кастрюли. В тяжелом дворницком фартуке, она точно какое-то ведьмовское зелье варила. «Вот и хорошо, расстреляют, — дерзила Лена. — Ребят — в детский дом. Оденут-обуют. Сыты будут».

«Я б ее, контру, на фронте в момент расстрелял, — избиратель Агеев мечтательно улыбался, показывая едва вылезавшие из десен мелкие желтые зубы. — Шлёп, и нету». Агеев стоял на пороге кухни с зеленым эмалированным чайником в руке. По дому ходил он в поношенном военном обмундировании, даже с медалями какими-то, но босой. «Смотри, стрелок! — повернулась к нему Лена. — Самопал-то в штанах, небось, заржавел совсем!..» Женщины засмеялись. Агеев выругался и, шлепая босыми ногами, побрел куда-то в конец коридора к своему логову.

Перед самыми выборами я выклянчил в профкоме института талон на парусиновые туфли и принес Лене. Почти всю комнату занимала кровать, покрытая красным стеганым одеялом. На кровати, забравшись с ногами, сидело двое или трое (не помню уже) ребятишек. Они испуганно, будто ожидая чего-то, смотрели то на меня, то на Лену. Лена была весела, и в комнате крепко пахло водкой. «Ох ты! Ну, удружил! — Лена поцеловала талон и сунула в карман халата. — Как думаешь, пойдут? — Она раздвинула полы и далеко, так, что стало видно выше колена, показала ногу. — Не бойсь! Я в таких теперь первая голосовать приду. А вечером в ДК, на танцы...» Я так и не понял, в самом деле радуется она, хоть немного, или смеется надо мной.

Голосовать Лена не пришла. И я, обязанный по суровым правилам агитработы тех лет пребывать на участке, пока не про-

голосуют все мои избиратели, тщетно ждал ее почти до полуночи. Время от времени председатель комиссии посылал меня к ней на квартиру, но дома ее тоже не было. Может быть, перепутала на радостях и уже с утра отправилась танцевать в дом культуры. Женщины на кухне жалели меня и ругали Лену. «Я говорил, расстрелять ее, курву! И никаких хлопот», — улыбался Агеев, обнажая десны.

Около полуночи председатель комиссии, нимало не задумавшись, поставил в списке возле Лениной фамилии крестик, сложил бюллетень и бросил его в урну. «Их, дураков, жди! Я уже в шесть доложил наверх: явка девяносто девять и девять»...

(Нынешнему читателю, не искушенному в советских выборных игрищах, напомним: в каждом бюллетене стояло единственное имя кандидата, обреченного быть избранным.)

Братская могила

В феврале 1946-го, выступая на собрании избирателей, Сталин, по существу, в последний раз говорил вслух перед народом.

В 1952-м взберется еще раз на трибуну за стенами последнего при его жизни партийного съезда, проговорит что-то не слишком вразумительное о борьбе за мир (к войне готовясь) — коротенькое, два десятка строк (на что-нибудь большее, похоже, сил уже не хватало, какой-то механизм внутри не срабатывал). Выступление начнут, понятно, изучать, цитировать, воспевать на все лады, но ни малейшего интереса оно ни у кого не вызовет.

Тремя годами раньше, в 1949-м, *страна и мир* (как тогда говорилось) отмечали семидесятилетие вождя. Торжественное заседание проходило в Большом театре. Телевизоров у нас еще не было: заседание показывали позже, в кинохронике. Вождь сидел за столом президиума мрачный и заметно недовольный. Славословили, славословили, вставали, рукоплескали, подсадные «представители трудящихся» выкрикивали из зала заготовленные лозунги, все снова вставали, рукоплескали, славословили — ждали: что сам в ответ скажет. Он — ни слова: глядел перед собой, не улыбочиво, с сердитым лицом, даже «спасибо» не вымолвил. Передавали слухи: болен, устал, какие-то особые соображения. Позже наш мистический философ объяснит: именно в эти дни темные

силы, с которыми связан был вождь, перестали питать его энергией, открыли ему скорый конец его царствования и самой жизни его. В газетах изо дня в день печатали так называемый «Поток приветствий» — несколько колонок наименований организаций, пославших поздравления вождю и учителю. Печатали безответно, до того мартовского дня 1953-го, когда этот *поток* сменился «Потоком соболезнований», несравнимо менее полноводным, вскорости, по мановению руководящей руки, и вовсе иссякшим...

В речи 1946 года на собрании избирателей Сталин о литературе, о культуре, вообще об идеологической политике не говорил.

Иные в ту первую послевоенную, перевальную зиму 1946-го усматривали в этом добрый знак, еще предавались иллюзии, что теперь, под лучами великой победы, жизнь в стране изменится, что ужасы предыдущих десятилетий позади, что дышать будет свободнее (о существовании таких иллюзий нередко читаем у мемуаристов старшего поколения).

Но Сталин *по-своему* хорошо знал российскую историю, помнил, как 1812-й год, аукнувшись победами, откликнулся декабрем 1825-го, как, отвечая на европейские события 1848-го, Николай Первый «подмораживал» Россию (есть свидетельства, что вслед за последовательным возвеличением сперва Петра Первого, потом Ивана Грозного вождь под конец жизни собирался золотить монумент Николая).

Еще не отгремели победные торжества, а кремлевские металлурги уже отливали бронированные листы — отгородиться вместе с поработенными европейскими странами от прочего мира. На исходе зимы 1946-го Черчилль (первый, кажется) скажет о *железном занавесе*, опустившемся над Европой от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике. (А в Нюрнберге еще полным ходом — процесс: советские представители вместе с вчерашними союзниками, ныне уже противниками, судят вчерашних общих противников, позавчерашних — в 1939–41-м — наших союзников.) И мало кто ведал, что тотчас после недавней лихой войны, наименованной отечественной, с ее *сталинскими ударами* на всех фронтах обдумывались в верховных кабинетах планы войны внутриотечественной — сталинские удары на всех направлениях духовной жизни. Чтобы искоренить из будущего мироустройства

всякую мысль, всякий замысел, помysel, неугодные властителю и присным его, взявшимся по своему разумению перестраивать мир, в котором нам довелось обитать. Чтобы искоренить живое в умах и душах подданных, как недавно залпами катюш выжигали оборону врага.

В те послевоенные годы наступление на сознание, на духовную жизнь подданных, на свободу мысли, и до того со всех сторон стиснутую заборами и преградами, покатилося широким фронтом. Такого наступления родные партия и правительство не предпринимали ни до, ни после. За пять лет моей студенческой жизни появились руководящие постановления о литературе, о театре, о кино, о музыке, боролись с низкопоклонством перед Западом («иностранными-засранцами», как, по записи Константина Симонова, мудро определил товарищ Сталин), с космополитизмом, с псевдонимами (евреев-писателей), прошли так называемые «дискуссии», имевшие целью назначить в той или иной науке единственную и неоспоримую точку зрения, которая «всесильна, потому что она верна» (философский аргумент, предложенный Лениным), и, назначая оную, уничтожить, подчас и физически, всех, в чьей голове посмело шевелиться что-нибудь иное (дискуссии были организованы по проблемам биологии, философии, медицины). Добавим, что каждое такое начинание, как первый камень, вызвавший камнепад, волокло за собой другие камни, попадавшие по дороге, каменная масса катилась с горы, заполняя воздух грохотом, взметая пыль, разбрасывая обломки. Постановления, руководящие выступления, редакционные передовые рождали и плодили новые статьи, рецензии, отклики, проработки, персональные дела, прямые репрессии. (Специально «под постановления» была создана зубодробительная газета «Культура и жизнь», окрещенная — на ушко — *братской могилой*.)

Квисисана

Той зимой 1946-го я впервые попал в Ленинград: отец поехал по служебным делам и взял меня с собой. С чувством почти религиозным бродил я целыми днями по мрачным зимним улицам еще неужоженного после недавних военных будней города. Мысли

о только что пережитой городом блокаде (представленный на какой-то выставке кусочек-паек блокадного хлеба, похожий на темный глиняный черепок, кадр кинохроники: девочка тащит на салазках труп умершей матери) перемешивались в моих впечатлениях в единый состав с встречаемыми на каждом шагу дорогими сердцу следами российской культуры — чудилось, вот сейчас Пушкин легким летящим шагом пройдет мне навстречу.

В Эрмитаже еще шла развеска картин, но уже пускали посетителей. В залах было холодно. Люди стояли перед полотнами в пальто и телогрейках, повязанные платками, в валенках. На Невском в переполненном кинотеатре «Баррикады» показывали невинный американский фильм «Серенада солнечной долины». Для зрителей, измученных лишениями и всего более в жизни страшящихся потерять продуктовые карточки, лента была окном в *дру-гую*, несбыточную, сказочную жизнь.

Приятель отца, старый питерский врач, пригласил нас в знаменитый ресторан «Квисисана» (позже здесь разместится кафе «Норд», еще позже переименованное в «Север»). В блокадные годы в ресторане была столовая: давали по талонам тот черный черепок хлеба, который я видел на выставке. Пока не отменили карточки, в ресторане можно было по коммерческой цене получить чашку бульона с пирожком.

Мы устроились за столиком, красиво освещенным лампой под оранжевым абажуром. «Когда-то я встречал здесь Блока», — сказал приятель отца. Это был высокий костлявый старик с темным, исчерченным глубокими морщинами лицом, будто вырезанным из старого, сухого дерева. В гардеробе он снял выдававшую виды шапку-ушанку и взамен водрузил на лысую голову черный бархатный берет — это придавало его облику что-то не соответствующее времени и таинственное. Пока мы, стараясь не торопиться, понемногу откусывали от пирожка и зачерпывали серебряной ложкой прозрачный бульон, старик убеждал меня отставить все остальные занятия и взяться за изучение языков. После войны мир неимоверно расширился, говорил он, волей или неволей окно в Европу снова распахнулось, и так широко, что его уже не затворить: начинается эра широкого общения с иными цивилизован-

ными народами. Голос у старика был громкий, не подчинялся ему. Отец беспокойно поглядывал по сторонам. Впрочем, народу в зале было мало. Приятель отца, как выяснилось, в молодости учился не только на медицинском, но и на филологическом факультете, знал едва ли не пять или шесть языков.

(Через месяц-другой после нашей встречи, убежденный в начавшейся «эре общения», он разговорится на улице с английским морским офицером. Едва собеседники расстанутся весьма довольные друг другом, старика заберут прямо на улице, не утруждая необходимостью зайти домой. Посадить — не посадят, кто их там поймет, почему, может быть, вправду сочтут юродивым, но из Ленинграда вышлют. Старик вскоре умрет, где-то в глуши, нищим приживалом у нищих родственников...)

Собираясь в обратную дорогу, мы с отцом купили, опять же в коммерческом магазине, двести граммов вареной колбасы и белую французскую булку (несколько лет спустя в пылу борьбы с иностранщиной ее назовут «городской»). Бумажный пакет с покупками положили на стол в гостиничном номере «Европейской», а сами отправились еще раз напоследок пройтись по Невскому. Когда мы возвратились в гостиницу и отец, перешагнув порог, щелкнул выключателем, раздался шум и топот, — пакета на столе не оказалось: обрывки оберточной бумаги лежали в углу комнаты у крысиной дыры. Пришлось ограничиться в дороге духовной пищей.

На вокзале по цене совсем не коммерческой я купил свежий номер журнала «Звезда» и, кажется, именно тогда узнал поэта Вадима Шефнера. Утром, выйдя уже в Москве из душного вагона, я вдыхал напоенный влагой февральский воздух, чирикал радостно: «Но не знает весна, что она и взаправду весна»...

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

Частное и общее

Надежды на послевоенную весну окончательно развеются через несколько месяцев, летом сорок шестого.

«Первой ласточкой» долгой трескучей зимы станет постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Имена Ахматовой и Зощенко уже были к этому времени не пустой для моего сердца звук, не абстракция, не вообще «писатели». И Ахматова, и Зощенко, каждый по-своему, уже выросли в мою память и воображение, вошли в мой состав, сделались частью меня.

Ахматова для меня с младенчества моего была сопричислена к маме. Мама пристрастно относилась к поэтам, которых объединят потом в границах Серебряного века: дорогая (дореволюционная, прибавлю), счастливая мамина юность. И юность самих поэтов: мама всего на три года младше Ахматовой. Среди этих поэтов, которых она любила, но о которых знала и судила весьма поверхностно, Ахматова была, без сомнения, всех ближе, господствовала. В маминой голове с курсистских, студенческих лет не прекращалось круговращение любимых ею — самых известных, что всегда на слуху — ахматовских строк, иной раз, кстати, а то и некстати выпархивавших и произносимых вслух. Строки эти мама произносила с особенным задорным выражением, точно побивала нас ими, точно сама их написала или сообщала нечто ей одной доверенное. Про *сероглазого короля*, про *устрицы*, которые *свежо и остро пахли морем*, про *желтые фонари* в черном саду... Или: «*Улыбнулся спокойно и жутко // И сказал мне: “Не стой на ветру”*» (Ахматова бы ее растерзала!). Имелся у нас в доме и портрет Ахматовой — то ли переснятый с рисунка Анненкова, то ли знаменитая напельбаумовская фотография, но тоже что-то очень известное, из молодых ахматовских, *маминых* лет, черно-белое и в профиль — всю мою долгую жизнь Ахматова для меня такой и останется (Модильяни и Альтман, увиденные позже, лишь укрепят впечатление).

А Зощенко — это уже мое. Вспоминаю дачу в подмосковном поселке за три года до войны. Эти особенные сосны в медной чешуе с их солнечно-смолистым запахом и также еще не утратившие аромата смолы и древесной свежести срубы домов, тех самых, что «по Казанке», двухэтажных, с террасой внизу и балконом наверху, расположившихся в глубине обширных участков, засыпанных прошлогодней хвоей и хрусткими круглыми шишками. В таком поселке, недавно построенном для сотрудников какого-то наркомата, мы и сняли в одной из дач комнату с балконом на втором этаже.

Соседский упитанный мальчик, нареченный исполненными энтузиазма родителями гордым революционным именем Октябрь, которого все, в том числе и родители, называли Котиком, в первый же день, едва я освоился, сказал мне тихо: «У этого Ленки, который тебя положил, зимой отца забрали». Я понятиливо кивнул. Ленка, коренастый, с коротко остриженной под машинку головой, при знакомстве тотчас предложил мне бороться: я не успел изготавиться, уже лежал, прижатый лопатками к устилавшей землю колкой хвое. Выше его на голову, да и пошире, наверно, я никак не ожидал в нем такой силы и еще более напора. Котик помолчал и прибавил: «А дачу пока не отняли». Помолчал и прибавил: «У Кабачниковых дача тоже два года заколочена. Так никто и не живет». Вполне понятный разговор для подростков второй половины тридцатых.

Оттого, что родители работали в одной *системе*, как тогда говорилось, и оттого, что заселяли дачи примерно в одно время, мальчики и девочки в поселке все знали друг друга и проводили время вместе. И как-то так там повелось, что по вечерам часто собирались у кого-нибудь на просторной нижней террасе и устраивали «концерты»: пели, декламировали, играли небольшие сценки, именовавшиеся «скетчами», танцевали, строили гимнастические «пирамиды» — тоже увлечение времени. Взрослые охотно соглашались быть зрителями на этих представлениях: всё же способ коротать вечера в не оснащенном «голубыми экранами» веке.

Скоро обозначилось и мое место в этом подростковом сообществе: я читал с эстрады Зоценко. Книжка его рассказов в синем переплете уже несколько лет была моим неизменным спутником. Одна из тех нескольких книжек, в которые я едва не всякий день испытывал потребность заглянуть. «Аристократку», «Баню», «Монтера» я знал наизусть. Или почти наизусть. Конечно, я не понимал всего, что хотел сказать своими рассказами писатель. Но многое, как мне представляется даже сегодня, всё-таки понимал. И то, что понимал, старался передать слушателям. Наверно, успеху моих выступлений способствовал мой возраст. В самом деле весьма смешно и мило, когда подросток с пухловатыми детскими щеками и детской челкой над бровями произносит за кавалера, осатаневшего от аппетита дорвавшейся до пирожных дамы: «Натоцк — не много ли? Может вытошнить... Ложи, говорю, взад!» Или капризно — за оперного солиста: «Я в темноте петь тенором

отказываюсь». Но всё же главную причину успеха я отношу на счет автора текста. Потому что текст Зощенко, даже в моем чтении, открывал слушателям, сознавали они это или нет, их жизнь во всей ее пародийности, отчаянии, печали, тоске. Как бы там ни было, вскоре я стал неотъемлемой принадлежностью дачных концертов и, соответственно, выучивал всё новые и новые тексты Зощенко. Учил я их, конечно, не в совершенной точности, читая, порол отсебятину, — теперь, зная цену каждого зощенковского слова, со стыдом признаюсь в этом, и всё же прощаю себе легкомыслие и неведение подростка. Рассказы схватывались памятью замечательно легко, будто не я старался их запомнить, а они сами в меня входили — не только сочетаниями слов, но определенным настроением души, своего рода мировидением.

(Годы спустя, часто и поныне, прежде чем устроиться за письменным столом, я открываю наугад книгу Зощенко, читаю страницу-другую: не потому, что решаюсь или умею подражать ему, — как глоток живой воды.)

Сейчас приходится встречать суждение, что имена Ахматовой и Зощенко, в общем-то, были случайно избраны для нанесения первого удара: могли быть и другие имена. *Кремлевскому горцу* важно было разрешиться самим постановлением, заклеить с его помощью «безыдейность» и «аполитичность» во всех областях жизни, вставить в рот подданным удила покрепче, потуже натянуть поводья. Смысл в такого рода суждении, конечно, есть: узда здесь дороже лошади. Не Ахматова, не Зощенко — нашли бы кого-нибудь другого. И всё же не случайно, наверно, выхвачены были острым недобрым взглядом хищника на карте отечественной литературы именно эти два островка, упрямо отстаивавших себя, не позволявших себя завоевать, поработить ложью, пошлостью, подлостью, угодничеством, которые повсеместно хозяйничали в тогдашней литературе. И еще: в поношениях, обрушившихся на головы этих двух избранных, в словах хулы, в интонации чувствовалось и нечто личное — с самого верха идущая личная неприязнь.

Исследователи называют разные причины, вызвавшие высочайший гнев.

Об Ахматовой чаще всего говорят, что ей не был прощен порыв, с которым встал зал при ее появлении на сцене послевоенного вечера поэзии: «*Кто организовал вставание?*» Вождь был

убежден, что народные порывы — *вставания* — организуются свыше и притом принадлежат только ему. (Ахматова вместо того, чтобы порадоваться *вставанию*, измученной, привычно-чуткой к опасности душой тотчас почувствовала непоправимость произошедшего в зале.) Но не вставание, конечно, тут причиной (хотя, наверно, и вызвало ревнивое раздражение): вся в совокупности личность Ахматовой и поэзия ее были нестерпимо чужды «вдохновителю и организатору всех наших побед». Стихи Ахматовой в эти годы печаталась не слишком часто и не слишком приметно, да и в вину ей партийные литературоведы вменяли строки, десятилетиями раньше вышедшие из-под ее пера.

Зощенко тоже, кажется, предполагал, что ему не простили оплошность: в одном из рассказов появляется не названный по имени неприятный человек с *усами*. Но достаточно перелистать «Перед восходом солнца», чтобы не искать более никаких причин высочайшего неприятия. Всё в этом создании — каждое слово, каждая мысль, строй речи, чувство пишущего, сама необычайность, неординарность написанного — всё должно было вызвать ненависть Сталина.

Безыдейность через Ы

По моей тогдашней недостаточной грамотности (если ценить полной мерой, и нынче недалеко ушел), а также потому, наверно, что прежде почти не встречал, или не замечал, и, без сомнения, не употреблял этого слова, в постановлении резануло мне глаза слово, в нем господствовавшее, — «безыдейность». Резануло тем, что через *Ы* написано — «безЫдейность». Я наивно полагал, что надо через *И*. Признаться, я и сегодня не уверен, что законодатели нынешней русской грамотности правы с этим *Ы*: «безЫдейный», «безЫскусный», «безЫнтересный». Владимир Иванович Даль осторожничает: «без(ы)ъискусный». Причем только во главе гнезда, в тексте же вовсе без *Ы* — «безъискусный». «Безыдейности» у Даля вовсе нет. Это так, небольшое отступление. Суть же в том, что написанную по правилам «безЫдейность» (ставшую после постановления одним из главных слов эпохи) я при первом же осознанном знакомстве воспринял умом и чувством как что-то грубое, напористое, опасное. За критикой такой «безЫдейности» стояло утверждение Ыдеи (Ынтереса, Ыскусства) — почему-то познабливает. Бррр!..

(Виктор Клемперер в своей поразительной — поражающей! — книге «ЛТИ. Язык Третьего рейха» пишет о языке тоталитарной системы: «Нацизм въедался в кровь и плоть масс через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно... Но язык не только творит и мыслит за меня, он управляет также моими чувствами, он руководит всей моей душевной субстанцией, и тем сильнее, чем покорнее и бессознательнее я ему отдаюсь».)

Я пять лет отучился на литературном отделении редакционно-издательского факультета. В курсе отечественной литературы Достоевский («архискверный», по глубокому ленинскому обозначению) у нас отсутствовал. В билетах для государственного экзамена автору «Братьев Карамазовых» был отдан единственный вопрос: «Статья тов. В.В.Ермилова об ошибках в мировоззрении Достоевского» (что-то вроде). Ермилов этот — деятельный присяжный критик и литературовед, теперь позабытый (если что помнят, то из предсмертного письма Маяковского: «Жаль с Ермиловым не доругался»). В нашем курсе русской литературы не назывались также имена Чаадаева, Аксаковых, Аполлона Григорьева, Даля, А.К.Толстого, Гаршина, Лескова. Про Тютчева и Фета бедные преподаватели бормотали невразумительное «кус-кус» («искусство для искусства»). Серебряный век оборачивался «черным десятилетием российской интеллигенции». Мандельштам был под запретом. Ахматова упоминалась походя, не как поэт, а как образец этой самой безыдейности через *Ы* — пошлости и аполитичности. Наша красивая преподавательница (я даже был в нее немного влюблен) изрекала скучно, глаза ее пустели: «монахиня и блудница» — и снова о чем-нибудь другом. О Пастернаке с институтской кафедры за пять лет никто не произнес ни слова. Новые его стихи заметно не появлялись. Вдруг неожиданно был издан сборник пародий и эпиграмм уже умершего к тому времени Александра Архангельского; в сборнике о Пастернаке две строчки (переиначенная непристойная эпиграмма пушкинского времени): «Всё изменяется под нашим зодиаком, // Лишь Пастернак остался Пастернаком» — похоже, своего рода ключ для понимания отношения к нему свыше. О существовании Цветаевой (не поэта — вообще о ее существовании в этом мире) мало кто знал. Теперь труд-

но поверить, но тогда — хорошо, если из всех студентов нашего *литературного* отделения несколько человек о ней слышали. Стоит вспомнить всё, что произошло в советском отечестве с Мариной Ивановной и ее близкими после возвращения из эмиграции, из долгой — у нас — безвестности, чтобы не удивиться тому, что имя ее кануло в новую безвестность. Когда десять лет спустя, в 1956-м («оттепель»!), решились напечатать несколько стихотворений Цветаевой, предваривший текст предисловием Илья Эренбург написал (поневоле, конечно), что рассказывать о ее жизни еще не время. Годом позже холуйствующий критик Дымшиц предупредил: «Цветаева — явление крошечное».

По улицам оставленной Москвы

О Марине Цветаевой — поэте и человеке — я узнал от сокурсницы Тани Т. Таня была несколькими годами меня старше, заметно (даже для меня самого) взрослее и столь же очевидно образованнее. Она хорошо знала поэзию и любила ее особенной прекрасной любовью истинного читателя, в котором полюбившееся стихотворение, строка, подчас единственное слово вызывают прилив ответного вдохновения, едва ли не равноценного вдохновению, воодушевлявшему их творца. Особенно хорошо и любовно обитала Таня в мире поэзии того самого Серебряного века, который в годы нашего учения оказался заведомо не в чести, тем более после публичной казни Ахматовой.

Таня была в каком-то родстве с писателем Виктором Ардовым, называла его «дядей Витей», это придавало веса ее литературным суждениям. Теперь, когда мы вдоволь насыщены о постоянном московском прибежище Ахматовой в доме Ардовых на Ордынке, можно, наверно, яснее представить себе питательную среду пристрастий и познаний Тани, но и в студенческое наше время родство с Ардовым, с *писателем*, кое-что для нас значило. Виктор Ардов был к тому же *известный* писатель, его умело сделанные юмористические рассказы пользовались широким успехом. Недавно я прочитал, что после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Ардова, как и некоторых других представителей жанра, почти перестали печатать — за компанию (или: в

одной кампании) с Зоценко. Но и в эти годы опалы он всё же приходил к нам в институт, выступал на наших студенческих вечерах — читал свои смешные рассказы. (У него была внешность красивого ассирийца.)

Однажды мы с Таней шли вдвоем из института — до метро было по дороге. Зимний день быстро угасал. Темнело. На Садовой насыпало снега. Дворники сгребали его, протяжно шаркали лопатами. У Тани были прозрачные голубые глаза, нежный румянец на тонком, будто нарисованном пастелью лице. «Хочешь, прочту Ахматову?» — спросила Таня и, не дожидаясь моего ответа, прочитала стихотворение, не помню уже какое (мог бы придумать, не хочу). По тем временам это было доверие.

Впрочем, доверительность между нами возникла раньше, когда Таня, заведомо таясь, чтобы другие не видели, вдруг протянула мне в каком-то глухом тупике институтского коридора несколько сложенных тетрадкой листков. На листках ее красивым разборчивым почерком были переписаны некоторые стихотворения Агнивцева, прежде мне неизвестного. «Один дома прочитаешь», — предупредила Таня. После, встречаясь на людях, мы загадочно переглядывались, как те самые *два авгура*, я произносил что-нибудь вроде: «Перед Софи он вертелся, как черт, // И, завертевшись, свалился за борт», для остальных непостижимое, Таня отвечала в лад: «Ах, лейтенант, рыбу ножом!.. фи...» — мы смеялись, вызывая недоумение окружающих.

В тот быстро сгустившийся зимний вечер мы с Таней стояли у метро, в сумраке, за табачным киоском, где часто, не имея иного пристанища, прижимались друг к другу влюбленные (водку пили тогда в открытую, каждые двести-триста метров был прилавок — продавали в разлив). Дворники шаркали лопатами. Шуршали, высекая искры из проводов, штанги троллейбусов. На перекрестке перемигивались светофоры. Таня читала с заведомой невыразительностью (то есть с отсутствием привносимого *от себя* выражения), которая с особенной ясностью доносит до слушателя смысл и звучание стиха. (Так читают подлинные любители поэзии.)

«По улицам оставленной Москвы // Поеду — я и побредете — вы. // И не один дорогою отстанет, // И первый гром на крышке гроба грянет...» Не знаю, не помню, *что* читала тогда Таня, друг мой любезный, в сумраке за табачным киоском — пишу пришед-

шие на память строки, которые могла прочитать, — чувствую, что здесь нужна мне, необходима поэтическая строка. «И ничего не надобно отныне // Новопреставленной болярине Марине»...

Можно, конечно, и другое что-нибудь подобрать, припомнить, но без строки стиха никак не передать испытанной в тот зимний вечер обжигающей встречи с поэзией...

Стыдно... Стыдно...

В молодую пору естественного и укореняемого свыше неведения, стыдно не было. Теперь стыдно.

Когда Таня у метро в полутьме за табачным киоском прочитала мне первые в моей жизни цветаевские строки, у Истории за спиной была уже цветаевская Москва, та первая, где *Памятник Пушкину* «с плечами в зарю или в метель», и цветаевская Прага, и Париж, и снова Москва, страшная, как застенок, и Елабуга... — а я знать ничего не знал, ведать не ведал. О Марине Цветаевой — не ведал.

Потом в моей жизни появятся близкие мне люди, которые и знали, и ведали. Встречусь с Лидией Либединой — она видела Цветаеву в конце крестного пути, перед отъездом из Москвы в Елабугу. Когда я на заснеженной темной Садовой впервые выбрал памятью имя Поэта, когда впервые впитывал слухом и душой цветаевские строки, Лида уже мучилась мыслью и совестью (пусть наивно, но прекрасно!) — была бы рядом с Цветаевой, не дала бы погибнуть. А я — не знал, не ведал.

Одно оправдание, оно же — обвинение: я был с большинством, в большинстве.

КРЮЧКОВ И СВЕТЛАЕВ

Имя-знак

Сергей Ефимович Крючков преподавал нам морфологию русского языка и орфографию. Михаил Васильевич Светлаев синтаксис, историческую грамматику и введение в языкознание.

Ныне эти имена порядком подзабыты. Но для школьника моего поколения они были по-своему знаковыми. Они являлись неотъемлемой частью затверженного за годы учения, как форму-

ла, парного имени *Крючков и Светлаев*. Имя это стояло на переплете основного школьного учебника русской грамматики и обычно употреблялось как целое — *крючковисветлаев*: «Посмотри у *крючковаисветлаева*». Упомянуть название учебника надобности не было. Просто: «*Крючковисветлаев*, страница семьдесят три». Имя было сопоставимо с другим парным именем-знаком, кажется, самым долговечным в истории русской педагогики: *Шапошников и Вяльцев* — *шапошниковивяльцев* (алгебраический задачник). Это вообще из 19-го столетия, но я *шапошниковавяльцева* еще тоже застал. (Можно, в порядке шутки, вспомнить в том же ряду *бойлямариотта* или *ломоносоваилавуазье*, но шутка шуткой, а типологически — как нечто укорененное со школьных лет в сознании и памяти — сопоставимо.)

Надо ли говорить, что, когда перед школьником, зазубривавшим для поступления в институт параграфы из *крючковаисветлаева*, вдруг, что называется, «живьем», представал этот самый Крючков, такое не могло не произвести впечатления. Впечатление тем более умножалось, даже возводилось в степень оттого, что среди институтских наставников вдруг оказывался и Светлаев. Обе части формулы-знака были налицо. В начальные годы учения Крючков и Светлаев, и впрямь, почти воедино (*крючковисветлаев*) едва не всякий день появлялись у нас в аудитории.

Уровень грамотности

Сергей Ефимович с хитрецей в светлых холодноватых глазах прогуливался по аудитории, диктовал отрывки, насыщенные заковыристыми случаями употребления *не* и *ни*, слитного и раздельного написания, прописных и строчных букв и т.п., — все эти особой трудности диктанты, вышибавшие пот на лбу у недавних отличников и отличниц. Вчерашние школьные грамотеи, как с пятеркой, поздравляли друг друга с пятью ошибками (пятнадцать набрать тоже не диво).

Заметив наше отчаяние, Сергей Ефимович утешал насмешливо:

«Мой учитель, покойный Дмитрий Николаевич Ушаков, создатель “Толкового словаря”, считал себя грамотным на семьдесят пять процентов. Я, пожалуй, — процентов на шестьдесят...»

Нам иного не оставалось, как дружно поинтересоваться:

«А мы?»

Сергей Ефимович саркастически оглядывал нас и поводил кистью руки где-то на уровне колен...

Когда развернулась (организована была, конечно) травля книги академика В.В.Виноградова «Русский язык», Сергей Ефимович не пострашился выступить в ее защиту. Таких бесстрашных было по пальцам перечесть (на одной руке хватило бы пальцев).

Во время публичного «обсуждения» (осуждения) виноградовской монографии Сергею Ефимовичу слова не дали. Назавтра в отчете, опубликованном центральной газетой, я прочитал: «Преп. Крючков позволял себе с галерки кликушеские выкрики». *Круто* (если нынешним словом обозначить). После такого выпада всего можно было ожидать. Я, помню, наивно обиделся за своего учителя: «Миллионы людей познают родной язык по его учебнику — и нате вам, это нарочито-презрительное: *преп!*..» То ли на следующий день, то ли двумя-тремя днями позже я сдавал Сергею Ефимовичу какой-то зачет или семинарскую работу. Мы были вдвоем в аудитории. Он сидел, согнувшись — признак плохого настроения (студенты предупреждали один другого: печень прихватило — *сегодня злой*). Сергей Ефимович вдруг спросил (никаких доверительных отношений у нас до этого, да и после, не было): «Про кликушеские выкрики читали?» Я кивнул утвердительно. «Никаких выкриков не было. Просто не дали слова, и я им показал с верхотуры вот это...» В холодноватых глазах проблеснула улыбка. Он достал из портфеля газету «Правда», свернутую так, что видна была карикатура на первой полосе — тогдашний английский министр иностранных дел Бевин, стоящий на голове (как символ некой истины, перевернутой вверх ногами). Ух ты! Тут, глядишь, дело, и впрямь, *преп'*ом не обойдется. Но обошлось, слава Богу.

(Пройдет несколько лет. Вечера господствовавшие истины сменятся новыми, и новые, точь-в-точь как вчерашние, по отечественному обычаю, водружены будут вниз головой. Через несколько лет академик В.В.Виноградов будет поставлен во главе российской лингвистики и станет непогрешим, тогда как недавние критики его досыта нахлебаются самых беспощадных поношений.

И академик Виноградов, возвращенный на Олимп, не удовольствуется тихим торжеством, но будет, кивая при этом на товарища Сталина, метать оттуда в былых противников грома и молнии. В своем путаном любительском сочинении по вопросам языкознания, объявленном, конечно же, гениальным, товарищ Сталин приравнивает вчерашних властителей науки, сторонников в сталинское же время до небес вознесенного академика Марра, к вредителям, и академик Виноградов будет призывать советскую лингвистику вступить на путь, «на который всех нас направляет наш великий вождь и учитель И.В.Сталин».

Виктор Владимирович Виноградов — человек битый: несколько раз арестовывали и ссылали несколько раз. И в промежутках покоя не давали. Можно, без сомнения, его осуждать, но нетрудно и понять. Страх из души, из памяти уходит едва ли не последним. Тем более, что эпоха, опять же действуя через страх, навязывает определенный тип поведения. В конце концов многие из поверженных марристов, побуждаемые тем же страхом и типологией эпохи, начнут обращаться к самим себе и своим вчерашним сотоварищам с теми же заклинаниями, с какими будет поучать их от них натерпевшийся, а ныне восставший из пепла академик Виноградов. Печальней, что страх и в *сравнительно вегетарианские*, по обозначению Ахматовой, времена не покинет души академика, наоборот, навсегда осядет в ней тяжелым винным камнем. На процессе Синявского и Даниэля он выступит экспертом обвинения. Всегда державшийся с достоинством, несколько даже высокомерным, не побрезгует согласиться, не посмеет отказаться. Произведет стилистический анализ текстов и «докажет» *антисоветский с точки зрения лингвистики* характер сочинений подсудимых. Спустя годы Синявский в книге «В тени Гоголя» напишет: «Вот мы и встретились с Вами на узкой дорожке, уважаемый Виктор Владимирович, покойный учитель, профессор Московского университета. За Вашу, простите, сделанную в КГБ “стилистическую экспертизу”, где Вы, вопреки обычаю, включили стиль в криминал, усмотрев в нем “скрытую форму политической диверсии”, — даже следователь тогда подивился Вашей академической прыти, опережавшей события и запросы начальства...»

И не нашлось никого, кто посмел бы показать академику какого-нибудь Бевина, стоящего вниз головой...)

Опасные связи

Михаил Васильевич Светлаев был человеком сдержанным. Не то, что неприступен, но внутренне отдален. Всегда замечательно ровен, вежлив, внимателен, безукоризнен в каждом слове и движении, — и всегда некоторое расстояние («ничейная полоса») между ним и собеседником, некоторое расстояние, которое не преодолеешь и которое как бы не предполагало, что его должно преодолевать. Таким он *мне* казался. Или — вспоминается. Недавно попалась его фотография — широкая веселая улыбка, из тех, что *освещает всё лицо*. Наверно, без сомнения даже, и такой бывал — я не помню. Для меня, и не только, смею сказать — для большинства нашего времени студентов, Михаил Васильевич был по образу и подобию своему, что называется, *чеховским интеллигентом* — в понятии этом воплощался не только и не столько образ чеховского героя, сколько образ самого Чехова, каким он (в силу разнообразных причин) сформировался в сознании российского читателя.

Опять же смею предположить, что, по крайней мере, одной из причин приметной сдержанности Михаила Васильевича стало его родство с Булгаковым (он был женат на сестре писателя), прекрасное, конечно, родство, но в ту пору по-своему и опасное.

Положение Булгакова после смерти (а тогда и десяти лет не прошло, как умер) оказалось таким же, как при жизни: формально вроде бы опалы нет, а по сути подзапретен. В Художественном театре давали инсценированные Булгаковым «Мертвые души», там же шла его поразительная пьеса о Пушкине «Последние дни», в которой главный герой не появлялся на сцене, но всё действие было пронизано его присутствием (я был заядлым *мхатовцем* и видел эти спектакли несчетно), но о самом авторе, кроме того, что был таковой, мало кто говорил и слышал. Разве что поминали шедшие до войны в том же Художественном с перерывами и запретами «Дни Турбиных» и жевали обратившийся уже в легенду слух о бесконечных явных и тайных посещениях Сталиным (18 раз!) этого спектакля. А на лекции по истории советской литературы наша красивая препода-

вательница скучным голосом упоминала *Идейно* порочные сочинения Булгакова «Собачье сердце» и «Роковые яйца», которые никто из нас не читал (да и негде было прочитать), одной фразой туманно обозначала как бы до нелепости лишённое смысла, но при том всё же заведомо антисоветское содержание сочинений и, навсегда расставшись с Булгаковым, торопливо шагала дальше по курсу. «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Театральный роман», «Кабала святош» — всё оставалось неведомо и недоступно.

Впрочем, в ту пору, о которой пишу, имя Булгакова оказалось по-своему изъято из забвения, правда, как выразились бы нынче, *со знаком минус*. Причиной послужило явление в свет очередного тома собрания сочинений Сталина. Владыка не выпускал из цепких короткопалых рук и посмертную судьбу Мастера. В томе было опубликовано письмо Сталина писателю Билль-Белоцерковскому. Письмо давнее, еще двадцатых годов. Тогда, в двадцатые, Билль-Белоцерковский сочинял пропагандистские пьесы и ходил в популярных драматургах. Обжигаемый своей партийной нетерпимостью он отправил послание вождю, просил разобраться с «врагом» Булгаковым и ответить. Вождь вел с Мастером свою игру, карманный драмодел Билль-Белоцерковский его, надо полагать, вообще не интересовал, но, по ходу *своей* игры, Сталин «разобрался» — и ответил. «Бег» — попытка вызвать симпатию к антисоветской эмигрантщине, оправдать белогвардейское дело. «Багровый остров» — макулатура для буржуазного театра. «Дни Турбиных» — демонстрация всеокрушающей силы большевизма, хотя автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Письмо стало известно двумя десятилетиями позже, чем написано. Про умершего Булгакова мало кто вспоминал или смел вспоминать, Билль-Белоцерковский был заживо забыт, будто никогда и не бывало, но поскольку всякое изреченное слово вождя тут же становилось предметом неутомимых исследований, с кафедр и на газетно-журнальных листах тотчас забормотали эхом: «эмигрантщина», «белогвардейское», «макулатура», «всеокрушающая», хотя ни «эмигрантщина», ни «макулатура», ни «всеокрушающая» уже давно ни на одной сцене не шли и ни под какой обложкой не печатались. И наша красивая преподаватель-

ница получила возможность прибавить к убогим эпитетам, обозначающим творчество Булгакова, еще несколько, взятых из арсенала товарища Сталина.

В нашем институте, курсом младше, учился Сергей Шиловский, пасынок Булгакова. О том, что *пасынок* я узнал не сразу, многие же и вовсе не знали: разговорчивый Сергей не слишком охотно говорил о том, о чем должен был бы говорить всего более (впрочем, на многих в те годы сообщение о таком родстве, скорее всего, не произвело бы большого впечатления).

Мы с Сергеем друзьями не были, но поддерживали добрые отношения; одно время ухаживали за двумя подругами. Несколько раз вчетвером или небольшой компанией собирались в квартире Булгакова, выпивали, веселились (сидели почему-то на полу). Несколько раз наши пирушки прерывало возвращение домой Елены Сергеевны; она, почти не останавливаясь, проходила мимо нас в свою комнату. Откуда нам было знать, что это — *Маргарита*. Мама Сергея — не более. Однажды мы с Сергеем шли мимо Художественного. У служебного входа знаменитая актриса Андровская разговаривала с какой-то дамой. Дама оказалась Еленой Сергеевной. Пока Сергей перемолвился с ней несколькими словами, я, не отрывая взгляда, пялился на Андровскую — она была одним из моих кумиров. Сто из ста моих современников тогда вели бы себя точно так же, как я. Ныне все сто, наверно, смотрели бы на *Маргариту*. В комнате соседней с той, где мы веселой компанией пировали на полу, размещался кабинет *Мастера*, хранились, возможно, рукописи его творений, в том числе и одного из самых замечательных романов 20-го столетия. Мы того не ведали. Никаких разговоров о *Мастере*, в доме которого мы пребывали, не велось. Когда я ныне вспоминаю это, страшно становится от мысли, в какую годину суждено было жить.

Годы спустя один из наших студентов — он, кажется, близко дружил с Сергеем Шиловским — рассказывал, что однажды встретил в этом доме Светлаева. В кабинете *Мастера*, перед его портретом, Михаил Васильевич поднял бокал за *великого писателя*: «Может быть, ты когда-нибудь прочитаешь всё, что он написал!»

В ту пору такой гост стоил курса лекций!..

Военные игры

Маленькая трилогия

Времени не будет помириться

Булат Окуджава

Вечер с Чапаевым

Вечером мы играли в войну.

Война была, конечно, гражданская.

Другие войны казались ненастоящими, они обрелись в книжках, рядом со сказками и разными занимательными повествованиями, а эта была — живая. Она жила в общей памяти, в названиях улиц, в семейных разговорах, в рассказах родителей, бабушек и дедушек, в облике многих знакомых, которые были ее участниками.

Другие войны были историей, а эта — наша, своя.

Вот ведь даже тридцать лет спустя, в шестидесятые, — «я всё равно паду на той, на той единственной, гражданской»...

Лик гражданской войны, какой она жила в нашем воображении, был поселен в нас главенствовавшим тогда на киноэкранах знаменитым фильмом «Чапаев».

Фильм о Чапаеве стал важным государственным делом. Многие недели его крутили по всей Москве. Трудовые коллективы шли в кинотеатры колоннами, как на демонстрацию, с транспарантами «Мы идем смотреть Чапаева!» На рекламных щитах и афишах, по диагонали, снизу вверх, мчался на коне, махая саблей, усатый человек в бурке и папахе. Прежде мало кому ведомый красный командир был высочайшей волей превращаем в легенду. Ему назначалось затмить славой прославленных героев гражданской войны, которым предстояло вскоре уйти в небытие.

У нас был свой Чапаев, свой Петька и своя Анка-пулеметчица (Ленка Степанова из пятого подъезда — других девчонок мы в на-

ши военные игры не брали). Сверх того имелся также Елань — имя чапаевского сподвижника присвоил истопников Витька: необычное имя, наверно, поманило. В фильме играл Еланя красивый артист с мужественным командирским лицом (у нашего же Витьки были пылающие, как флаг, щеки и крошечный носик, пуговкой, вечно мокрый).

Мы накидывали пальтецо на плечи, как бурку, не продевая руки в рукава, и застегивали на одну верхнюю пуговицу у ворота. Наши пашки были сделаны из досочек штакетника, который ограживал газоны, вскопанные во вся длину двора. Ленка Степанова — Анка-пулеметчица — волокла за собой старую зеленую лейку, изображавшую ее грозное оружие.

Поскольку «белыми» никто из ребят быть не хотел, мы вели сражения исключительно с воображаемым противником.

Продирались ползком сквозь царапавший нам щеки кустарник, отчаянно рубили саблями серый осенний будзьль, оставшийся на газонах после отцветшего золотого шара, припадали к земле возле пулемета, из которого, ожесточенно колотя камнем по лейке, косила цепи противника Анка-Ленка.

Так, с боями, мы добирались до конца газонов, там брали налево, огибали средний корпус и оказывались на просторе заднего двора. Здесь, в открытом поле, мы бросались в атаку: с криком «ура» мчались мимо сарая, мимо массивной каменной помойки, мимо подвала котельной, мимо дворовой лавки, у двери которой стояли нагроможденные штабелем пустые ящики (иногда, обуреваемые безрассудной смелостью, мы обрушивали их на ходу). Я был Петька и помогал Анке тащить пулемет. Ленка, тощая, длинноногая, бегала несравненно быстрее меня. Она оборачивалась ко мне, сердито сверкала узкими серыми глазами, кричала: «Быстрой, дурак, убьют!», но мне было за ней не угнаться, и мы, цепляясь, за нашу лейку, бежали позади всех. Уничтожив неприятеля, мы снова сворачивали налево, чтобы выйти к нашим газонам и после короткой передышки продолжить военные действия.

Чапаевым был и мог быть только Владик Герасимов, самый сильный, самый смелый и самый красивый мальчик в нашей компании (темные волнистые волосы и светлые глаза). Даже мы, дети, понимали, что он очень красив. Владик приказывал, и мы,

не рассуждая, исполняли его приказы — ползли на животе по газонам, перепрыгивали через штакетник, срывались за ним в атаку, во всё горло подхватывая его «Ура!», «Вперед!», «За революцию!»

Ко всему этому отец Владика был заслуженный командир Красной армии, с тремя шпалами в петлицах и большим орденом Красного знамени то ли Бухарской, то ли Хорезмской республики на груди (где-то там, в одной из этих республик, он героически сражался с басмачами, утверждая советскую власть).

Владик носил через плечо настоящую командирскую полевую сумку, предмет нашего восторженного почитания. Мы не завидовали Владика: каждый из нас был убежден, что такая сумка могла принадлежать только ему одному.

Мы уничтожали очередную дивизию неприятеля, но окончательная победа не наступала: враг тут же грозил откуда-нибудь с другой стороны и надо было снова бросаться в бой. В наших играх жила страна и время — постоянное вражеское окружение и постоянная необходимость кого-то уничтожить.

...Владик расстелил на садовой скамейке потертую топографическую карту, исчерканную красным и синим карандашом — какие-то значки, штрихи, надписи, полосы, стрелы (такую даже потрогать — мечта!), низко склонился над ней, опершись локтем о колено, как Чапаев в фильме, и глубоко задумался. Мы почти стояли вокруг и ждали решения. Наконец, Владик поднял голову: «Идем с боями вот сюда. — Он показал на карте синюю зубчатую линию. — Здесь сражаемся с главными силами белых. Война будет трудная. Беяки, конечно, пойдут в психическую атаку». (Про психическую атаку мы тоже узнали из фильма. Там белые длинным парадным строем, четко отбивая шаг, бесстрашно двигались к позициям чапаевцев.) Владик сложил карту, засунул ее в полевую сумку и обвел нас взглядом, укреплявшим в наших душах мужество и силу. Выбросил руку с пашкой вперед и вверх: «Ура!» Мы перепрыгнули через невысокую ограду газона и, рубя направо и налево хрусткий серый будыль, с победными воплями бросились вперед. Анка-Ленка каждые несколько шагов падала на землю — колотила по лейке камнем и кричала: «та-та-та-та»...

Мы смело бились, как подобало чапаевцам, прорвали оборону противника, заняли нужную позицию, без пощады расстреляли белых, которые пробовали было сломить нас психической атакой, сами перешли в наступление — и вырвались на дальний конец газона. Но в ту прекрасную минуту, когда нам ничего иного не оставалось, как торжествовать победу, мы увидели Вальку Лапшу.

Валька как из-под земли вырос перед нами — стоял, широко расставив ноги в длинных, не по росту брюках, весело рассматривал нас своими круглыми кошачьими глазами — и улыбался. Его улыбка полнилась таким презрением ко всей нашей кутерьме, ко всем нашим атакам, рубке, победным крикам, что игра вдруг как-то сама собой развалилась. Будто кто-то исполнял на фортепьяно красивую мелодию и вдруг где-то рядом проквокал автомобильный клаксон.

Был этот Валька четыремья-пятью годами старше нас — лет что-нибудь тринадцати или четырнадцати.

«Вы что, ребята, ох*ели? — засмеялся Валька. (Всякая встреча с ним непременно обновляла и укореняла наше знакомство с ненормативной лексикой.) — Орете, скачете, как козлы, по газонам. Семен, дворник, поймает, даст вам метлой пи*ды».

Мы стояли и переглядывались, испытывая некоторую неловкость, а истопников Витька-Елань шмыгнул носом и сказал приотельски: «Здорово, Лапша».

И только Владик, охваченный яростью или, может быть, бессознательно стараясь спасти игру, вскинул шашку и бросился на Вальку: «Уходи отсюда! Беляк!..»

...Валька, неведомо почему прозванный Лапшой, числился, как именовали это наши родители, *неблагополчным* подростком из *неблагополчного* соседнего двора, отгороженного от нашего кирпичной стеной, по которой взбирались тонкие лозы дикого винограда. За стеной высилось длинное трехэтажное здание из темного, будто закопченного кирпича — бывшая казарма какой-то фабрики. В подъездах казармы с железными перилами и истоптанными ступенями пахло едой, паром, сыростью; свет едва проникал внутрь сквозь давно не мытые окна. Ничего похожего на

три наших пятиэтажных корпуса, недавно возведенных крепким жилищным кооперативом. Впрочем, в соседнем дворе мы оказывались крайне редко и всегда без разрешения родителей.

Но тамошние ребята, особенно старшие, к негодованию дворника Семена, частенько перелезали через стену, разделявшую наши дворы. Их привлекала небольшая асфальтированная площадка позади среднего корпуса, возле котельной: Здесь играли в футбол. В тот шумный и неукротимый дворовый футбол (три, четыре человека в команде, пятеро — уже тесновато), который превосходит азартом матча именитых профессиональных клубов.

Валька Лапша неизменно стоял в воротах.

Я видел в жизни многих хороших вратарей. Валька, каким я его помню, один из лучших, кого я видел. В длинных, широких, всегда не по росту брюках, в такой же, не по росту, материнской кофте до колен, в мятой кепке, он по-хозяйски занимал свое место между двумя кирпичами, обозначавшими размах ворот, деловито оглядывался, натягивал неведомо где добытые огромные перчатки — и начинал работать. Он двигался в воротах поразительно точно, и оттого казалось, что мяч летит всегда прямо на него. Он мгновенно перемещался от одной штанги к другой, прыгал, падал, бросался в ноги нападающим, кричал, подзадоривая и своих, и противников: «Давай!». «Ещё!», «Ну!» — и почти всякий раз безошибочно ловил мяч. Старшие ребята, между тем, которым уже под двадцать было, а то и за двадцать, наносили удары со страшной силой. Когда неточно пущенный мяч попадал в железную дверь котельной, она так содрогалась и грохотала, что зрителям даже не по себе делалось. А Валька принимал мячи на грудь, быстро выбрасывал в поле, кричал «Давай!» и приправлял окрики соблазнительными недозволенными словами. Вальку, без сомнения, ждали лучшие команды страны, но он вскоре исчез с наших глаз, отправившись в странствие по отдаленным и не столь отдаленным местам, как отправлялись многие его товарищи, обитатели неблагополучного двора...

...«Уходи отсюда! Беляк!..» Владик с поднятой пашкой бросился на Вальку.

Валька легко вырвал дощечку из руки Владика и швырнул ее в сухие заросли отцветшего золотого шара.

«Красный! — засмеялся он. — А у самого, небось, квартира отдельная...»

«У них — двухкомнатная, с кухней», — доложил истопников Витька.

«Во, с кухней, — сказал Валька. — А мы в подвале живем».

«У него отец — командир полка», — снова поспешил сообщить истопников Витька.

«Командир полка — хвост до потолка!..» — весело отозвался Валька.

«Замолчи! Лапша тухлая! Ненавижу тебя!..» — голос у Владика дрожал.

Я видел, что у него дрожали ноги.

Валька Лапша, вдруг перестал смеяться, приставил — пистолетом — ко лбу Владика грязный, крепкий палец и тихо сказал: «Пу...»

«Дураки вы все!» — закричала Ленка-Анка и, громыхая лейкой по асфальту дорожки, направилась к своему пятому подъезду.

В порядке шефства

Я стоял посреди палаты и читал раненым стихи.

Сергея Есенина. «Письмо матери».

«Ты жива еще моя старушка? // Жив и я...»

«Здорово!» — сказал тот, которого остальные называли *Старшой*. Его койка стояла слева от меня. Пока я читал, Старшой крепкой финкой с наборной плексигласовой рукояткой упорно выпиливал в гипсе, которым был окован снизу до пояса, прямоугольное окошко. «Здорово! Вот это стихи! А ведь не одобряли»...

«Бузил, сказывают, сильно. Пил, сказывают», — отозвался раненый на койке справа. Совсем молоденький вихрастый паренек, похоже, лишь немногим старше меня. Лицо у него было хмурое и взгляд сердитый; читая, я старался не смотреть на него, чтобы не сбиться.

«Пил!.. А другие — что? Мимо пронесли?.. Только стихов таких не писали. Пусть струится над твоей избушкой... — с чувством произнес Старшой. — Скажи, Иннокентьич...» Он повернулся к раненому на дальней койке, у стены.

Раненый этот лежал совершенно неподвижно, до подбородка накрытый одеялом. Я видел лишь его четко очерченный тонкий профиль. Верочка, медсестра, когда послала меня в эту палату, предупредила: «Там, у стены — пожилой. Ты поглядывай: тяжелый. Если что, сразу зови».

«После войны, наверно, многое обратно передумают, — не сразу ответил Иннокентьич, — Начнут собирать разбросанные камни». Он говорил медленно, не открывая глаз.

У нас дома имелся томик Есенина из трехтомного (знаменитого, как я после узнал) собрания сочинений — с березками на белой бумажной обложке. Мама прятала томик за книгами и не велела мне никому о нем рассказывать. Я иногда заглядывал в книжку и, недолго с ней задерживаясь, ставил обратно, на предназначенное для нее потайное место. Но в первые дни войны к нам зашел попрощаться перед отправлением на фронт мамин сослуживец Виктор Ефимович и вручил мне толстую общую тетрадь в коричневом ледериновом переплете, почти целиком заполненную переписанными его мелким четким почерком стихами Есенина: «На, держи. Вернусь с войны, заберу обратно». Наверно, настала моя пора: есенинские строки входили в меня, как желанный воздух, — через несколько недель я знал чуть ли не всю тетрадь на память. В юности я легко запоминал стихи.

«А зачем вы в гипсе дырки делаете?» — спросил я Старшого.

«Чесаться. Вши, что ли?.. Да ты читай. Скоро, поди, домой побежишь...»

«Мне еще в школу».

«Что так поздно?»

«Мы — в третью смену».

«Ну, давай, читай еще».

Госпиталю, над которым шефствовал наш класс, отдали здание новостройки, где до войны размещалась наша школа. Нас, всем классом, перевели в соседнюю, уже сильно перегруженную, — там отвели нам для занятий поздние вечерние часы.

Странно было проходить по своей школе, вдруг совершенно переменившей облик, мимо знакомых классов, вместо парт заставленных больничными койками, по коридорам, где навстречу

и обгоняя тебя торопились врачи и сестры в белых халатах, а у окон жались ходячие и выздоравливающие в байковых халатах и пижамах, а то и просто в одном белье.

Палата, в которой я читал стихи, была меньше других. Раньше здесь находилась подсобная комната при физическом кабинете: вдоль стен тогда тянулись шкафы, за стеклами сверкали металлом всевозможные интересные приборы для производства опытов. В палате уместилось всего четыре: койки. На четвертой койке поверх одеяла полусидел, откинувшись на подушки, смуглый восточный человек Мухаметдинов и ждал, когда появится медсестра, которая учила его ходить на костылях: на войне ему оторвало ногу. Стихами Мухаметдинов заметно не интересовался.

...Я прочитал еще несколько стихотворений Есенина и подобрался к коронному своему номеру — «Письму к женщине». Мне нравилось, как я читаю это стихотворение. Мне казалось, что в моем исполнении оно звучит с подлинным трагическим надрывом.

«Вы помните, вы всё, конечно, помните...» — прокричал я, слегка подвывая. Но в это мгновение вихрастый паренек справа от меня, которого я старался обходить взглядом, требовательно и как-то слишком громко закричал: «Утку!»

Я растерянно замолчал, а он, с неприязнью глядя на меня, так же громко и капризно повторил: «Утку подай!» — и, свесив руку, показал на стеклянный сосуд под кроватью. Видно, няня или сестра глубоко затолкнули — не достать. Я подскочил, подал ему утку, он откинул одеяло, и я увидел, что у него, как у Мухаметдинова, одна нога. Он шумно помочился, протянул мне теплый от налитой влаги сосуд и сердито приказал: «Вынеси!»

В коридоре, возле туалета, я встретил Верочку.

«Ну, что, дела идут?» — спросила Верочка и кивнула на утку в моей руке.

«Всё хорошо. Стихи читаю».

«А петь можешь?»

«Нет, петь не умею».

«Жалко, они любят. Ну, ты им расскажи что-нибудь. Что в городе творится. Кино какое-нибудь расскажи. Там, у тебя в палате, все мужики нормальные. Только этот, пожилой, у стенки, трудный».

«Иннокентьич?»

«Во-во. Он молчит, а трудный. Ты присматривай за ним».

С Верочкой я познакомился неделю назад, когда наш комсорг Наташа Калинина впервые привела нас в госпиталь. Начальник госпиталя, с петлицами подполковника медицинской службы, выглаживавшими из-под белого халата, встретил нас приветливо, пожал каждому руку, но предупредил, что время в госпитале трудное, каждый день, а то и ночью прибывают раненые, заниматься нами некому... Он снял очки с тяжелого иудейского носа, озабоченно помял пальцами переносицу... Вот разве Верочка? Отличная медсестра и между прочим член бюро комсомола...

«Тебе шестнадцать есть уже?» — спросила Верочка.

Я кивнул, беззастенчиво прибавляя себе год.

Верочка мне сразу понравилась. Маленькая, шустрая, со смысленными серыми глазами.

(Мне, впрочем, тогда многие девушки нравились: пора неизбежной влюбленности.)

«В ДеКа Электрик на танцы ходишь?»

«Только по выходным: у нас школа в третью смену».

«У нас тоже редко вырвешься. Но я в воскресенье отгул попрошу. Аркадий Абрамович отпустит. Он вообще-то добрый. Пошли, потанцуем?»

«А ты, правда, придешь?»

«Я буду в восемь у входа ждать. Только смотри не опаздывай. А то кто-нибудь другой уведет».

Она засмеялась. У нее во рту было несколько металлических зубов — и это меня тоже почему-то очень привлекало.

Возвратившись в палату, я застал горячий разговор.

«Зачем Мухаметдинову нога? — сердито шумел вихрастый. — Он, гляди, уже восемь человек детей сделал. А у меня жизнь только начинается. Кому я нужен, без ноги-то?»

«Ну, даешь газу, — засмеялся Старшой. — Ты что? Детей ногой, что ли, собирался делать?»

«Мне нога нужна работать, — рассудительно сказал Мухаметдинов. — В поле ходить, огород копать. Детей кормить, нога нужна. А новых детей делать... э... нога не нужна...»

«Понял? — смеялся Старшой. — Невесте твоя нога не нужна. Было бы промеж ног как следует. И между прочим повыше кое-что, на плечах».

«Не-е, моя невеста, знаешь какая? Разборчивая, зараза... — как-то сразу сник вихрастый. — Не примет она меня...»

«А не примет, значит — не твоя» — тихо подвел черту Иннокентьич.

Я и сам было подумал, что читать мое коронное «Вы говорили, нам пора расстаться», сейчас, может быть, не к месту, но Иннокентьич опередил меня: «Почитай-ка ты нам Пушкина. Что самому нравится».

«Может, *Я помню чудное мгновенье?*» — предложил я.

«Лучше не придумаешь. Только читай без выражения. Ладно? Произноси слова и старайся представить себе, что они значат».

Вот те на! А у Евы Бенционовны, в студии художественного слова, я числился одним из лучших.

Я прочитал стихотворение спокойно и негромко, не повышая голоса и не понижая, как будто читал для того лишь, чтобы самому вспомнить, что там написано, и всё время держал в памяти маленький бронзовый бюст Поэта, который стоял у нас дома на книжной полке, — его кто-то подарил маме в дни пушкинского юбилея 1937 года.

«Дело», — похвалил меня Старшой, когда я умолк.

«Ты только оговорился в предпоследней строчке, — сказал Иннокентьич. — Прочитал *торжество и вдохновенье* вместо *божество*. Чувствуешь разницу?»

Пока я читал, он всё так же, неподвижно лежал на спине, и глаза его всё так же были закрыты.

«Простите, — огорчился я. — Это случайно как-то. Я вообще-то помню...»

«Бывает. Даже великие артисты оговариваются. В жизни вообще полно оговорок...»

Он замолчал. И, когда замолчал, я понял, как трудно ему говорить.

«Подойди-ка сюда», — минуту-другую спустя попросил он.

Когда я приблизился, Иннокентьич, наконец, открыл глаза и внимательно, будто решая что-то, на меня посмотрел.

«Есть тут поблизости телефон-автомат?»

Телефон-автомат был совсем рядом: как выйдешь из госпиталя налево, на углу бульвара, возле продуктового распределителя.

«В тумбочке — кошелек, достань из него гривенник...»

«Не надо, у меня есть...» — мне очень хотелось удружить ему чем-нибудь.

«Нет, надо. Возьми два гривенника, или сколько там есть, на всякий случай — автомат часто глотает монеты. Номер на кусочке картона, от папиросной коробки, тоже — в кошельке. К телефону подойдет женщина...»

«А если кто-нибудь другой...»

«Никого другого быть не может... Скажешь: Александр Иннокентьевич передает привет и просит сегодня не приходить. И всё...»

Он медленно закрыл глаза и тихо приказал: «Беги»...

«Боже мой! Значит, ему совсем плохо... — У женщины был красивый грудной голос. — Передайте ему: я скоро буду. Пусть непременно меня дождетя»...

Верочку я встретил на лестнице: Она весело бежала мне навстречу.

«Пойду, посплю. Двадцать шесть часов отдежурила. Там, на этаже, сейчас Маша-толстая. Если что — к ней. Она добрая...»

И — будто вспомнила: «А у вас ЧП в палате. Пожилой, тот, у стенки, отплыл».

«Как — отплыл?»

Я отталкивал от себя смысл слова, который тотчас понял.

«Ну, как? Был — и нет. Это тут быстро».

«А у меня, вот, гривенник остался».

Я разжал кулак и показал Верочке монетку на ладони.

«Сбереги на память... Я снизу Мишу, санитаря, пошлю, чтоб увез. Ты ему помоги. В конце коридора, где черный ход — знаешь? — на лестничной площадке каталка. Ты сразу увидишь — на ней сбоку написано: *Для перевозки трупов*»...

Верочка крикнула мне вдогонку: «Смотри, не опоздай в воскресенье. А то, с другим уйду»...

Караульная служба

Наш полк размещался на окраине небольшого литовского города.

Литвы тогда не существовало — имелась Литовская ССР.

Война лишь несколько лет как кончилась.

По хронологии учебников.

В том уголке земли, о котором я пишу, она продолжалась.

В окрестных лесах хозяйничали литовские партизаны, «лесные братья».

Рядом с нашим учебным танковым, в общем военном городке, располагался оперативный полк МГБ (в ту пору еще не *К*, а — *М*: Министерство). Солдаты этого полка ходили в недалекие и дальние населенные пункты, на хутора, главное — в глубь леса, где укрывались «братья», на *зачистки* (кажется так это ныне именуется?). Главные операции проводились в субботу вечером и в ночь на воскресенье. В будние дни «братья» пахали и косили на своих хуторах (колхозы только образовывались), выполняли производственный план на предприятиях. Праздник для них знаменовался поджогом, взрывом, убийством. Смертью. Того, кого они убивали, или — собственной.

Из леса привозили убитых солдат соседнего полка, нас вели строем в клуб прощаться.

Клуб у нас был общий. Субботним вечером мы вместе смотрели в клубе кино. Во время сеанса в дверях появлялся какой-либо из офицеров-гебистов, громко командовал группе «на выход». Солдаты, участники операции, придерживая шаг и оглядываясь на экран, покидали зал. Слышно было, как на плацу перед клубом, лают, подвывая, взволнованные предстоящей операцией собаки.

А назавтра там, в клубе, стоял наскоро сколоченный гроб (или гробы), обтянутый(-ые) подержанным кумачом, в ногах гроба — венок из бумажных цветов на проволочном каркасе. После прощания шли колонной на кладбище, оно прилепилось к военному городку, отделенное от него лишь оградой из колючей проволоки. Оркестр выдувал из труб траурный марш. Отряженный караул производил холостыми залп. Оркестранты снова брались за трубы — играли гимн, мы стояли «смирно». На холм свеженасыпанной земли водружали фанерную пирамидку, увенчанную красной звездой.

Но я видел и другое. Ранним воскресным утром вместе с несколькими товарищами, курсантами, я патрулировал по городу. Мы как раз оказались во дворе комендатуры, когда в ворота въехал военных времен американский грузовичок-джип, кузов его был накрыт брезентом. «Разгружай», — водитель со старшинскими погонами выбрался из кабины и стащил брезент. Он привез трупы нескольких убитых в ночной операции литовцев.

Я подошел к кузову и, стараясь не смотреть на покойника, взял его за ноги. На нем были высокие, почти до колен, зашнурованные башмаки с металлическими подковками на подошвах. Генка Васильев, веселый, рыжий солдат со стальными коронками-фиксами на передних зубах, слишком заметно показывая, что дело ему нипочем, перегнулся через борт кузова и взял убитого за плечи. По приказу старшины мы отнесли тяжелую ношу на край двора и положили, прямо на землю, у забора.

Убитый оказался мне младше нас, по виду совсем школьник. У него было белое, как полотно, лицо, пулевое отверстие над левым глазом.

Подошел старшина: «Да это вроде из парикмахерской парень. Ученик. То-то теперь матери радость. И чего полез, спрашивается...»

Человечество осуждено на пожизненное пребывание в руках недобрых кукловодов.

Военный городок, где размещался наш полк, был построен в конце девятнадцатого столетия... Двухэтажные казармы и одноэтажные склады из почерневшего от времени и гари кирпича.

В годы недавно минувшей войны, да, кажется, и в Первую мировую, здесь был лагерь для военнопленных.

На одном из служебных зданий сохранились следы надписи по кирпичу: «Осторожно — блохи!» Рассказывали, что фашисты убивали пленных, напуская на них зараженных смертоносными бактериями блох. Во время войны, помню, об этом было много разговоров. Выяснить их достоверность мне не удалось, но надпись была.

Пока я служил здесь, ни одна блоха меня не укусила.

Зато выгребные ямы в изобилии полнились крысами. Огромные бурые крысы копошились, бегали, толкались, воевали в нечистотах, бесконечно от этого двигавшихся, будто волны морские. Когда я впервые вошел в деревянный балаган уличной уборной и глянул в отверстие дощатого настила, меня охватил ужас. Потом привык. Все привыкали. Тем более, что из ямы наверх крысы никогда не выбирались. Как в известном анекдоте («Да я живу здесь!») — они *жили там*. Они — там, мы — над ними.

Солдатское развлечение: сделать факел из крепко свернутой газеты, поджечь и бросить в яму. Но такой *цирк* позволяли себе не часто: газета была весьма ценным предметом, так как использовалась вместо курительной бумаги.

Да и где солдату разжиться газетой. Солдаты, понятно, газет не выписывают, вполне довольствуясь сведениями о международной и внутренней обстановке, получаемыми из краткой ежедневной беседы своего замполита, который, в свою очередь, почерпнул информацию из беседы вышестоящего замполита. Поэтому солдат то и дело спрашивает у другого *бумажку*, чтобы сделать самокрутку или для иной насущной надобности.

Курили большей частью махорку. Ее держали где-нибудь на лестничных площадках в больших фанерных ящиках, тех самых, похоже, в которых привозили из военторга, — бери, сколько хочешь. На улице, пообок от входа в казарму, были выгорожены отсеки для курения с врытой в землю железной бочкой вместо урны.

В дальнем конце городка, на границе с кладбищем, громоздились останки разрушенной прошедшими здесь войнами или злой волей церкви. Кирпичные руины заносило землей, они зарастали травой, понемногу превращаясь в холм. Под холмом, в уцелевшем церковном подвале, находился склад кислой капусты. При назначении в караул стоять у склада с капустой считалось самым опасным. Лес в этом месте близко, рукой подать, подступал к проволочной ограде городка. Кислая капуста «лесным братьям» была не нужна, а вот оружие часового очень кстати. Автомат мог стоять часовому жизни. Впрочем, за время моего пребывания в полку никаких боевых действий у склада кислой капусты не происходило. Случалось только: когда темной непроглядной ночью ветер страшно шумел в навалившихся на проволочную ограду кустах, нервы у часового не выдерживали, и он резал кус-

тарник долгой автоматной очередью. (На выстрелы прибегали из караульного помещения сменившиеся с поста и отдохавшие перед заступлением на пост часовые и, матерясь, ползали по земле, отыскивая гильзы от недостававших в магазине стрелявшего автомата патронов.)

Хотя городок вплотную соседствовал с лесом, территория его была замечательно пустынная, будто вытоптанная, — никакой зелени. Посаженные когда-то перед штабным корпусом деревья, казалось, навсегда остались саженцами, вообще гляделись неживыми. Редкие мелкие листочки — будто изготовленные из тускло окрашенных тряпочек; даже не помню, чтобы они облетали осенью и вновь появлялись весной.

Растительность заменяла наглядная агитация.

Вдоль дорожек, перед казармами, на плацу, вообще всюду, где только возможно, поднимались над землей фанерные щиты с начертанными на них основными заповедями советской общественной и военной жизни.

Щиты производил, подновлял и заменял новыми (вслед за появлением в газете очередных «призывов ЦК КПСС» к 7 ноября и к 1 мая) уже третий год удобно кантовавшийся в учебном полку Егор Гиляев, в миру работник то ли Калининского, то ли Воронежского областного худкомбината. Утром, после развода, когда все мы, в погоду и непогоду, отбивая шаг и горланя песни, маршировали на строевые занятия и на полевые, и на классные, и в танковый парк, Егор, отъевшийся, вальяжный, направлялся, гуляючи, к какому-то складу, где отведено ему было помещение под мастерскую, и там, в тепле и холе, без вечного помкомвзвода над головой, изготавливал свои фанерные скрижали.

Лозунги на щитах никто не читал. Хотел написать: схваченные взглядом, они не оставались в памяти, тотчас таяли в ней, — но это было бы неверно. В том-то и штука, что взглядом они не схватывались. Были — и не были. Торчали вокруг — и не существовали. Сам Егор в разговоре признался, не мудрствуя: «Разве я их читаю? Рисую буквы, а думаю свое...» (*Бог любит простодушных*, — из Псалма) Переписывал слова с бумажки на фанеру — и не знал, что пишет. Русская классическая литература создала образ исполнительного писаря, который, того не ведая, аккуратно перекатал бы на бумагу даже вынесенный ему смертный приговор.

Щит с лозунгом высился и перед входом в нашу казарму. Я десять раз на дню пробежал мимо, но текст лозунга открылся мне только на фотографии, когда фотограф-любитель из службых снял меня на фоне этого щита: «Курсант, учись стрелять метко!» (хорошо, что не покруче что-нибудь — про международный империализм.) Над текстом было схематически изображено легкое самоходное орудие САУ-76.

Старший лейтенант Хмара был самый веселый офицер в полку. Он учил нас штыковому бою.

Сам он был мастер этого дела. Вроде бы даже чемпион, то ли округа, то ли, может быть, и армейский.

Когда старший лейтенант Хмара показывал нам приемы, — это был подлинно балет. Наглядный пример того, что всякое высокое умение оборачивается искусством. Держа в руках винтовку с примкнутым штыком, он в каком-то энергичном чарующем танце двигался между деревянными стойками, на которых были подвешены соломенные циновки (они обозначали людей, предназначенных для убийства), — наступал, делал выпад, колол, отбивал встречный удар, отходил, разворачивался, снова делал выпад... Его педагогические указания при этом перемежались хлесткими шутками, повсеместно в полку повторяемыми (лучшие из них очень бы хотел, но не смею привести — слишком круто завернуты).

«Правую ногу выпрямить! Резче!.. — командовал старший лейтенант Хмара. — Не топтаться, как у бляди под дверью!.. Корпус вперед! Выпад левой! Укол!.. Штык сразу обратно!.. Не копошись в потрохах — самого задницей на шампур посадят! Отбил ответный удар и снова в положение *К бою готов*... О чем мыслишь? Схватишь трепак, тогда будешь мыслить. Бой продолжается!.. Выпад!.. Укол!..»

У старшего лейтенанта Хмары было узкое смуглое лицо и яркие глаза южанина. На груди его гимнастерки пестрели ленточки боевых орденов и медалей, — наверно, ему и в самом деле случалось ходить в рукопашную, вот так — «Выпад! Укол!» — вгонять штык в тело чужого солдата.

«В бою против вас не человек, а противник, — учил старший лейтенант Хмара, — А в наставлении сказано: всякий противник, будь это бегущий, идущий, стоящий, сидящий или лежащий, должен быть поражен. То есть убит. Как говорится, штучек разных много, а хрен — один...»

...Чудесным осенним вечером наша рота собиралась в караул.

Мир вокруг был залит теплым закатным золотом, каждая подробность, обычно незамечаемая, сделалась заметной и привлекательной. Даже чахлые листочки на деревьях, казавшиеся серыми и тряпичными, набрались жизни и весело засверкали.

До построения оставались еще какие-то неучтенные минуты; я вышел покурить.

Мои сапоги были густо навакшены, пуговицы на гимнастерке отдраены до сияния.

В загоне, отведенном для курения, вокруг врытой в землю железной бочки, до половины заполненной размокшими под утренним дождем окурками, толпились солдаты.

Из громкоговорителей, укрепленных на столбах, раздавалась песня: был тот час, когда, согласно распорядку дня, службу полагалось озвучивать.

Песня была лирическая — про солдата, который после долгих лет войны возвращается на родину. Мать спешит ему навстречу, невеста ждет у пруда...

«А я вот и не возвращался никуда, — сказал сверхсрочный старшина Постников, воевавший еще с Финской. — Все по домам спешат, а я остался. Два раза потом съездил в отпуск — и завязал. Беспорядок там, понимаешь, на гражданке, — суматошно. В армии другое дело. Когда положено — накормят, когда положено — оденут. И с бабой лишнего не побалуешься. Да еще успеешь — найди».

Солдаты вокруг понимающе захмыкали, засмеялись, загомонили нечистыми шутками.

«Вот и я про то», — засмеялся со всеми старшина.

Старшина Постников был статен и крепок, как из стали отлит. Курил он не махорку, даже не папиросы, а сигареты, в ту пору всё полнее овладевавшие нашим российским обиходом. Плюскую пачку с сигаретами старшина держал не в брючном кармане, а в нагрудном кармане гимнастерки, — и в этом тоже был свой шик.

«Курнуть оставьте, товарищ старшина», — опасливо попросил рыжий Генка Васильев.

«Разжалобил», — старшина засмеялся и протянул ему недокурные полсигареты,

Песня вдруг оборвалась на середине.

В громкоговорителе послышались шуршание и треск.

Я подумал было, что полковой радист решил поменять пластинку.

Но хрусткий шорох затих, над военным городком повисла тишина.

И тотчас в курилке стихли разговоры. Точно так же, как беседе не мешала гудевшая над головами песня, внезапная тишина оборвала ее пробудившейся тревогой. «Ну, что там еще?» — старшина поднял голову в сторону громкоговорителя. И будто в ответ ему оттуда послышался курантный звон позывных, обещавших важное сообщение. «Может, на водку цены снизят?» — предположил Лешка Рубцов и заржал. Но он был вообще дурак, и на него не обращали внимание.

(Я хорошо помню, как летним вечером 1943-го из черной тарелки домашнего репродуктора впервые раздались эти позывные. Никто поначалу не понял — что это? Люди застыли у своих радиоточек, вслушиваясь в зазвеневшую сигналом строку популярной песни, а она звучала раз за разом, — казалось, конца не будет. Потом смолкла, не дозвенева мелодию до конца, и секунду-другую спустя из зияющей до удушья тишины послышался мощный голос диктора: «Товарищи! Через несколько минут будет передано важное сообщение». И снова запели позывные, прерываемые теперь одним и тем же дикторским анонсом. Несколько минут растянулись на час, едва ли и не на другой, между позывными стали понемногу запускать музыку (постоянные в ту пору увертюры к «Руслану» или танцы «Вальпургиевой ночи» из «Фауста»), люди, внутренне закаменев, гадали: немцы применили ОВ? открылся второй фронт? катастрофа какая-нибудь непредсказуемая? или, не приведи бог, с *самим* что-нибудь?.. А в это время в Кремле выкатывали орудия для первого победного салюта — в честь освобождения Орла и Белгорода. Потом мы привыкли к салютам, и к позывным, которые и в послевоенное время продолжали предупреждать о важнейших государственных событиях. Привыкнуть привыкли, а, как зазвучит во внезапной тишине знакомая мелодия, всё обдаст душу холодом: человеку несвойственно ждать от государства благих вестей...)

В тот солнечный осенний вечер по радио передали сообщение об успешном испытании советского ядерного оружия.

«А я про что говорю, — прищурил ледяные глаза старшина Постников. — Подрочились на печке — пора за дело».

«Теперь на равных». Рыжий Генка Васильев выставил вперед руку со сжатым кулаком, будто показывал кое-что предполагаемому противнику.

«Теперь, бля, всю планету разнесут», — заржал дурак Лешка Рубцов, но никто на него и не оглянулся.

Радист помедлил и снова поставил пластинку, ту же самую, какую выключил перед позывными. Звук поначалу поплыл немного, но потом разбежался как положено, — песня была про солдата, который всё еще возвращался на родину после долгой войны, мать в платочке спешила ему навстречу, невеста ждала у пруда... Но что-то огромное, мрачное опустилось на землю и отодвинуло то, о чем пелось в песне, куда-то в давным-давно.

ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ

«...великое Быть Может,
как говорил Рабле о рае или о вечности»

А.С.Пушкин

«Думы старости... вне области слова»

Л.Н.Толстой

«Отвергнувший миф шагает в ничто»

К.Г.Юнг

1

Ночью я просыпаюсь, отпиваю из кружки остывший чай. Когда я сплю, у меня сохнет во рту. Это от старости.

Чай я всегда завариваю сам. Смешиваю несколько сортов, ополаскиваю фарфоровый заварочный чайник крутым кипятком, в свежую заварку бросаю кусочек сахара, чтобы лучше натянуло. Вообще-то чай я пью не сладкий, но этот кусочек, прямо в заварку, бросить необходимо. Тут есть какой-то секрет.

Я сижу в темноте с открытыми глазами и пытаюсь связать в памяти обрывки сновидений. Что-то случилось со мной лет десять назад: прежде я подробно запоминал свои сны, долго носил их в себе, — ныне образы, только что меня тревожившие, вовлекавшие в сложное, энергичное действие, стоит открыть глаза, тотчас тают — не удержать, — как весенние снежинки на рукаве. Наверно, это тоже от старости.

В давнюю пору моего детства у нас дома было принято рассказывать сны. Отец рассказывал и мать тоже. У матери имелись наготове собственные толкования снов, чаще недобрые. Ее постоянно мучили дурные предчувствия.

Я вспоминаю стол, покрытый светлой клеенкой с вылинявшим от частой мойки узором (наслаждение, когда готовишь уроки, рисовать фиолетовыми чернилами на ее гладкой поверхности), низко опущенный над столом оранжевый абажур с длинной бахромой по краю, отец и мать собираются на работу, мне сейчас в школу, я завтракаю жареной картошкой и запиваю ее чаем из блюдца. Чай крепко заварен. Мне нравится смотреть на отражение моего лица в блюдце — лицо там цвета темной меди, я воображаю себя индейцем.

— Мне теперь покоя не будет, оттого что тебе эти птицы снились, — говорит мать отцу.

— Ну, что ты, вполне приличные птицы. Одна ворона даже белая, — смеется отец и весело мне подмигивает...

Лишь изредка, при внезапном, беспокойном пробуждении, я успеваю теперь ухватить и вытащить из сна в бодрствование какую-нибудь острую подробность.

Недавно мне снился Алик. Он умер три года назад. Я знаю, что он мне часто снится, но никогда не помню, что происходит между нами во время этих встреч во взаимном небытии. На этот раз я запомнил самый момент его ухода. Алик уже стоял в дверях, я спросил: «Ну, как тебе там?» Он повернул ко мне лицо, загадочно хмыкнул и проговорил с хитренькой усмешкой: «Здесь не скучно...» Дверь за ним хлопнула — от этого я проснулся.

Сердце у меня колотилось. Какое-то чувство тотчас подсказало мне, что стук, меня разбудивший, раздался на улице. Я встал и подошел к окну. Внизу, на темном пустом перекрестке незадачливый водитель, налегая грудью на радиатор, отталкивал от металлического столба светофора машину с помятым бампером.

Лев Толстой смолоду искал объяснения тому, что длинный сон «кончается тем обстоятельством, которое нас разбудило», — желал постичь странность обратного движения времени в сновидении (впоследствии это явление, по-своему интересно, осмыслял П.А.Флоренский).

Лев Николаевич и в поздней старости запоминал свои сновидения. Среди записанных им есть такое: «Я приезжаю к брату и встречаю его на крыльце с ружьем и собакой. Он зовет меня идти с собой на охоту, я говорю, что у меня ружья нет. Он говорит, что

вместо ружья можно взять, почему-то, кларнет. Я не удивляюсь и иду с ним по знакомым местам на охоту, но по знакомым местам этим мы приходим к морю (я тоже не удивляюсь). По морю плывут корабли, они же и лебеди. Брат говорит: стреляй. Я исполняю его желание. Беру кларнет в рот, но никак не могу дуть. Тогда он говорит: ну, так я, — и стреляет. И выстрел так громок, что я просыпаюсь в постели и вижу, что то́, что был выстрел, это стук от упавших ширм, стоявших против окна и поваленных ветром. Мы все знаем такие сны и удивляемся, как это сейчас совершившееся дело, разбудившее меня, могло во сне подготовиться всем тем, что я до этого видел во сне и что привело к этому только что совершившемуся мгновенному событию».

Итог раздумий, не оставлявших Толстого с самой ранней юности до последних месяцев жизни, оттиснут в строгом определении: «В пробуждении все, что кажется последовательным, складывается в один момент. То же и в жизни: последовательность времени и причинности мы делаем — ее нет».

В другой раз он пишет об этом подробнее: «Понятия пространства и время суть бессмысленны и противны требованиям разума. Время должно указывать пределы последовательности, а пространство — пределы расположения вещей, а, между тем, ни то, ни другое не имеет пределов. Я не знаю более точного определения времени и пространства как то, которое я мальчиком 15 лет сделал себе, а именно: время есть способность человека представлять себе много предметов в одном пространстве, что возможно только через последовательность, пространство же есть способность человека представлять себе много предметов в одно и то же время, что возможно только при рядом стоянии вещей».

Однажды свои размышления об этом сильно занимавшем его предмете Лев Николаевич неожиданно завершил признанием весьма мистическим: «Мне становится страшно, что я заглядываю туда, куда не следует заглядывать».

Мы постоянно, то — зависимо от обстоятельств — прогоняя от себя надвинувшиеся мысли и видения, то, наоборот, чрезмерно на них сосредоточиваясь, безуспешно пытаемся заглянуть, *куда не следует заглядывать*, где «не скучно»; непредставимость лишенных предела — беспредельных — пространства и времени, как всякое открывающееся впереди неведомое, тем более не жалую-

щее даже малой надеждой проникнуть в него, тяготит страхом разум и душу. В старании от него избавиться, мы сосём горчащий мед, издревле и повсюду собираемый неутомимыми философами, либо удовлетворяемся убедительными сентенциями, вроде «Пока мы живы, смерти нет, а смерть придет, так нас не будет»...

Ах, пить будем, гулять будем,
А смерть придет, помирать будем...

Почему молчал воскрешенный Лазарь? Ведь, согласно преданию, еще тридцать лет прожил после того, как был заново вызван к жизни Иисусом («Лазарь, иди вон!»), нес даже епископское служение на Кипре. Разве что в те дни, пока в пещере разлагалось тело («уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе»), еще не успел «заглянуть»? Или в самом деле здешний предельный мир и мир иной, беспредельный, настолько несопрягаемы, что один не может быть обозначен, выражен понятиями и языком другого?..

Молодость одарила меня испытанием, по молодости же мной недооцененным.

...Дело происходило на Севере, на границе с Финляндией; я командовал тогда САУ, самоходно-артиллерийской установкой. Однажды меня назначили помогать топографам: от недавно миновавших военных времен сохранились какие-то немецкие и финские карты этих мест, но вызывали сомнения. Край болотистый, автомобиль не всюду пройдет, мою самоходку использовали как вездеход.

Денек стоял великолепный, начальная пора северной осени. Под блеклым голубым небом охрилась и ржавела бескрайняя тундра, воздух был легкий, каждая кочка, красневшая в отдалении, тонкое кривое деревце с уцепившимися за корявые ветки последними не облетевшими желтыми листками виделись ясно, выпукло, как в оптическое стекло.

Дорога шла по насыпи, по обе стороны ее между кочками просверкивала вода, но руководивший работой офицер-топограф поверил нанесенным на карту значкам, обозначавшим «луг», больше, чем глазам своим, и вдруг приказал резко сворачивать налево. Самоходка круто развернулась на месте, ткнулась носом вниз, сползла с насыпи и так, в наклонном положении, останови-

лась. Водитель включил первую передачу, и машина начала тяжело съезжать в болото. Стальной клин в передней ее части, там, где лист лобовой брони под углом сварен с донным, отодрал, подцепил слой дерна, — по мере тяжелого движения машины дерн скручивался перед ней толстым ковром. Оказавшись всем протяжением гусениц на болотном грунте, машина с трудом проползла десяток метров и снова встала. «Засядем», — подумал я. Приятный день оборачивался множеством хлопот: вызовом тягача, за которым придется на редких здесь, в тундре, попутках и пешком добираться до части, буксированием машины, долгими и нудными трудами по ее чистке и приведению в порядок, неудовольствием начальства, возможно, и взысканием. Пока совсем не увязли, надо попробовать обратно на дорогу, — я выбрался наружу опустить собственными ногами почву и скомандовать водителю, чтобы дал задний ход. Но в тот миг, когда я спрыгнул с брони и ноги мои коснулись земли перед носом машины, водитель захлопнул свой люк, потому что к нему в кабину летела грязь и затекала болотная жижа. Я помахал было рукой, да разве увидишь? Дерн толстенной скаткой ковра заслонил крошечный стеклянный прямоугольник смотровой щели. Водитель снова воткнул первую и тронулся не назад, а вперед — на меня. Я хотел отскочить, но обе ноги уже по колено погрузились в трясины — не вытащить: стоял и смотрел, как ползет на меня многотонная стальная махина. Смотрел и понимал — всё, конец.

Не помню и в мыслях воспроизвести не могу, как я перевернулся и оказался вниз лицом, — это спасло мне глаза да и вообще голову; макушка и затылок были покрыты плотным, с предохранительными подушечками танковым шлемом. Еще больше мне повезло, что я попал между гусеницами. Я чувствовал, как самоходка навалилась на меня и — мне казалось: долго, — мяла и била мне голову и спину. Тяжесть становилась все непереносимее, я не мог дышать, грудь, спина были придавлены стальным прессом. Открыл рот в надежде забрать хоть немного воздуха и почувствовал, как в рот потекла вода. Я вдруг увидел себя за партой, в каком-то из начальных классов школы — я сижу, маленький мальчик в белой рубашке, перешитой из маминой батистовой кофточки, передо мной черная школьная доска, незнакомый учитель берет мел и пишет на ней крупно: «Умираю», — до сих пор помню четкий, как в прописях, учительский почерк,

которым было выведено это слово, помню цвет мела — не белый, а сероватый, какой бывает, когда пишешь по влажной доске. Рот был полон холодной болотной воды...

Если бы в машине был еще один танкист, кроме меня и водителя, он непременно нажал бы кнопку «стоп» и тем обрек мою расставшуюся с телом душу на великие хлопоты: даже ей, бестелесной, наверно, не так-то просто было бы выбраться из-под самоходно-артиллерийской установки, по самое днище увязнувшей в болоте. А именно это и произошло с ней, не с душой, а с самоходной установкой, минутой позже, когда, не ведавший, на мое счастье, про кнопку топограф, очнувшись от растерянности, криком и топотом подал водителю, и не предполагавшему, что едет по своему командиру, сигнал остановиться. Машина протащилась еще немного, прежде чем прекратила движение и тут же всей тяжестью застряла в болоте. Лишь тягач несколько часов спустя выволок ее.

Место было мягкое, топкое — тоже благо: металл не столько ломал меня, сколько вдавливал в трясины, да так глубоко, что извлечь из болота вместе со мною мои сапоги уже не удалось. Я очнулся, когда меня закидывали в кузов такого редкого в тамошнем краю грузовика (и тут повезло!): приоткрыл глаза, увидел голубенькое небо, рыжую, вызолоченную низким солнцем тундру, еще более просторную с высоты, на которую меня подняли погружавшие в грузовик руки, почувствовал, как хлынул в грудь легкий студеный воздух, — ах, хорошо!

Пока все происходило, я не сообразил даже испугаться. Испугался уже в госпитале, ночью: вдруг, точно в замедленном кино, увидел, как неторопливо прет на меня машина, а я, будто дерево, врос в землю и двинуться с места не могу, самоходка — эти поставленные на гусеницы тонны стали — совсем близко, вот уже коснулась меня выступающим вперед швом, где под углом сварены лобовой и донный листы брони, — и тут такой страх на меня напал, что я покрылся холодным потом и застонал, не в силах удержаться. Подошла сестра — меня положили в коридоре рядом с ее столиком — уколола мне морфий, и я снова провалился в сон...

Страх в ту первую его минуту и после, когда я вспоминал это происшествие, был простейший, не замешанный на раздумье — страх червя, поднявшего глаза и вдруг увидевшего над собой подкованную сталью подошву военного сапога. В молодости слишком мало позади, о чем жалеть, и слишком много впереди, чтобы сознать, что ты ждешь.

Издавна сказано, что первый шаг дитяти — шаг к смерти. Какими бы путями ни вела нас жизнь, направление остается неизменным. Смерть все глубже затягивает нас в свое неведомое, как змея проталкивает в себя заглоченную добычу. Мысль о неизбежности смерти рождается с нами вместе и не оставляет нас до конца. Мы подчас умеем ее прогнать, сами от нее удираем, заглушаем в себе то, что именуется памятью смертной, но память эта продолжает жить в нас, всякий миг готовая очнуться. И вместе с памятью смертной, так же с первого шага дитяти, поселяется в нас мысль о бессмертии. От первого крика протеста, от нежелания быть выброшенным в мир отдельной и уже потому неизбежно конечной жизни, до последнего выдоха все то же недоумение: как такое может быть, чтобы меня не было? Дряхлый старик, в ожидании скорого неизбежного часа обозревающий слезящимися глазами памяти уроки бесчисленных расставаний, точно так же, как малый ребенок, только начинающий укладывать в воображении предлагаемые и предполагаемые картины жизни, каждый с вариациями, обусловленными возрастом, способен мысленно создать спектакль собственных похорон, в котором он одновременно и режиссер, и главный участник, и зритель. «Нет, весь я не умру?..» — мы проходим путь жизни, вновь и вновь возвращаясь к решению этой задачи, находим ответ и снова теряем, отчаиваемся и утешаемся, удовлетворенно подводим итог или яростно бросаем в корзину сломанные перья.

Мне было за тридцать, когда умерла Т.О.

К этому времени у меня уже набрался кое-какой опыт общения с проходящей неподалеку смертью. Уже остались на одоленном пути впечатления не однажды пережитых похорон, но это было знакомство «со стороны». Всякий раз я старался держать себя «как должно», не вылезал вперед, но и не жался в ужасе по углам, с приличной искренностью выявлял свои чувства и готовно отъединял за поминальным столом тяжесть, томление, душевное смятение, которые наваливаются при встрече с конечной тайной, от заново оживающих в душе планов, стремлений и возможностей продолжающейся жизни.

Т.О. умерла неожиданно...

Только что вдруг вспомнил подробность, на протяжении почти полувека остававшуюся забытой. Подробность может показаться нарочитой, пожалуй, даже слишком нарочитой, чтобы быть умышленной.

Как раз накануне смерти Т.О. вдруг объявился в Москве мой армейский приятель, приехавший из Сибири. Мы встретились в «Арагви», заказали по тогдашней традиции цыплят-табака, гурийскую капусту цвета густого раствора марганцовки, пару бутылок коньяка и весело праздновали встречу. В беседе всплыла история с самоходкой («бойцы вспоминали минувшие дни»), приятель мой, принявший очередную рюмку, шумел, басовито похохатывая (у него даже прозвище такое было — Басок): «Ну, надо же! Его, сукина кота, такая хреновина проутюжила, а он сидит себе, коньячок принимает, курятину жрет!..» Я смотрел на крепкие сибирские зубы хохотавшего собеседника и тоже хохотал, давнее происшествие ощущалось мной, как что-то выхваченное взглядом на обочине дороги из проехавшего мимо авто...

А через несколько часов, под утро, позвонила Файка, дочь Т.О., и произнесла слова, все до единого понятные, но не укладывавшиеся в сознание, как вещь не укладывается в не принадлежащий ей футляр:

— Мама умерла. Приходи, помоги одеть. И вообще — страшно.

Т.О. жила — точнее: с этой минуты уже не жила — в соседнем подъезде. Я знал ее с малолетства — если опять же быть точным, знал всегда. Я — редкий москвич: всю свою московскую жизнь, почти до семидесяти, прожил в доме, где родился. И когда я родился, Т.О. уже обитала по соседству, в небольшой двухкомнатной квартире, куда я входил на рассвете того дня, о котором теперь вспоминаю.

Дверь в квартиру была заранее приотворена. Файка в блеклом домашнем халатике стояла в прихожей, — видно, ей в самом деле было страшно. С Файкой мы были друзья детства: подрастая, вместе играли во дворе, в третьем классе даже сидели на одной парте и однажды на школьном утреннике читали со сцены положенное на два голоса стихотворение в прозе Тургенева «Щи». Потом, как водится у друзей детства, подчас подолгу — месяцами — не виделись, случайно встретившись, тут же доверительно обменивались новостями, рассказывая каждый о себе с совершенной убежденностью в ответном понимании и сочувствии.

Я помедлил в прихожей: жизнь долго берегла меня — до того дня мне не случалось входить в комнату, где кто-то только что умер, вообще не приходилось видеть покойника вне процедуры похорон.

Файка сказала:

— И ведь не болела ничем. Вечером поужинала очень хорошо. Перед сном, как всегда, пасьянс раскладывала. А под утро я проснулась от того, что — тихо. Так тихо, что просто невозможно. Я сразу поняла — не дышит...

Она заплакала. Я прижал ее к себе, чувствуя под халатом ее тяжелую грудь и полнеющий живот, и поцеловал в растрепанные с ночи волосы неясного цвета от частой перекраски.

Все еще медля двинуться дальше, я спросил:

— А ты теперь снова здесь живешь, с Т.О.?

— Ну да. Полгода уже. Я ведь разошлась с Андреем...

— Это — с летчиком твоим?

— Нет. Летчик это Георгий. Мы с ним уже три года не живем. Он хороший был мужик. Пил только. Да и Андрей — хороший. Просто, не сложилось как-то...

Я смотрел на Файку, на ее некрасивое лицо (только глаза прекрасные, от матери, — яркие, серые при длинных черных ресницах), на ее крашенные-перекрашенные волосы, на ее плотную невысокую фигуру, думал про ее бесконечные, с самых юных лет, замужества и романы и недоумевал по обыкновению — чем только она берет?..

Файка вздохнула, вытерла рукавом глаза:

— Ну, пойдём. Говорят, надо сразу одевать. Пока не закончит...

В комнате был зажжен яркий свет. Т.О. лежала на кровати совершенно обнаженная поверх шелкового стеганого одеяла густого винного цвета.

— Ты прости, — сказала Файка, — она всегда голая спала, без рубашки.

Оттого, что я, сколько себя помнил, знал Т.О., и оттого, что она была матерью Файки, я бессознательно относил ее к числу старых женщин и теперь, несмотря на сжимавшие мне сердце страх и смятенное предчувствие, что мне предстоит сейчас заниматься чем-то неведомым и ужасным, с изумлением смотрел на ее молодое прекрасное тело. Т.О. лежала, вытянувшись, на спине, слегка раскинув руки, замечательная соразмерность ее стройных ног, узкой талии, невысокой груди напоминала о творениях искусства, и необыкновенная, какая-то сияющая белизна ее тела казалась ничуть не мертвой белизной, но белизной мрамора. Я замер, любясь ею.

Файка скрипнула дверцей гардероба, сняла с вешалки платье; порывшись в ящике, достала что-то из белья и нераспечатанный пакет с новыми чулками.

— Ты прости, — сказала она. — Я сперва подруге позвонила, да ей ехать далеко, и ребенка до утра оставить не с кем. А соседки все кто поумирает, кто поменялся, я толком и не знаю никого.

— Лампу выключи, — попросил я. — Уже рассвело совсем.

В неярком утреннем свете белое тело на покрытом бордовым шелком подиуме еще более смотрелось скульптурой, и устремленное вверх узкое лицо Т.О., с тонким, слегка изогнутым носом, нежными впалыми висками и узким подбородком тоже, казалось, было изваяно умелым, заботливым резцом.

— Ты приподними и поддержи, — сказала Файка, — а я буду одевать.

Я сел на край кровати, склонился к Т.О. и обнял ее. Мои ладони почувствовали еще не ушедшее тепло ее спины. Я потянул тело на себя. Файка перекинула через мои плечи бессильно свисавшие руки Т.О. Опрокинутое назад лицо с тонким носом и открытыми губами было прямо перед моим лицом. Я слегка отвернулся: мне казалось, я чувствую ее дыхание, ее дыханием дышу. Ужас, сжимавший мне грудь, и какое-то тайное нежное влечение к тому, что я держал в руках, сопрягались в моей душе.

— А вот мы комбинашечку новую наденем... — бормотала Файка, натаскивая на тело яркую розовую одежду.

Раздался резкий звонок в дверь. Мы оба вздрогнули, будто наступившие на чем-то недозволенном.

Файка поспешила отворять.

— А я такси поймала. Парня к бабке с дедом завезла, а сама сюда, — послышался из прихожей громкий женский голос...

Я пообещал Файке, что позже — как только справлюсь со своими делами — зайду снова.

— Ты меня не бросай, — сказала Файка. — Мне как-то спокойней с тобой.

Выбрался я уже к вечеру. В квартире был кое-какой народ: несколько пожилых женщин из нашего дома, две-три Файкины подруги, ее бывший муж Георгий в синем кителе с золотыми нашивками, грузинский родственник Т.О. — толстый старик с седой щетиной на щеках. Стулья были расставлены вдоль стен, лишь грузинский родственник сидел посреди комнаты у стола, покры-

того темно-зеленой бархатной скатертью, отпивал из стакана в тяжелом серебряном подстаканнике крепкий чай и время от времени вздыхал, громко отдуваясь: «па... па... па...»

Т.О. по-прежнему лежала на кровати в спальне, она была накрыта с головой простыней; когда в квартире появлялся кто-нибудь новый, Файка первым делом приводила пришедшего в спальню, уже заученным движением приподнимала простыню, коротко всхлипывала и снова прикрывала лицо умершей. Мне показалось, что лицо Т.О. отяжелело и потемнело, — впрочем, уже намечались сумерки, воздух за окном наполнялся вечерней желтизной.

Скоро в столовой почти не осталось пустых стульев. Разговор велся негромкий, соответственно обстоятельствам, но вполне оживленный, — про космос (была пора первых спутников), про ассортимент товаров в окрестных магазинах.

Файка позвала меня на кухню.

Вместе с переместившимися туда Георгием и грузинским родственником, державшим в руке стакан с чаем, мы стали обсуждать устройство поминок.

— Вино привезу, самое хорошее, «Оджалешпи», коньяк привезу, святой человек была, надо красиво помянуть, — сказал грузинский родственник, отпил чаю и вздохнул: «па... па... па...»

— Выпить нету? — спросил Георгий у Файки. — Тоска...

— Погляди в холодильнике, там оставалось. Мне тоже налей немного. Что-то нервы разгулялись...

В дверь позвонили. Я пошел отворять. На пороге стоял маленький плотный человек с саквояжем в руке. Мне тотчас показалось, что я уже где-то его видел. Человек снял шляпу, вежливо склонил крутлую, как мяч, лысую голову и, приятно улыбаясь, представился:

— Заморозка. Аркадий Иванович.

Я испуганно смотрел на него.

Он повторил:

— Заморозку заказывали? — и, ласково отстранив меня, вступил в прихожую. Затворил за собой дверь, повесил шляпу на крючок вешалки. — Вы, собственно, родственник покойной или присутствующий?

Я крикнул:

— Файка! Фаина Андреевна!

Файка с раскрасневшимся лицом показала из кухни.

— Заморозка, — указал я на вошедшего.

Аркадий Иванович поклонился Файке, достал из кармана пиджака листок бумаги:

— Квитанция. Будьте любезны. Потом надо будет расписаться в производстве работ.

Файка протянула мне листок:

— Ты помоги что надо. Ладно? Я не могу.

Аркадий Иванович согласно кивнул и повернулся ко мне:

— Собственно, помощи особой не потребуется. Немного воды.

Пустой тазик. Вы только меня сперва к покойной проводите...

Мы вошли в спальню. Аркадий Иванович повесил клетчатый пиджак на спинку стула, достал из саквояжа красные резиновые перчатки и надел их. Не снимая простыни, он тут, там пощупал, подавил лежащее под ней тело.

— Газики, газики, — проговорил он сокрушенно. — Покойники — люди ненадежные: чуть недоглядишь, сразу неприятности.

Само слово «газики», красные скользкие перчатки на руках Аркадия Ивановича, его добродушное круглое лицо с румяными щечками, его раскрытый надвое саквояж, из которого он доставал свое незамысловатое, ужасающее от мысли, как оно будет употребляться, оборудование — какие-то шприцы, резиновые трубки, флаконы, ланцеты вдруг заполнили помещение нестерпимым душливым ощущением присутствия смерти. Я принес воды, пустой эмалированный таз, старое полотенце — всё, что требовалось для производства работ.

Простыня с тела была уже снята. Аркадий Иванович ловко и бесцеремонно задирал на умершей платье. Лицо Т.О. изменилось еще больше. Я сказал:

— Утром такая красавица была.

— Ах, дорогой мой, — ласково улыбаясь, обернулся ко мне Аркадий Иванович. — Смерть не числит — красавица, раскрасавица. Это ведь только говорится: человек — венец творенья. Какой уж там венец! Утром — венец, а оставишь на день без присмотра, — одна грязь... Пока бегаем, еще так-сяк, а, ноги протянул, — хуже гнилого полена. Полено на виду валяется, никому не мешает, а нашего брата только бы поскорей с глаз долой — закопать, сечь. Глядя со стороны смерти, понимаешь ничтожность жизни, — это какой-то мудрец придумал... Да вы, дорогой мой, идите. Вам тут, собственно, оставаться незачем. Понадобится — я позову...

Спустя полчаса он высунулся из двери спальни и окликнул меня. Т.О. как-то по-новому — значительно и отчужденно — покоилась на кровати. Руки ее были красиво, даже несколько причудливо сложены на груди и гляделись отлитыми из воска, муляжными (я заметил, что большие пальцы рук связаны между собой ниткой). Лицо снова похорошело, но что-то незнакомое появилось в нем.

— Тазик ополосните как следует, а это — сейчас же на помощку. — Аркадий Иванович вручил мне плотный влажный сверток, завернутый в несколько листов газеты. — Да про квитанцию, сделайте милость, не позабудьте. Расписались уже? Вот и чудесно.

Он осторожно принял бумажку между указательным и средним пальцами; на его руках все еще были натянуты красные резиновые перчатки.

— Желаю здравствовать, дорогой мой. И не заблуждайтесь насчет венца. Этак-то легче. Не запутывать себя. На словах всё красиво получается: «ибо прах ты и в прах возвратишься» — и прочее. Только на самом-то деле мерзее праха. Уж мне вы поверьте. Я-то уж знаю...

В тот вечер мысль о неизбежности бессмертия души начала укореняться во мне с незнаемой прежде жадностью и очевидно-стью. Я до полуночи сидел на скамейке у входа в подъезд, курил, смотрел на звезды и задним числом спорил с мудрецом заморозки. Постоянно озабоченный тем, чтобы на считанные часы уберечь от гниения труп, он разучился глядеть на жизнь иначе, как со стороны смерти. Но разве не более справедливо взглянуть на смерть со стороны жизни? Трудно представить себе, что Бог или Природа, или *Тот* и *Другая* совершали столь долгий, огромный, совершенный в каждой малой подробности труд творения, чтобы увенчать его чем-то, что мерзее, ненужнее праха, гнилого полена. Стоило стараться!.. Грязь трупа не перечеркивает совершенства созданного творения — лишь подтверждает невозможность такого исхода.

Я вспоминал Т.О., не ту отстраненную, какую сделал мастер заморозки, и даже не ту, которую с неведомым прежде чувством прижимал к себе утром, а Т.О. — живую, молодую, довоенную, стройную, в бордовом пальто, какого больше ни у кого у нас в доме не было, в маленькой бордовой шляпе с черной вуалеткой, какую больше никто у нас в доме не носил, вспоминал ее первого мужа,

отца Файки, какого-то видного партийца, исчезнувшего в тридцать седьмом году, и второго недолгого мужа, торопливого киношника в кожаном пальто нараспашку и мягкой серой кепке, вспоминал, как в далеком моем детстве Т.О., когда я приходил к Файке, угощала меня редкостными тогда мандаринами (каждый был завернут в прозрачную бумажку), а уже в недавнее время, зазывая, чтобы поговорить об очередном Файкином замужестве, доставала из буфета бутылку хорошего грузинского красного вина, какого не достать в магазине, вспомнил большую хрустальную пепельницу всегда стоявшую посреди стола, накрытого темно-зеленой бархатной скатертью, и лежащую рядом непременно коробку «Казбека»... — и что же, думал я, вся эта жизнь, со всеми ее думами, чувствами, радостями и бедами, событиями и похождениями, со всей ее необъятной памятью и бесконечным скреплением судеб уместилась в плотный влажный сверток, завернутый в газету, который я бросил в помоечный ящик?..

Я вдруг сообразил, почему мне с первого взгляда показалось, что я уже прежде встречал Аркадия Ивановича. Подростком, живя у бабушки в Сибири, я видел в тамошнем театре «Лес» Островского: артист, игравший Аркашку Счастливецова, был точь-в-точь нынешний знакомец — такая же круглая бритая голова, короткая фигура, такой же непонятного цвета клетчатый пиджачок... Бабушка, Сибирь, дедов галстук, который вопреки моим протестам повязали мне на шею, отправляя на спектакль, залитые лунным светом сугробы, узкая тропа, протоптанная по заснеженному тротуару, провинциальный театр, разместившийся в здании бывшего Купеческого собрания, лепнина венков на потолке зала, прохлада, которой дохнуло со сцены, когда пошел в стороны ярко подсвеченный занавес цвета рыжей лисицы, и это божественное волнение, которое заставляет задохнуться от первой раздавшейся со сцены реплики... — тоже все на помойку во влажном свертке?..

Нас зарывают — точно бросают в океанскую бездну бутылку с запечатанным текстом.

Однажды в выходной (воскресений, как и остальных дней недели — в ту пору, впрочем, шестидневной — названиями не обозначали) отец отправился навестить знакомого и почему-то взял меня с собой. Знакомого звали Антонин Иванович.

Имя меня удивило: мужчина — и Антонин. В нашем подъезде жила художавая женщина из русских немок, с бледным лицом и светлыми влажными глазами, — Антонина Ивановна. Она зарабатывала какой-то надомной художественной работой — что-то расписывала или раскрашивала. У нас в кухне долго висела подаренная ею маленькая картинка: две веточки смородины — красные и белые ягодки, круглые, блестящие, очень похожие на настоящие. В сорок первом Антонину Ивановну вышлют на восток, и она уже никогда не вернется, конечно.

Четырехэтажный кирпичный дом, в котором жил Антонин Иванович, возвышался на небольшой площади: посреди площади была бензоколонка с красным насосом. Мы постояли немного: мне очень хотелось дожидаться, пока подъедет на заправку несчастный в те годы автомобиль. Отец держал мою руку в своей; я помню, больше того чувствую рукой, всем своим существом приятную, сухую и теплую ладонь отца. Неподалеку на тротуаре стоял аптечный киоск — такие в изрядном количестве появились тогда на московских улицах: тяжелая, почти кубической формы обитая вагонкой будка, красная надпись «Аптека» по белому матовому стеклу вывески. Автомобиль так и не появился. Мы вошли в сумрачное парадное и начали подниматься по лестнице с истертыми выщербленными ступеньками.

Длинный типовой коридор коммунальной квартиры, завешанный по стенам эмалированными тазами, оцинкованными корытами, стиральными и гладильными досками (велосипедами тогда владели немногие) уже многократно описан и «обэкранен», по словцу Северянина. Коридор этот нужно было пройти до конца: обитая черной клеенкой дверь в комнату Антонина Ивановича была из кухни, — здесь на столах, сияя небесно-синим пламенем горелок, со свистом пели примуса, пахло керосином, убежавшим молоком и перловым супом.

За выцветшим стеклом кухонного окна, на прилаженной к подоконнику дощатой полке стояли кастрюли и банки с какой-то снедью, — холодильники в нашем обиходе появятся на целую эпоху позже...

Впрочем, мне уже тогда, в детстве, выпал почти немислимый случай увидеть холодильник.

В нашем доме обитал молодой, то ли подающий надежды, то ли обеспеченный полезными знакомствами инженер со странной

фамилией Коран. Он был рыжий, с мягким розовым лицом и, как бывает у рыжих, белыми торчащими вперед ресницами. Встречая его, мы, дети, отбегали на почтительное расстояние и орали во все горло: «Рыжий, красный — цвет опасный», но он, что было обидно, продолжал идти своей неторопливой, точно отдувающейся походкой, глядя прямо перед собой и не обращал на нас ни малейшего внимания. Этот Коран по какой-то служебной надобности был командирован на несколько месяцев в Америку — факт для того времени крайне редкий (добавлю: впоследствии он не был арестован, что уже попросту непостижимо); среди вещей, привезенных им из-за границы, был холодильник. Многие жильцы дома, даже мало знакомые с инженером, жаждали взглянуть на диковинку, и он, спасибо ему, оказался щедр и гостеприимен. Коран делил квартиру с тестем, известным детским врачом. Путь в комнату, где стоял холодильник, пролегал через столовую; там, среди прочей добротной старинной мебели находилось пианино — не черное, а необычного красного дерева, на крышке, между двумя высокими бронзовыми канделябрами белел накрытый стеклянным колпаком человеческий череп. Вспоминаю как приметку времени: никто на красное пианино и на привычно скаливший зубы череп и не оборачивался — люди замороженно следовали за идущим своей мерной походкой Кораном, жажда поскорее приблизиться к чуду. Коран жестом волшебника отворял сияющую белизной дверцу, мягко улыбаясь, заметно радовался изумлению посетителя и в завершение показа предъявлял нечто вовсе невероятное — выдернутое откуда-то корытце с аккуратными кубиками чистого глянцевого льда...

Я задержался на пороге комнаты Антонина Ивановича, но что поделаешь — память своевольна, она не любит бежать по прямой, сворачивает в переулки, заглядывает в тупики и подворотни, вовсе ищет окольные пути.

В тесной комнате Антонина Ивановича меня удивила высокая конторка в углу у окна. На обтянутой зеленым сукном доске были разложены бумаги, стояла большая хрустальная чернильница и стакан с перьями. Я смотрел на конторку снизу вверх.

— Вы пишете стоя?

До этой минуты я не предполагал, что такое возможно.

— Я — что! — отозвался Антонин Иванович. — У Гоголя это лучше получалось.

Антонин Иванович, вопреки моим ожиданиям, оказался совсем непохож на Антонину Ивановну: у него было тяжелое смуглое лицо, корявое от перенесенной оспы, коротко подстриженные седые волосы. Он выглядел заметно старше отца.

Антонин Иванович протянул мне старинную немецкую книгу — история медицины в карикатурах; пока они с отцом беседовали о чем-то своем, медицинском, я сидел на диване, разложив тяжелый том на коленях, рассматривал картинки. Картинки были и в самом деле смешные, но смеяться, глядя на них, почему-то не хотелось. Уродливые старики в седых париках и белых кружевных жабо со стетоскопами, ланцетами, щипцами, клистирными насосами в руках. Больные дамы с обнаженной в широком вырезе платья грудью и овечьими мордами. Ведьма с кривым красным носом у растопленного камина, срезающая кривым ножом мозоли на растопыренной, как гусиная лапа, ступне... Когда мы уходили, Антонин Иванович взял книгу, стоя у конторки, надписал несколько слов на титульном листе и протянул мне: «Вот, возьми на память». И в самом деле, путешествуя в мыслях по неоглядному, заполненному событиями простору детства, я почему-то часто вспоминаю именно этот, в общем-то, незначимый день, пожалуй, даже более того — он как-то неустранимо живет в моей памяти, и старинная книга Антонина Ивановича, при многих и разительных переменах, с той давней, почти уже заблудившейся в тумане поры происходивших в моей библиотеке, неизменно, как оберег, как знак чего-то существенного, остается на месте, — время от времени я разглядываю уже знаемые наизусть картинки, иногда даже пробегаю глазами страницу-другую текста. Со своими детьми, когда были маленькими, я, случалось, еще перелистывал эту книгу, для чего-то стараясь рассмешить их смешными, но не вызывающими смеха картинками; внуки, похоже, и не знают о ее существовании; скорее всего, в круговороте ожидающей их жизни она исчезнет словно бы сама собой, как исчезают старые, утратившие значение вещи — будто растворяются в воздухе.

Неосуществимая мечта — раствориться в воздухе. Иду по улице, вдруг — пухф — и, чуть приподнявшись над землей, растаял на глазах изумленных, или, скорее всего, ничего не заметивших торопливых прохожих, как колечко дыма, выпущенное умелым курильщиком.

Минуло несколько недель, может быть, месяцев (из нынешнего отдаления это значения не имеет), отец, как-то даже походя, за обедом, упомянул о смерти Антонина Ивановича.

Незадолго перед тем у нас в доме умер от дизентерии маленький мальчик Шурик, младший сынок жившей в полуподвале прачки Шуры Ананьевой, ходившей по квартирам стирать белье. Мы, дети, побуждая один другого, подбегали к едва доходившему нам до колен оконцу полуподвала и, припав к земле, с замирающим сердцем заглядывали в тускло освещенную комнату, где на столе, завернутый во что-то белое, покоился Шурик. К дому подъехал катафалк с четырьмя витыми колоннами по углам кузова, запряженный парой белых лошадей с черными султанами на голове. Возчик в белом балахоне спустился в подвал и через несколько минут появился вновь, неся над головой на высоко поднятых руках маленький розовый гроб. «Горе на тебя! — быстро проговорила стоявшая рядом со мной Файка и, точно играя в салочки, дотронулась рукой до моего плеча. — Передай дальше!» — и она показала глазами на старуху Пашу с первого этажа. Но я постеснялся передавать. За возчиком показалась Шура Ананьева в нарядном цветастом платке, дочь Танька в черной кофте с чужого плеча, тоже непривычно нарядной, и сын Витька — вместо бессменного пальтеца на нем была полосатая серая куртка. Возчик поставил гроб на катафалк, тряхнул вожжами, лошади неторопливо тронули с места, Шура с детьми двинулась следом за повозкой. Негустая толпа зрителей, не спеша расходиться, обсуждала событие, дети затевали какую-то подобающую случаю игру, — я, не произнеся ни слова, вдруг бросился домой. Отчаянное смятение охватило меня. Картины воображаемого кладбища, зарытый навсегда под землю розовый гроб и в нем маленькое тельце Шурика, который лишь несколько дней назад бежал по улице за широко шагавшей матерью и просил почему-то: «Дай яичка!..» Вот Шурик открывает глаза — и темнота, и тяжелая земля вокруг, и глухое молчание... Что же дальше? Что дальше?.. Страшась гулкой пустоты и сумрака подъезда, я перелетал через ступени и, оказавшись, перед нашей дверью, что было сил забарабанил в нее кулаками... В прихожей у нас имелся узкий стенной шкаф с покрашенной в белый цвет дверцей; под нижней полкой шкафа, на полу, был издавна натолкан какой-то старый хлам, который всё не доходили руки разобрать, — ворвавшись домой, я вдруг как-то ясно представил себе,

что там, в шкафу, под нижней полкой, под натисканным хламом никакого пола и нет вовсе, что вместо пола там черная, прямоугольная, по форме шкафа, бездонная яма, что яма эта, как темный луч, проникает сквозь нижние этажи, сквозь подвал, где лежал завернутый в белое Шурик, и еще дальше вглубь, куда, я не знал, может быть, до самого центра Земли. Я старался не оставаться один в прихожей, иногда мне чудилось, что из-за белой дверцы слышатся какие-то тихие звуки, однажды, преодолевая себя, я решительно распахнул дверцу шкафа, сунул руку под наваленное в самом низу тряпье и стал ощупывать пол. Неожиданно я почувствовал в руке какой-то твердый, неправильной формы предмет, — это оказался обломок простого серого камня, булыжника, — как он туда попал?..

Когда отец сказал о смерти Антонина Ивановича, прямоугольная яма до центра Земли тотчас вновь возникла в моем воображении. Я издали покосился на шкаф и спросил:

— Его теперь в землю закопают?

— Его не закопают — сожгут. Он попросил: сжечь, а пепел развеять...

Я далек от мысли, что, когда ветер — пухф! — разнесет щепотку серой пыли, которая останется от того, что было мною, что в это мгновение исчезнет весь многомерный, разноцветный мир, в котором я жил. Но вместе со мной, как исчезает с каждым, оставляющим земные пределы, исчезнет многомерный, разноцветный мир, который я собой являю, исчезнет мальчик, который пьет из блюдечка крепкий чай и рисует лиловыми чернилами на клеенке, отец с теплой сухой ладонью, перепуганная предчувствиями мать, исчезнет Антонин Иванович, как и множество других людей, таких, какими только я один их знал и какими они только мне одному виделись, исчезнет весь земной шар, каким он живет только в моем представлении, а с ним и дом Антонина Ивановича, который давно уже снесен, как и красная бензоколонка и еще раньше убранный куда-то аптечный киоск (уже много позже путешествия к Антонину Ивановичу, подростком, проходя мимо этого киоска, я услышал и пришел в восторг: «Хозяйка, презервативы есть? — крикнул издали подвыпивший работяга. — Нету? Что ж, мешки надевать?»), исчезнет стенной шкаф, прямоугольный провал которого, если разобрать наконец сваленный на дне старый хлам,

кто знает, может быть, ведет до самого центра Земли, исчезнут только мои времена года, дождь, который совсем не так, как всем, мочит мои волосы, плечи и колени, исчезнут мои сны и эти ночные пробуждения, эти только мои потоки времени, отмеряемого зеленым кошачьим глазом светящихся электрических часов, — и это печалит и странно тревожит меня.

Но вместе я не могу отделаться от убеждения, что от мира, в котором я жил, с моим исчезновением отколется какая-то немаловажная частица, что без моего взгляда, без моего ощущения, без моего усвоения этот большой, общий мир будет иным, утратит что-то, — так непрерывно меняется зримая в окуляры или на экранах приборов картина поля, где каждое мгновение рождаются и умирают частицы или микроорганизмы, которым определено жить лишь одно-единственное мгновение. Но это мгновение не будет полным без каждой такой частицы — не тут ли таинственный смысл призвания каждой из них к жизни?..

Я люблю читать воспоминания и записки частных лиц, чьи имена не то что бы забыты, но никогда и не были на слуху, в том числе записки моих современников о прожитом ими времени, которое было и моим временем и которое я по-своему хорошо и весьма подробно знаю, записки и воспоминания частных лиц, не только не бывших участниками, даже свидетелями событий, именуемых «историческими», но умудрившихся прожить почти параллельно им, почти не пересекаясь с ними. В немудреных повествованиях запечного сверчка о простой повседневности, утопленной в однообразном, уже неприметном от однообразия вращении быта, История — время, век — с ее громогласными событиями предстает как бы в двойном перевоплощении: в том, как она, независимо от осознания сверчком, проникала в его запечье, и в том, как она виделась из этого запечья, какой представлялась оттуда. Объективной картины мира создано быть не может: соты лепят пчелы, тысячи пчел, они же заполняют их медом, веками сохраняющим аромат, вкус, тепло.

Доморощенные мемуаристы нередко поставляют мне свои не в меру объемистые тетради (теперь чаще папки с заполненными компьютерным шрифтом листами) — нынешнее время, чему, конечно же, есть причины, вызывает у многих, и не у одних стариков, желание поведать на бумаге, то есть оставить после себя исто-

рию своей жизни. Я читаю эти «мемойресы» (memoires), как шутя именовал их покойный Натан Эйдельман, подчас с недоумением, с улыбкой, даже раздражением, но, за редкими исключениями, с непременным интересом: пронизательные и глупые, удивляющие физически осязаемой точностью и хвастливые, занимательные и ненужно дотошные свидетельства очевидцев глубже приоткрывают мне сообща прожитую жизнь, корректируют ее, привносят в нее какие-то тона и оттенки.

У Ю.М.Лотмана находим: «История, отраженная в одном человеке, в его быте, жизни, жесте, изоморфна истории человечества. Они отражаются друг в друге и познаются друг через друга».

...Вечерний час застал меня на Бульварном кольце, на пересечении его со Сретенкой, за которым начинается спуск к Трубной площади. Тысячи людей, охваченные единым порывом взглянуть на труп того, кому три десятилетия принадлежали душой и телом, бросились в тот вечер к Колонному залу. От Покровских ворот вниз по Бульварному кольцу для них проложили первый маршрут. Спуск к Трубной станет роковым: толпа, все плотнее скапливаясь у Сретенки, будет проталкивать тех, кто впереди, сквозь узкие проезды вдоль трамвайных путей на этот проклятый спуск, чтобы там настигать их и втаптывать в землю и ложиться рядом с ними под ноги лавины, катящейся следом.

На подступах к Сретенке, где каждый двигался подобно зернышку, сдавленному мельничными жерновами, меня поразила не давка, хотя уже и ребра потрескивали, не отчаянные крики, вдруг раздававшиеся в людской гуще, — я вместе со всеми отдался страшному водовороту, следя лишь за тем, несет ли он меня хоть несколько вперед или, швыряя от стен домов к решетке бульвара, возвращает в итоге на прежнее место, все такое же далекое от желанного спуска на Трубную площадь. Меня поразило, что ноги мои вязнут в странной, точно разлитой на земле повыше щиколотки, неподатливой массе, — не сразу мне удалось найти просвет, чтобы глянуть вниз и понять, что это толстый слой свалившихся и сдернутых с ног галош: вот тогда мне вдруг мучительно захотелось вынырнуть из этой человеческой гущи.

Я оказался уже на углу Сретенки, когда следовавшая по ней легковая машина попробовала рассечь толпу поперек и проехать в нужном направлении. Старики рассказывают: в прежние времена

господа, отгуляв почти до рассвета в ресторане, нанимали извозчиков и отправлялись в определенное место на берегу Москвы-реки смотреть, как крысы из продовольственных складов, насытившись за ночь, шествуют к реке — пить. Крысы двигались к берегу сплошным потоком, и горе было удалыцу, дерзнувшему прорваться в пролетке сквозь эту массу. Серый поток вдруг вздыбливался волной, слышалось отчаянное ржание лошади, крики людей, и через несколько минут — точно не было ничего: опять ровный сплошной поток. Шестого марта на пересечении Сретенки и Бульварного кольца я увидел: десятки рук подхватили, приподняли автомобиль, пожелавший пробиться сквозь протискивающуюся к спуску на Трубную людскую массу, машину понесло над толпой куда-то вбок, она накренилась, из открытой дверцы с воплем вывалился человек, пассажир или шофер... Не знаю, что было дальше: толпа, пожиравшая автомобиль, слегка раздвинулась прямо передо мной, на мгновение всего, но я успел вынырнуть из жерновов, несколько секунд поработал плечами — и вдруг оказался в стороне от общего движения. Оно еще задевало меня своим краем, но уже не в силах было увлечь за собой без моей воли. Я взял правее и скоро повернул в перегороженный военными грузовиками переулок. Здесь, очухиваясь понемногу, потирая бока и подсчитывая оторванные пуговицы, оседали граждане обоюбого пола, как и я, не обладавшие должной твердостью и самоотвержением, а посему вынужденные расстаться с мечтою отдать последний поклон вождю...

Вдруг мне пришло в голову, что именно в этом переулке живет учитель английского языка Сергей Дмитриевич, у которого я брал уроки еще в студенческие годы.

Биография у Сергея Дмитриевича была путаная. Он никогда не рассказывал мне связно о своей жизни, но благодаря тому, что при серьезной разнице в возрасте отношения между нами установились скорее дружеские, нежели такие, при которых строго соблюдается ранговое различие между учителем и учеником, кое-какие осколки его прошлого остались для меня неутоенными. Я знал, например, что в тридцатые годы Сергей Дмитриевич многозначительно долго скитался с геологическими экспедициями, работал вагоновожатым в трамвайном парке, что однажды он чуть не погиб во время бури на Каспии, когда пришлось срочно плыть на стареньком буксире из Баку в Красноводск, и что ему случалось

даже дрессировать собак, но исключительно бульдогов и боксеров. Мне было открыто также (по тем временам немало), что родился и вырос Сергей Дмитриевич в Петербурге и в доме у них говорили по-английски; это оказалось очень кстати, потому что в Первую мировую войну Сергей Дмитриевич, попав в плен, по странности обстоятельств, два года провел в лагере для пленных английских офицеров. Моя мама, познакомившись с учителем (иногда уроки назначались не у него дома, а у нас), говорила с уважением, что он «очень даже из бывших».

На уроках мы с Сергеем Дмитриевичем просто поочередно читали вслух. Все необходимые сведения из грамматики, фонетики, лексикологии и стилистики он сообщал мне по ходу чтения. Мы читали только трех авторов: Диккенса — «Пиквикский клуб» и «Рождественские истории», Оскара Уайльда и Бернарда Шоу. Тексты старик знал почти наизусть, но всякий раз читал и слушал их, даже в моем чудовищном исполнении, с нескрываемым удовольствием. Он щурил большие серые глаза, еще увеличенные толстыми стеклами очков, и улыбался, показывая длинные прокуренные зубы. Курили мы с ним отчаянно. Именно тогда я завел свою первую трубку. Он признавал только крепчайший табак, который изготовлял сам, пропитывая (он называл это «соусировать») махорку особым медовым раствором и обкладывая ее при просушке ломтиками яблока. Во время уроков мы пили также густо настоенный темно-янтарный чай, — Сергей Дмитриевич заваривал его особым способом, важно было не только время, пока настаивался чай, учитывалась также продолжительность кипения воды для заварки. Именно Сергей Дмитриевич научил меня бросать в заварку кусочек сахара; он любил также подкладывать туда несколько зернышек кардамона; впоследствии я отказался от кардамона — вкус чая с ним, пожалуй, несколько изыскан.

Офицер из оцепления разрешил мне продрагаться между подогнанными один к другому грузовиками, перегородившими переулок, — я сказал ему, что живу здесь, и назвал адрес Сергея Дмитриевича. Через несколько минут я стоял перед разрушавшимся уже несколько десятилетий двухэтажным особнячком, по внешним объемам которого никак невозможно было предположить всего множества выгороженных внутри комнат и каморок и числа их обитателей.

Я позвонил и тотчас услышал за дверью неторопливые шаги учителя, его комната располагалась в самом конце коридора. Он отворил дверь и жестом пригласил меня войти. Коридор был пуст и темен: то ли все металось по городу в попытках пробиться в Колонный зал — гроб, там установленный, казался в тот вечер едва ли не центром мироздания, то ли попрятались по своим углам, ибо к обычному повседневному страху прибавился тогда еще и страх внезапно надвинувшейся, многими лишь интуитивно ощущаемой новизны мира.

Мы вошли в «чертоги бытия и быта», как называл Сергей Дмитриевич свою каморку, в которой умещались стол, два стула, диван и шкаф, одновременно книжный и платяной. Старик почтительно принял мое помятое, кое-где поврежденное пальто — он непременно, вызывая неловкость и суету, пока не привыкнешь, принимал у гостей пальто и подавал им, когда они собирались уходить восвояси. Сам он, как обычно в домашней обстановке, был в накинутом на плечи сером вязаном платке и в потертой круглой с плоским верхом цветастой шапочке, из-под которой свисали редкие пряди седых волос, — в такой шапочке изображен Гарибальди на знаменитом портрете.

— Радуюсь и горжусь, что вы именно со мной решили отметить первый вечер новой эпохи, — сказал он. — Пойду поставлю чайник, а пока закипит, сообразим по трубочке.

Листы белой бумаги с новыми запасами соусированной махорки, обложенной ломтиками яблок, подсыхали на радиаторе отопления.

— Чтобы не тратить время на беспочвенные предположения, можем почитать вслух. Предпочитаете ваш любимый «Пиквикский клуб» или другое что-нибудь? Когда вы пришли, я читал по-русски «Жизнь животных» Брэма, — он кивнул на лежащий посреди стола толстый том в зеленом переплете. — Предлагаю продолжить. Самое интересное и, добавлю, поучительное чтение в такой вечер.

После болезни, зацепившей среди иного прочего мои ноги, я хожу, толкая перед собой каталку; когда я бреду, держась слегка расставленными руками за ее рукояти, я именую себя: картина И.Е.Репина «Лев Толстой на пашне». Я бреду по аллее парка, на скамьях вокруг озера радуются солнышку отдыхающие горожане, по озеру, раздвигая воду, плавают лебеди и утки, на лужайках

подростки гоняют футбольный мяч, навстречу мне и обгоняя меня с упорным удовлетворением вращают ногами землю многочисленные любители бега, приметные деревья на пути давно сделались моими друзьями, я задерживаюсь, встречаясь с ними. Если я устаю, я отхожу в сторонку и устраиваюсь на сиденье, прилаженное между рукоятей каталки. Юная пара — оба на велосипедах — проезжает мимо, короткие белые трусики девушки красиво облегают ее округлые ягодицы, делают особенно привлекательным нежный загар на бедрах. Молодые люди весело перекрикиваются на ходу, до меня доносятся обрывки слов, гудение воздуха в разогнавшихся колесах. Я смотрю им вслед, пока они не исчезают за поворотом аллеи. Теперь они навсегда останутся во мне, — но что же там, за этим поворотом? Поиски утраченного времени не оставляют меня, раздумья о том, где может храниться прошедшее, ощущаются мной не праздным умствованием. Остался ли громадный мир, воссозданный героем Пруста, лишь в просторах памяти, отмыкаемой знакомым с детства вкусом пирожного «мадлен», тающего во рту от глотка липового чая? Я встаю на непослушные ноги, берусь за рукояти каталки и, не завершив круг, поворачиваю в обратную сторону. Передо мной снова возникают деревья, лужайки, скамейки, которые остались было у меня за спиной, мальчишки перекидывают один другому футбольный мяч, бегун, который недавно пробежал мне навстречу, теперь обгоняет меня, велосипедисты остановились у самой воды, юноша, присев на корточках, подкручивает что-то в сложно устроенной передаче своей машины, девушка в белых трусиках смотрит на большого лебедя, который щиплет траву в нескольких шагах от ее стройных золотисто-загорелых ног. Я думаю о спорах схоластов: время проходит, а мы стоим, время стоит, а мы проходим, время и мы движемся друг другу навстречу... Но, может быть, мы и в самом деле бродим в некоей беспредельности и расставляем все вокруг в удобных для уяснения порядке и последовательности?..

Вчера ты вдруг расстроилась в недоумении, Радость моя: «Не понимаю. На циферблате двенадцать цифр, а в сутках — двадцать четыре часа...» — «Но за сутки стрелки обходят циферблат дважды». — «Но могли бы и единойжды. Или — трижды... Не все ли равно. Нет, не понимаю...»

Радость моя...

Болезнь принудила меня спать сидя. «Он повернулся на другой бок и снова сладко захрапел», — это уже не про меня. Ничего, я привык. Я вспоминаю, как во время болезни, лёжа пластом, мечтал, что когда-нибудь снова сумею сесть на кровати. Среди бесчисленных видений повторялось и такое: я лежу в больничной палате не в силах пошевелиться придавленный уходящими в небо (потолка не было) сборными, как строительные леса, стальными конструкциями. Но однажды утром, еще не вполне пробудившись, я нечаянно сделал какое-то неуловленное мною движение рукой — и вдруг сел. Впервые за долгие недели я увидел мир вокруг (или расставил все, что увидел) так, как видит вертикально стоящий на земле человек. Голова у меня кружилась от слабости, отвычки и радости. Но понадобились еще дни, пока я научился осознанно совершать это перемещающее меня в пространстве волшебное движение рукой. Человек жаден на мечты и надежды. И я уже мечтал, что смогу сидеть, свесив ноги с кровати (а ведь недавно сестра поворачивала меня на бок, когда протаскивала подо мной свежую простыню). Выход из болезни был как миллионелетний эволюционный путь развития, где самостоятельно надеть носки (очень высокая ступень эволюции) — этап, может быть, равноценный появлению млекопитающих. (По телевизору показывают спортивные состязания инвалидов: участники с жизнерадостными лицами что было мочи крутят колеса своих инвалидных кресел, одолевая стометровку, но я навидался таких молодых людей и, ценя их разгоряченное самоотвержение, не могу забыть о том, что иные из них не в силах без посторонней помощи перебраться из своего кресла на унитаз. «Не верьте пехоте, когда она бодрые песни поет...»)

Я похудел, мышцы мои растаяли, кожа болтается, — я без труда могу обхватить свою ляжку пальцами обеих рук.

Много лет назад, в пору моих молодых журналистских скитаний, мне случилось переночевать в гостиничном номере с незнакомым человеком; он показался мне стариком — седые волосы, борода (тогда еще мало кто носил бороды), слегка обвисшие морщинистые веки. Старик был неразговорчив; вечером, едва познакомившись, он тотчас пожелал мне спокойной ночи, а, укрывшись одеялом и надавив кнопку ночника, подозрительно быстро захрапел, — наверно, подумал я, делает вид, что спит, чтобы избежать

разговора, который нередко и начинается, после того, как дотоле незнакомые собеседники выключают свет. Утром, когда я проснулся, старик, окаменело согнувшись, сидел на краю своей кровати, его сиреневые кальсоны были спущены ниже колен. Поймав мой удивленный взгляд, он кивнул на свои обнаженные ноги и произнес сердито и определенно:

— Я сам себе противен.

Взгляд его упрятанных в тяжелые веки глаз был печален. От растерянности я улыбнулся.

— Вам этого пока не понять, — сказал старик, натянул кальсоны и начал одеваться.

Я закрыл глаза и сделал вид, что снова заснул.

Случайного соседа я вспоминал, когда работал над одним из разделов книги «Диалектика тела». Название родилось в единстве и противопоставлении с известным термином «диалектика души», постоянно сопровождающим всякий разговор о творчестве Л.Н.Толстого. Тончайшие движения души своих героев Толстой с поразительной точностью передает в каждом их телесном движении, в их телесных особенностях и признаках. «Склонность придавать значение всякому простому движению составляла во мне характеристическую черту», — писал он о себе. В разделе, о котором идет речь, я пытался проследить, как «работают» ноги персонажей в толстовских текстах.

Еще в отрочестве Толстой заметил на дороге нищего — полуразвалившееся «существо» с «кривыми, безмускульными ногами». Слабость, худоба, бессилие ног навсегда становятся признаком немощи и старости, разрушения телесного человека. В раннем — кавказском — рассказе «Набег» русские солдаты, захватившие горский аул, ведут связанного хилого старика — его кривые босые ноги еле передвигаются; у старика красные, лишенные ресниц глаза. И в повести, созданной полвека спустя, Хаджи-Мурат, захвативший в аул, находит на крыше сакли старика с красными и влажными глазами без ресниц: при виде гостя старик, «поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками».

Отец Сергей, герой одноименной повести, не в силах настоящему отдаться молитве, измученный сознанием собственного неверия, а значит ложью всей той жизни, на которую

себя обрек, ложью того образа — знаменитого пустынноика, — которое создало мнение людское: «„Нет, это не то, — обрывает он молитву. — Это обман. Но других я обману, а не себя и не Бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной“. И он откинул рясу и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся».

Истина — постижение приближающейся смерти — требовательно стучится в сознание умирающего Ивана Ильича, когда, не в состоянии подняться на ноги и даже натянуть панталоны, он «с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки».

И герой позднего рассказа Корней Васильев, некогда крепкий человек, богатый хозяин, неузнанным нищим стариком нашедший приют в избе дочери, лезет на печь «большими худыми ногами», сидит там, «потирая мохнатые костлявые ноги», и слушает беседу хозяев, в которой открывается ему, что жизнь его переломлена ложью и злобой: ему остается только найти прощение и умереть.

Это так, походя. Мысли, картины, подсказанные памятью и воображением, тем более в ночные часы, выстраиваются не в «должном порядке», сцепляются подчас причудливо, перетекают одна в другую, не подчиняясь логике, — знакомую с детства задачку про втекающую в бассейн и вытекающую из него воду с единственно возможным ответом тут не составить.

Часов я теперь не ношу. И не только потому, что браслет стал широк и сваливается с руки. В моем распорядке дня осталось немного дел, которые побуждали бы меня тревожно сверяться с часами. Большую часть того, что я делаю, я могу делать быстрее или медленнее, сделать раньше или позже. Прежде была необходимость, а с нею и потребность рассчитывать свои планы по времени, — теперь это раздражает меня и даже угнетает.

Банальность, но — неоспоримая: время с годами летит все быстрее. Всякий намеченный наперед срок устрашающе близок, изначально ничтожно мал — и как абсолютное число, и по отношению к прожитой, оставшейся позади жизни, и учитывая эту скорость приближения к нему. И вместе так же устрашающе далек, ибо надо прожить его.

Я завел для себя шутку: вечером расстелил постель, утром застелил, — и, пожалуйста, снова пятница. А некогда всякое утро открывало долгий, громоздящийся замыслами, надеждами и возможностями день, где-то в конце которого лепился такой далекий поутру, почти миражный, дразнивший удачами вечер.

Среди объяснений этого все более заметно ускоряющегося с годами движения времени есть и такое, мне понятное: ощущение нарастающей скорости возникает как результат отношения реально протекшего отрезка времени к возрасту. Для восьмилетнего мальчика год вдесятеро дольше, чем для восьмидесятилетнего старика.

У Розанова я прочитал: взрослый человек как-то больше года, но для ребенка год — век: ждешь и не дождешься Рождества, и точно никогда не придет (Розанов написал это совсем молодым: только-только пятьдесят стукнуло).

Время, заполняемое постоянными обретениями молодости и, в особенности, детства, обширнее и весит больше, нежели обесцененное нажитым к старости опытом.

Лев Николаевич Толстой писал, что в первые пять лет жизни приобретал так много и так быстро, что за всю остальную жизнь не приобрел и 1/100 того: «От пятилетнего ребенка до меня только один шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до новорожденного отделяет уже не пучина, а непостижимость».

Когда-то я подсчитал, что оказался старше всех героев «Войны и мира» за исключением Кутузова. Теперь годы промелькнули — уже и Кутузов далеко позади...

Кутузов появляется на страницах книги шестидесяти лет. Первые движения, которыми он обозначен: идет вяло, медленно, тяжело ступает. Жирная грудь, пухлая со складками шея, малая, без охоты, подвижность, седина, скучающее выражение, апатия, лишь в редкие решительные минуты его оставляющая, главное же — эта всё познавшая старость и совершенная опытность жизни с их как бы изначальным пониманием того, что было, есть и будет, побуждавшие его без участливого интереса, даже с презрением относиться к уму, чувству, знанию окружающих (читаем у Толстого).

В годы, которые для его Кутузова возраст всё познавшей старости, сам Лев Николаевич, наверно, более чем прежде распахнут навстречу всему, что творится в мире, с особенной устремленностью ищет, уясняет истину, старается всем открыть ее, он убежден, что «пришел огонь свести на землю», пишет книги, пашет поле, колет дрова, косит, совершает пешие походы из Москвы в Ясную Поляну. В шестьдесят он становится отцом. И в семьдесят способен стать... (Кутузов, возможно, тоже был отцом в шестьдесят, в шестьдесят пять; до семидесяти не дожил. Известно, что старый фельдмаршал отличался женолюбием и проводил часы отдыха с молодыми наложницами...)

Интересно, каким бы стал Кутузов в «Войне и мире», если бы Толстой писал книгу в семьдесят лет, а не в неполных сорок.

Абсолютные цифры пугают, конечно: семьдесят, восемьдесят, ну, девяносто, а дальше — что?.. Но услужливый ум ловко перекраивает представления о возрасте (Корней Иванович Чуковский сказал на чьем-то юбилее: семьдесят лет — прекрасный возраст, но понимаешь это в восемьдесят), утешает сравнениями (Н. в восемьдесят пять еще такое выделывает). Нам, наконец, дарованы добрые минуты — забывать. Бертольд Брехт в стихотворении «Похвала забывчивости» пишет: «Слабость памяти дарует людям силу».

Наступление (становление) старости осознается с цифрами, но цифры все же показатель возраста, а не старости. Суть старости — иное наступление (боевые действия: ты в окружении, кольцо сжимается). Старость — это нашествие ограничений. Ограничивается время, тебе всякий раз отпускаемое, пространство, которое ты еще способен одолеть, ограничиваются твои желания, возможности, общения, планы, даже разнообразие и количество еды в твоей тарелке... Нашествие продолжается, ты теряешь позицию за позицией, но, пока «жить упорная способность» (по слову поэта) тобой не утрачена, ты, даже уступая раздражению, не посмеешь сказать всерьез о наступлении вражеском: старость, сказал кто-то (может быть, тоже поэт) — единственный способ жить долго.

В конечном счете, жизнь в старости, как и творчество, — энергия заблуждения...

До поры я восхищался: с каким удивительным проникновением написал Чехов в «Скучной истории» — самому тридцати не

было! — своего старика — профессора. Теперь я с недоверием читаю про вставные зубы, лысую голову, трясущиеся руки и ноги, впалую грудь, шею, похожую на ручку контрабаса, неизлечимый тик *шестидесятидвухлетнего* старика, который к тому же повторяет, что скоро умрет. Описание кажется мне штучным, преувеличенным. Чехов то ли испугался представшей в воображении старости с ее ограничениями, то ли с присущей ему беспощадностью посмеялся над ней. Через десять лет после «Скучной истории», уже тяжело больной и сознававший это, он, пусть шутя, прикидывал прожить до восьмидесяти (впрочем, в психической жизни случайного не бывает, утверждал не желавший сдаваться старости Зигмунд Фрейд).

За эти десять лет отношения Чехова со старостью совершенно переменились, прежде всего, переменилось ощущение и осознание отпущенных сроков, — тем более что доктор Чехов, как и писатель, был беспощаден в оценках.

Когда тяжелое кровохарканье уложило Чехова в Остроумовскую клинику, Толстой пришел навестить его. Подробно об этом посещении Чехов не рассказывал. Однажды заметил — опять же, шутя: Толстой, наслышавшись о его опасном состоянии, ожидал найти его чуть ли не умирающим, когда же этого не оказалось, даже выразил на своем лице некоторое разочарование. Чехов проникателен: известно, что Толстой с интересом навещал умирающих, пристально в них вглядывался (всё старался отгадать томившую его загадку). Говорили о бессмертии. Толстой — так его понял Чехов — утверждал, будто человек, умирая, оказывается в некоем общем *начале*, сущность и цели которого неизвестны. Чехову это начало представилось в виде бесформенной студенистой массы, с которой сольется его индивидуальность, его *Я* — он не понимал такого бессмертия и не хотел его. Они говорили долго (потом у Чехова опять сильно пошла кровь горлом), но к согласию не пришли. Думая об этой встрече, представляю себе изнемогшего, харкающего кровью Чехова и появившегося перед ним крепкого, без малого семидесятилетнего старика, который в эти дни, по свидетельству близких, был как-то особенно здоров и бодр, и сам писал, что больше радуется, чем унывает (еще и конец марта, ранняя весна, любимое Толстым время года, его освежающее).

Не уверен, что желал бы, чтобы мое *Я*, именно то самое, с которым прожил свои земные пределы, которое, добавлю, во

многим и образовалось в этих пределах, оставалось вечно нетронутым, неизменным, да и не верю, что такое возможно. Будь так, наш переход в вечность, если она и в самом деле существует, стал бы не более как перелетом на другую, точно такую же, как та, что отведена нам для обитания, планету, где всем нам предстоит существовать не в новой совокупности, а в виде простой суммы прежних индивидуальностей. По-своему заманчиво, но неинтересно!..

Лев Николаевич, впрочем, тоже вряд ли уготовлял себе место в единообразном студенистом растворе. Судя по некоторым его высказываниям, он, похоже, не исключал повторяемости своего появления в нашем земном мире. О бессмертии души он говорил, что не может себе представить бесконечности только в одну сторону. Он предположил также, что человек неосознанно хранит память о себе прошлым и с каждым новым воплощением корректирует себя — становится совершеннее.

...Состояние, в которое меня более чем на четыре недели повергла болезнь, называется «глубокой комой». Кома — подлинная репетиция небытия. Или — вечности. Что со мной происходило в течение этих четырех недель рассказать не в силах, но несу в себе уверенное знание, что нечто постоянно происходило, что время это проживалось насыщенно и напряженно. Едва ли не первое, что я произнес, неожиданно (уже перестали ожидать) и по первому разу лишь на несколько минут очнувшись:

— Смерти нет...

2

...Только что закончился обход, из-за приотворенной двери слышны голоса вышедших в коридор врачей, реанимационная сестра в голубом халате записывает в тетрадь показания приборов, к которым я подсоединен бесчисленными трубочками и проводами, тянущимися со всех сторон из моего неподвижного тела, она чувствует мой взгляд и улыбается мне. Я вспоминаю, что ее зовут смешным для русского слуха именем Уши, хочу сказать ей что-нибудь веселое — и в эту минуту выхожу из вагона метрополитена на станции, отчасти напоминающей мне знакомые с отроческих лет «Красные ворота»...

...В 1935 году, за несколько дней до официального открытия только что построенной первой линии московского метро — десять станций от Сокольников до Парка культуры, — ударникам производства выдали пропуска для пробной поездки по чудесной магистрали и осмотра подземных дворцов, подаренных миллионам жителей коммуналок взамен тех, что были разрушены на земле в безжалостной войне с ними, так никогда и не принесшей обещанный мир хижинам. Отцу тоже выдали пропуск, он взял меня с собой. На станции «Красные ворота», ближней к нашему дому, мы восхищенно считая ступени, спустились вместе с толпой счастливых-ударников по не пущенному еще в движение эскалатору (скоро все будут распевать песню про «лестницу-чудесницу»), почувствовали «ветерок под землей» — приближение поезда (образ волшебства в тогдашних газетных и журнальных очерках: «откуда ветерок под землей?»), ахнули от самостоятельно распахнувшихся и снова запахнувшихся дверей вагона, пришли в восторг от заложившей уши скорости. Нигде в мире нет и, конечно, не может быть такого метро!.. Девушки в красных фуражках, балетно вздымающие жезл!.. Помощники машиниста в новенькой темно-синей форме, выкрикивавшие такое простое, прежде даже страшноватое, роковое, но тут сразу зазвучавшее по-особому, почти символически, слово «Готов!»... А чистота!.. Через несколько дней известный детский писатель Лев Кассиль будет читать по радио рассказ про мальчика, которому вот так же, как мне, посчастливилось уже проехать на метро: у входа на станцию мальчик положил в рот конфету «Вишня в шоколаде», но внизу такая была красота и чистота, что выплюнуть косточку от вишни было просто-таки невозможно, и он сплюнул лишь после того, как снова огляделся на поверхности земли...

Это не видение — это реальность, которая сама собой вывелась из памяти, едва прозвучало сигнальным звоночком — «Красные ворота»...

...Я выхожу из вагона на станции, похожей на «Красные ворота», опасливо оглядываюсь, потому что никто не должен заметить меня здесь, прохожу вперед по платформе и жду, когда подойдет следующий состав. Среди прибывших пассажиров я замечаю девушку с вьющимися светлыми волосами и мягкими губами, она

едва заметно кивает мне и делает знак, чтобы я следовал за ней. Сейчас я уже забыл ее имя, мог бы, конечно, но не хочу придумать: в пространстве, которое мне вспомнилось, она так много значила, что грешно было бы «литературы ради» сочинить ей имя. Девушка эта — тоже реанимационная сестра, которую я где-то встретил еще до того, как начал различать Уши, Эльке, Бригитту. Не знаю, существовала ли она рядом с ними в реальности той клиники, где я находился после перенесенной операции, или возникала, лишь когда я неожиданно пересекал какую-то границу и оказывался в *иной реальности* (ищу слово, чтобы точнее обозначить это неведомое пространство, которое по силе, ясности, определенности переживаемых там ощущений мне до сих пор трудно признать менее реальным, нежели то, в котором продолжаю существовать). *Там-то* моя девушка *была* совершенно определенно, я знал и помнил график ее работы и огорчился, если вдруг не заставал ее, попадал не в ее смену. Девушка делает мне знак, я иду за ней, мы проходим под аркой между колоннами, она толкает массивную дверь, за дверью еще что-то вроде тамбура, отгороженного тяжелым занавесом палевого цвета, я чувствую тяжесть ткани, когда откидываю край занавеса, и мы оказываемся в *другой* клинике, где мне нередко случается проводить время (подвергаясь, в частности, и разного рода лечебным процедурам), помимо той, в которой нахожусь согласно документам и общему мнению (*здесь*).

Мне хочется сказать: нахожусь *на самом деле*, потому что того требует привычный для меня образ мысли, воспитание, нежелание следовать моде, в конце концов, но и сегодня затрудняюсь противопоставить прожитые и пережитые *там* и *здесь*: очень уж очевидно и осознанно *там* ничуть не менее, чем *здесь*, ощущал я себя вписанным каждой жилкой в ясную и устойчивую логическую, сюжетную, образную систему, переход из *здесь* в *там* всякий раз совершался так же равноправно, естественно, логически обеспеченно, как и обратный переход, — «зная все это, я не могу не прислушаться к странным мифам моей души», — писал К.Г.Юнг о своих видениях.

(Я ничего не утверждаю, тем более никого не убеждаю, и уж вовсе не желаю выставить себя вызывающим интерес феноменом, меняющим пространства обитания: просто рассказываю о том, что

прочно живет в моей памяти, воображении, не оставляет меня, томит напоминанием в проживаемую мной пору. Рассказ о стариковской ночи, одной из тех, что нередко выпадают на мою долю, о моем *позднем времени* был бы неполон без этих впечатлений, оказавшихся значимым перевалом на пути к тому *Великому Быть Может*, которое, если и понимается иначе, не поддается, пока мы *здесь*, иному обозначению, кроме как *небытие*. При этом я забочусь, в общем-то, о том, чтобы пометить впечатления, опускаю многие подробности, в особенности такие, которые могли бы показаться нарочитыми, придуманными. Сообщил я, к примеру, что помещения этой самой «клиники у Красных ворот» вдруг наполнились густым белым паром, какой выпускают теперь на эстраде при выступлении популярных певцов, или что на столах у врачей и сестер там стояли почему-то корзины с красиво сформованными ярких цветов овощами — репой, свеклой, томатами, огурцами, морковью, — это тотчас смотрелось бы недостоверностью. А ведь так оно и было...)

Когда-то в юности мне попала в руки повесть Джека Лондона, названная в переводе (если не ошибаюсь) «Звездный скиталец». С тех давних пор вещь эту я не перечитывал и не испытывал потребности перечитать: суть ее прочно застряла в памяти, подробности не представляются значимыми. Героя повести, за что-то арестованного, добываясь от него признания, подвергают изощренной пытке: заталкивают в тесный мешок и туго зашнуровывают, так, что он не имеет ни малейшей возможности двигаться. Через несколько часов мучки становятся нестерпимыми. Но герой находит выход из положения. В буквальном смысле слова — *находит выход*. Он обнаруживает в себе способность выходить из собственного тела и, пока оно, стянутое ремнями, покоится под надзором палачей, вне его совершает удивительные путешествия в пространстве и во времени. Повесть числится по разряду ненаучной фантастики.

Много позже, уже недавно, стали появляться свидетельства наших современников о совершаемых ими путешествиях вне тела. Американский ученый, исследующий проблему, полагает, что внетелесные переживания (не сновидения) особенно часты, когда человек оказывается на рубеже жизни и смерти. Ученый замечает также: люди, как правило, бывают рады, что такое происходит с ними, пережитое за эти часы сильно воздействует на их убеждения и мироощущения.

Наверно, самое поразительное совпадение с фантазией Джека Лондона (впрочем, может быть, замысел повести также почерпнут из чьей-то жизненной истории) — «трансфизические странствия», как сам он их именует, упрятанного в советскую тюрьму Даниила Андреева: безграничность миров и веков, им посещаемых, встречи, беседы, озарения, сопровождающие эти странствия, помогают ему создать гигантскую и стройную картину «параллельной», назовем ее — «внеастрономической» — Вселенной.

Теперь, правда, появились сообщения, что маршруты внетелесных путешествий прокладываются не только на пограничном рубеже земного существования. Некоторые люди обладают способностью всякий раз, когда их одолевает охота к эксперименту, по собственному желанию покинуть телесную оболочку и отправиться в путь. Стартовав, они видят со стороны оставленное ими тело. И, случается, не без трудностей возвращаются в него.

У меня вдоволь материала для фантазий, но я не хочу фантазировать. Мне проще думать, что мои видения были подобием многосерийных снов, своего рода «мыльными операми», но принять окончательное решение отчего-то трудно, — может быть, просто есть потребность уберечь иллюзию. Объективно нет разницы в том, двигались ли все эти заполненные образами пространства внутри меня или я — в них, как при объяснении эйнштейновской теории нет разницы, движется ли поезд или перрон, но не теоретически, на деле, разница огромная: в одном случае всё замыкается границами моего тела, в другом — приотворяется дверь в желанное (или нет?) *Быть Может*.

Однажды я тоже увидел свое тело со стороны. Теперь я уже не в силах воспроизвести, как это случилось. Сперва я даже не понял, что происходит, и лишь спустя несколько минут осознал, что сижу в кресле, поставленном в ногах моей больничной кровати, тогда как другой «я» тихо поживает, лежа на спине. Помню только, что удивился, узнав в лежащем человеке себя и еще — как бы увидев снизу, от подбородка свое лицо, которое за отсутствием зеркала да и за совершенной ненадобностью заниматься этим не рассматривал, должно быть, уже два месяца; мысленно я почему-то представлял себя похожим на старого китаецца с торчащими на конце подбородка длинными прямыми

ниточками седой бороды. Еще помню ощущение некоторой особой дурноты, не оставлявшей меня, пока я сидел в кресле и созерцал свое мирно спавшее тело.

(Дурнота была сродни той, которую я испытал, когда в Крыму мой друг взял меня на рыбалку в открытом море. Старенький буксир остановился в изрядном отдалении от берега. Находившиеся на нем любители-рыболовы — я к ним не принадлежу — расположились вдоль обоих бортов с короткими удочками, снабженными спиннинговой катушкой. К леске снизу подвязывался короткий поводок — «ставочка» — с большим количеством крючков без наживки. Ловили ставридку; если попадалась пикша, в ту пору еще считавшаяся непригодной в пищу, ее снимали с крючка и бросали обратно в море. Была мертвая зыбь. Словно осколки стекла, рассыпанные в воде, слепя глаза, качались вокруг. Буксир мелко подрагивал. Из машинного отделения тянуло подгоревшим маслом. Меня мутило. Окутанный дымкой горизонт пьяно пошатывался из стороны в сторону. В кистях рук и в икрах, казалось, пересыпается сухой песок...)

Такая же дурнота сопутствовала тому, что называют галлюцинациями.

Из галлюцинаций ясно запомнилась одна.

...Все еще неходячий, я опять сижу в кресле, но «в своем теле». Кровать застелена, на ней никого нет. Вдруг чуть в стороне, будто прямо из воздуха, образуется белое облачко. Оно движется ко мне, постепенно все более обретая очертания женской фигуры. Передо мной женщина, которую я давно и хорошо знаю. Ее лицо, руки, одежда — всё белое, точно отлито из гипса. Она кажется мне скульптурой — памятником. Она подходит совсем близко и молча садится на кровать. Я пытаюсь заговорить с ней, она не отвечает. Сидит молча, неподвижно, не отводя глаз смотрит мне в лицо. В одной руке она сжимает аккуратно сложенный белый платок. Меня тревожит этот платок: такой дают в руку умершим. Мне становится страшно. Я вспоминаю, как однажды, много лет назад приехал неожиданно к ней на дачу. Она гладила белье на террасе. У нее в руке был тяжелый железный утюг с тругольными прорезями по бокам, направленный раскаленными углями. Время от времени, раздувая угли, она сильно раскачива-

ла утюг. Лицо, шея и грудь ее раскраснелись; на ней был легкий цветастый халатик. Я сидел на перилах террасы и читал ей стихи. Она знала, что я в нее влюблен, взглядывала на меня и улыбалась. Теперь я начинаю читать ей те же стихи, которые читал тогда. «Но если бы душа могла // здесь, на земле, найти успокоенье...» Никак не предполагал, что еще помню их. Она сидит по-прежнему неподвижно, слышит, не слышит, не знаю, — гипсовая статуя. Потом так же, не произнеся ни слова, встает и медленно удаляется, исчезает. Я долго не в силах унять мелкую противную дрожь в руках и ногах, сжав зубы, сглатываю слюну, как при надвигающейся морской болезни...

Недавно эта женщина навестила меня. Я напомнил ей, как когда-то нежданно к ней нагрязнул. Она засмеялась и прочитала первую строчку того стихотворения: «Не знаю я, коснется ль благодать моей души...» Подумать только, а я снова успел забыть его...

Я сидел в кресле и смотрел на самого себя. В палату, сияя глазами, вошла красивая сестра, эфиопка, Зелла Ибрагим. Я называл ее «Ганнибалом», ей почему-то нравилось это, хотя, как я выяснил в разговоре, она ни о пушкинском предке, ни о самом поэте, ни о карфагенском полководце даже малейшего понятия не имела. Зелла-Ганнибал приблизилась ко мне лежащему и окликнула меня, я лежащий не проснулся и не отозвался, я сидящий тоже промолчал. Сестра поправила капельницу и вышла. Я еще немного (так мне показалось) побыл в кресле, удивляясь себе лежащему (я все-таки продолжал ощущать себя старым китайцем с собравшейся морщинками кожей и длинными седыми волосками бороды), но когда в палате снова появилась Зелла-Ганнибал (она, похоже, была встревожена моим состоянием) уже вновь каким-то образом «совместился» со своим лежащим телом. Дурнота отступила. Я улыбнулся Зелле. Она, с заметным облегчением, ответила мне своей ослепительной улыбкой, вдруг достала из кармана ласкающее белизной куриное яйцо и положила в мою ладонь. Малосильная рука радостно ощутила его приятную округлость и тяжесть. Между тем час был неурочный — видимо, где-то между обедом и ужином — да и яйца в больнице полагались только по воскресеньям, к завтраку. Я, впрочем, тогда почти ничего не ел, для поддержания сил мне постоянно вливали из капельницы какой-то состав, именуемый «питанием астронавтов»...

Граница *иных пространств*, меня окружавших, весьма протяженная, была проложена неопределенно, — я никогда не замечал, что уже вплотную приблизился к ней, заступаю, вот-вот пересяку. Реальность этих *иных пространств* была убедительной потому, что, оказываясь в них, при самой, подчас, необыкновенности ситуаций, я всегда сознавал, или ощущал, ее закономерность, ее причинно-следственные и временные связи, как и закономерность моего появления там, — точно надел пригнанную по телу одежду.

...Совсем рядом с моей Station В-2 (Station по-немецки отделение в больнице, но очень тянет перевести напрямую — «станция»), где, согласно документам, я и обитал, имелась, как я со временем узнал, еще одна, явно отличающаяся от нашей возрастотом: лепнина на потолке, желтые лампы, упрятанные в шаровидные абажуры, взамен трубок дневного света, тяжелые белые двери без стекла с бронзовыми ручками, старообразная мебель, покрашенная белой эмалевой краской. Путь в это отделение лежал через малоприметную серую дверь какой-то кладовки, слева, в самом конце нашего коридора, у торцового окна. Стоило войти в эту кладовку, протиснуться между полками, заставленными коробками и разного рода стеклянными, фаянсовыми и никелированными больничными подробностями, как ты оказывался на лестничной площадке, тоже старого образца, без лифта, не похожей на наши холлы, — выщербленный плиточный с узором пол, обычное окно — не на всю стену, как в В-2, — бронзовые щеколды на раме, покрытый той же эмалевой краской, кое-где облупившейся, подоконник, возле окна — выведенное из употребления белое вращающееся кресло без одного подлокотника, — сюда, к окну, уловив свободную минуту, выбегали покурить врачи и сестры этого отделения. Здесь появлялись иногда и сотрудники В-2, но, как я заметил, всегда поднимались по лестнице снизу, обходным путем (несколько раз и мне пришлось так подниматься), между тем я знал про серую дверь кладовки у торцового окна задолго до того, как, уже поставленный на непослушные ноги, был впряжен в высокую каталку, окаймлявшую меня с трех сторон, подобно трибуне на клубной сцене, и в сопровождении трех сестер — одна поддерживала меня сзади, другая везла следом капельницы на колесах, из которых в мои сосуды неспешно вливались жизненные силы, третья несла похожие на кейс пластиковые сосуды для отхо-

дов, к кейсам я был подключен шлангами, — сумел впервые доволочить себя до конца коридора нашего В-2. Иногда я думаю, сам себе не доверяя, почти в шутку, что это «параллельное» (никак не подберу взамен другое, не модное слово) отделение было воплощением памяти о какой-то давней больнице, должно быть, стоявшей на том месте, где позже выросли кубы современной клиники.

Первая налево от лестничной площадки в этом «старинном» (назову его так) отделении была моя палата, тесная каморка на одного, — оказываясь в ней, я тотчас чувствовал себя замечательно легко и уютно. Постель, всегда примятая и теплая, ждала меня — будто встал на минуту, тотчас успел замерзнуть и вот снова забираешься в оставленное тобой, не выветрившееся тепло. Радость уюта возникала в душе еще и потому, что в эту палату я по большей части попадал после длительных и нередко опасных приключений: искал здесь покоя, а иногда и спасения. Когда в силу обстоятельств я не мог возвратиться в В-2, счастливый случай помогал мне найти путь в благословенную палату (какое счастье оказаться в постели, постоянно хранящей твое собственное тепло!); оттуда, отогревшись и успокоившись, добраться до В-2 труда уже не составляло, — серая дверца кладовки была неизменно гостеприимно отперта.

Со старинной лестничной площадки, если идти не налево, в больничный коридор, а направо, недлинный тупичок вел к кабинету профессора. Профессор (имя забыл, хотя прекрасно знал, нередко с ним общаясь) был таким образом как бы «параллелен» нашему профессору К. из В-2, но не был его двойником. Наоборот, в отличие от нашего профессора, внешне и внутренне сдержанного, подтянутого, всегда белая рубашка с высоким воротником, безукоризненный узел галстука, этот явственно, напоказ обозначал свое настроение, шествовал животом вперед, халат небрежно натянут на плечи, седые волосы неприглажены. Профессора К. я видел только во время обходов: размеренным шагом он переходил от больного к больному, сопровождаемый почтительно следовавшими за ним врачами, и, сдержанно кивая головой и лишь изредка произнося несколько слов, слушал их доклады. С профессором из «старинного» отделения у меня установились дружеские отношения, я даже бывал у него в гостях. Он жил в большом собственном доме, вместе с братом, очень на него похожим, таким же барственным, вальяжным стариком, но много более экспансивным и

шумным. Брат профессора был оперный певец, бас, уже на покое. В доме имелась сауна, которую мы посещали: обшитое пахучими розоватыми досками банное помещение и небольшой бассейн. Вдоль кромки бассейна стояли развалистые кресла, накрытые махровыми простынями, — выбравшись из воды, брат профессора падал в кресло и, выставив вверх обширный живот, по которому сбежали торопливые капли, оглашал гулкое помещение романсами Шуберта...

Переход границы иных пространств, в которые я неожиданно попадал (и эта ясность, обоснованность моего пребывания в них), был сродни пересечению границы пространства прошлого, пространства памяти, куда я, чем дольше живу, тем чаще забредаю (ничуть не заботясь, чтобы забрести) из моего настоящего, — настоящее уже давно тянется единым днем и словно не собирается стать моим прошлым. Я всё обстоятельнее обживаю пространство памяти, до выбоины на тротуаре, до трещинки на знакомом оконном стекле, до запаха лаванды в ящике старого комода, до вкуса бабушкиных шанежек с брусникой (мое пирожное «мадлен»), которые уже давно никто из знакомых мне людей не печет, и с каждой найденной подробностью пространство памяти — тоже *другая реальность* — расширяется, мои путешествия в нем становятся все длительнее...

Просыпаясь среди ночи, я слышу глухо ахающие, как кузница пульса, ритмы из комнаты напротив: это внук «качает» из интернета, для меня непостижимого, скороговорку реперов, которую я могу осознать, но не в силах принять ни чувством, ни эстетически.

В иных пространствах я то и дело оказывался в зданиях, где стены, полы, потолки были прозрачными, из стекла, — там я часто встречал внука, он занимался своими делами, что-то писал, сидел у компьютера, проходил совсем рядом, касаясь рукавом стены, за которой я находился, — но меня не замечал. Я громко, что есть силы, окликал его, стучал в стекло, подавал ему знаки, поспешал рядом, — всё напрасно, он не поворачивал головы. Тоска сжимала мое сердце, я раскачивался в отчаянии, корчился от невозможности пробиться к нему, вступить с ним в общение.

Когда-то читал у Реми Шовена: пчелы в улее, перемещаясь в непрерывном движении, постоянно касаются друг друга лапка-

ми — одна лапок другой. В экспериментальном стеклянном улье пчелу помещали в некое иное пространство — она была как бы со всеми вместе, но отделена от остальных стеклянной стенкой. Пчела то и дело прижимала лапки к стенке, изредка другая пчела даже отвечала ей руко(лапко)пожатием через стекло, но судьба одиночки была решена — вскоре она погибала.

Сколько разочарований, какое отчаяние приходилось мне испытывать от этой гнетущей отделенности — стеклянными перегородками, а часто и без них: человек рядом — и не слышит, не замечает, смотрит сквозь тебя. Надрываешься в попытках дотронуться до него лапками, остановить его, сказать ему нечто... Кричишь от безысходности... Кажется, протяни руку, схвати, удержи, но я никогда не делаю этого, слишком внутренне ощутима непреодолимость, нас разделяющая...

Но случалось и наоборот: между тобой и человеком, кажется, не стекло — броня, и вдруг шаг к нему навстречу становится возможен, рука устремляется вперед, не чувствуя сопротивления, и на звуки голоса отзывается слух...

Доктор Гюнтер З., появлялся у меня в палате Intensiv Station по утрам с толпой совершавших обход врачей. Я только что выбрался из комы. Мне казалось, он как-то по-особому улыбается мне — грустно и будто желая, но удерживаясь сказать что-то. После обхода Г.З. задерживался в палате: вместе с помощником он еще некоторое время занимался мною...

Впрочем, может быть, это происходило и не в палате. Мне тогда часто казалось, что моя кровать находится под сводами тесного аркообразного грота, сплошь заросшего кустарником. В густой листве светились крупные цветы — бело-розовые и красно-розовые. В таком гроте старые мастера иногда изображали мадонну. Во время обхода — так мне представлялось — кровать выкатывали оттуда на свет. Дочь сказала мне недавно, что меня просто увозили в другое помещение, — я не замечал этого и сейчас не припоминаю.

Окружающее пространство оказалось удивительно подвижным, изменчивым. Я не в силах воспроизвести в памяти те три палаты, в которых поочередно находился во время пребывания в

клинике, Каждая из них предстает в моем воображении (так же, как виделась мне, когда я там находился) во многих облициях. Когда я через несколько месяцев после того, как меня перевели из реанимационного отделения (Intensiv Station) в общее (просто Station), снова угодил туда, румяный юноша Михаэль, Krankenpfleger («ухаживающий за больными», то, что мы по-русски именуем не очень прижившимся словом «медбрат»), толкая каталку, на которую я был погружен, остановился у какой-то двери: «А вот здесь вы лежали прошлый раз». Я взглянул — и увидел совершенно незнакомое помещение. Картина не восстановила в памяти прошлое, а лишь прибавилась как еще одна к метаморфозам, которые совершало перед моим мысленным взглядом обступавшее меня пространство.

Одиночная палата на станции В-2, когда вспоминаю ее, и поныне предстает в воображении магическим вертящимся кубом, то так, то этак, по горизонтали и по вертикали поворачивающимся вокруг. Входная дверь появляется то в ногах, то у изголовья, перемещается мебель, темный прямоугольник — репродукция картины Шагала с лошадиными и коровьими мордами — обнаруживается справа и слева, иногда и вовсе чернеет на полу или повисает над головой.

Позже, когда я уже долеживал свой срок в общей палате (на троих), крепче всего держалось за свое место — всегда по правую руку — огромное во всю стену окно. За стеклом широкое небо и громоздящаяся зеленым облаком купа деревьев; в ветвях одного из них мне почему-то виделась известная картина Серова — царь Петр со свитой, шагающий навстречу ветру по берегу пустынных волн, где будет заложена новая российская столица, — только у меня царь не мерял землю верстовыми шагами, а ехал верхом на таком же, как он сам, высоком тощем коне. Я называл своего упрятого в сплетении ветвей Петра — Медным Всадником, хотя он и отдаленно не напоминал могучего властелина, изваянного Фальконе. Осень вступила в свои права, с деревьев облетали листья, мой Медный Всадник вовсе сделался похож на Дон Кихота, странствующего на жалком своем одре...

Живот у меня был распахнут, Г.З. погружал в меня руки, мощный поливал сверху из лейки, как поливают цветы на подоконнике. Иногда Г.З. взглядывал на меня и улыбался, — его серые

глаза были печальны. Мне это нравилось, мне хотелось, чтобы он однажды все-таки заговорил со мной, но он молчал. Я старался придумать, о чем бы спросить его, чтобы расшевелить на разговор, но никак не мог сообразить, о чем. Да и какую заведешь беседу с человеком, который копается в твоих внутренностях, — не о погоде же?.. Но, может быть, это мне позже стало казаться, что я искал разговора с ним, а тогда я просто радовался его лицу, улыбке, рукам, как материальным свидетельствам мира, в который вернулся из непостижимости небытия: первые дни (может быть, недели) этого постепенного возвращения слились в единое время бездумного покоя, когда чувства — надежда или отчаяние — еще не вернулись, не проклюнулись заново в душе, и я, странно свободный от них, плывал в ослепительной звенящей пустоте...

...Я пересекаю сквер, разбитый перед фасадом клиники, и сворачиваю на боковую тропинку, которая выводит меня к широкому пустырю, — вдали высится серый бетонный параллелепипед недостроенного фабричного здания с зияющими проемами окон, перед ним зеленеет отгороженное со стороны тропы металлической сеткой капустное поле. Тугие кочаны, выбравшись из-под земли, кажется, глазают на проходящих мимо. Два смуглолицых работника срезают их длинными ножами, укладывают в корзины и грузят в небольшой грузовичок с низкими бортами. Я одолеваю пустырь и выхожу к узкому длинному оврагу с осыпающимися краями; цепляясь за сухие ветки кустарника, спускаюсь вниз, по шаткой досочке перебираюсь через узкий ручей, на дне которого валяются видные сквозь желтую воду осколки бутылок, заржавевшие консервные банки, растерзанные велосипедные шины, обрывки колючей проволоки, потом снова карабкаюсь вверх, уже по противоположному склону оврага, и, наконец, оказываюсь на упирающейся в овраг улице какого-то города, незнакомого, но бесчисленно виденного. По обе стороны безлюдной улицы стоят двухэтажные барачного типа строения, кое-где перемежаемые пятиэтажками из белого силикатного кирпича. Мостовая перерыва, вдоль траншеи тянутся черные большого диаметра трубы. Я бреду, отражаясь в темных окнах, кажется, пустых домов. Лишь изредка отражение исчезает, смазанное натянутой за стеклом занавеской. Спустя некоторое время я замечаю идущего мне навстречу доктора Г.З. На нем черный плащ. В руке жидкий букетик белых гвоздик. Он грустно улыбается мне: «Вот где теперь

приходится встречаться». Так говорят обыкновенно, встречаясь на похоронах. Я с удивлением понимаю, что Г.З. говорит по-русски. «Мое имя Владимир Иванович», — он улыбается ласково, даже как будто недоуменно. Едва приметным жестом он приглашает меня следовать за ним. Мы сворачиваем в переулок и скоро подходим к спрятавшемуся в его глубине небольшому православному храму. Сквозь проем отворенной двери виден мерцающий в сумраке иконостас, красные, лиловые, зеленые огоньки лампад. Прежде чем войти Владимир Иванович крестится трехперстием, справа налево, как крестятся православные, которых на Западе называют «ортодоксами». Я ожидаю застать отпевание, и это волнует меня, потому что не знаю, кто умер, и боюсь узнать, но в полутемном храме, кроме нас, никого нет. Г.З. (или Владимир Иванович), не задерживаясь, спешит дальше. Низкая дверца справа от алтаря, такая низкая, что приходится сильно пригнуться, выводит нас снова на улицу. Оказывается, уже наступила зима. Перед нами заснеженный холмистый простор. День не солнечный, но светлый. Небо за облаками напоено светом и много снега вокруг. Чистый белый снег — направо, налево, вперед, до самого горизонта...

(Здесьними бесснежными зимами я часто думаю о снеге. Вспоминаю лыжные прогулки с друзьями, — зовущие в лесную глушь просеки, которыми любил ходить, темные ели, ссутулившиеся под белыми тяжелыми воротниками, исчерченные длинными лыжнями поля. Вспоминаю заваленный снегом московский двор моего детства, снежные горы и крепости, дорожки, которые по утрам прогребает деревянной лопатой в сугробах, дворник Афанасий — на самом деле у него фамилия Афанасьев, но все зовут Афанасием, — приземистый, с рыхлым угреватым носом старик — так нам, детям, казалось, — снеготаялку — поставленный на сани высокий бревенчатый ящик с печью внизу, мы помогаем дворнику забрасывать в ящик снег, радуясь темной бурлящей воде, хлещущей из отверстия в срубе...

Вспоминаю ту, может быть, главную в нашей с тобой жизни зимнюю ночь: мы идем по тускло освещенному московскому переулку, поземка, жесткий снег колет лицо и, кажется, оставляет рябинки на коже, мы еще и представить себе не можем, как много у наспереди... Радость моя...

Недавно мне приснился сон, один из немногих нынешних, который запомнил, — наверно, потому, что проснулся, не досмотрев: в Москве, у Чистых прудов, я выхожу из метро, площадь, бульвар, окрестные улицы, всё белым-бело, и люди вокруг, старые, и молодые, и дети, весело, азартно играют в снежки, я едва успеваю оглянуться, уже чувствую, как крепко слепленный снежок летит мне прямо в лоб... Просыпаюсь...)

...Широкий белый простор, куда вывел меня Владимир Иванович — старинное кладбище. Не регулярное, с прямыми дорожками, вытянувшимися строем могилами, — кресты и памятники разбросаны в беспорядке, тут, там, избегают на отлогие холмы, прячутся в ложбинах. Мы приближаемся к неглубокому овражку, внизу, на дне его, я вижу большую черную плиту. Владимир Иванович объясняет, что это могила святой (не помню ее имени, кажется почему-то, что на «П», — искал в святцах, в житиях — нет, не вспомнил), святой очень строгой, многое в моей судьбе зависит от ее благоволения. Владимир Иванович протягивает мне свернутый в свиток лист бумаги, исписанный церковно-славянским шрифтом, предлагает прочитать акафист. Я спускаюсь в овражек, в мои ботинки набивается снег. Кое-где путаясь в буквах, я читаю текст, мне страшно, спиной я вижу, стоящую позади меня на краю оврага высокую узкую старуху с воздетыми к небу руками, в черном одеянии и черном плате до бровей...

(Все это и сегодня стоит перед моими глазами, но, когда хочу передать в слове, чувствую, как между «мысленным взором» и словом пролегает какой-то неодолимый рубеж: образы, такие значимые и емкие, пока живут в памяти и воображении, становятся плоскими, как поверхность бумажного листа, на которую они перебираются. Борис Зайцев говорил, что писание есть галлюцинирование. Соответственно, успех писания связан с тем, насколько рожденная тобой галлюцинация вызывает необходимую галлюцинацию у читателя, основанную на его душевном и чувственном опыте. Но при описании моих «странствий» я пытаюсь образами окружающей меня реальности передать *другую реальность*, только мною изведенную и прочувствованную; в каком-то смысле это «случай Лазаря». Или, если угодно, «случай апостола Павла», когда пишет он про человека (про себя?), который «в теле ли — не знаю, вне тела ли — не знаю: Бог знает, — восхищен был до треть-

го неба... и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Не хотелось бы только, чтобы в этом признании заподозрили мою гордыню, сознание некой моей особенности, — вовсе нет, ищу только убедительнее передать свою мысль. Апостол (чтение его для меня обычно затруднительно, но это не ко времени разговор) очень точно, именно так, как мне хотелось бы, завершает: «таким человеком могу хвалиться; собою же не похваюсь, разве только немощами моими». Когда пишу о своих «странствиях», чувствую, как сопротивляются, не желают одна к другой притираться та реальность, что является перед «мысленным взором», и она же воплощенная в слове. Всё так и не так, и до боли остерегаюсь фальши, и знаю, что не избегну ее...

Неподалеку от черной плиты святой, на заснеженном взгорке — два почти одинаковых, необычных памятника, один возле другого: по белому мрамору гирлянды белых фарфоровых цветов. Я откуда-то знаю, что здесь похоронены два брата, владевшие некогда писчебумажным магазином, что мой отец мальчиком-гимназистом, покупал у них тетради, карандаши и перья. Я еще застал в ящиках письменных столов, в шкафах у старших эти тетради с давно ненужными, но дорогими как память текстами; мне в детстве очень хотелось иметь такую — черный блестящий ледериновый переплет, глянцевая бумага, зеленоватые линейки графления. У нас дома хранилась также старинная ручка для пера — палочка из белой резной кости в виде каната, завязанного на конце морским узлом; никто никогда не писал ею, она лежала на книжной полке, в уголке, осколком времени (с недавних пор я сильно жалею, что не подарил ее Юрию Давыдову, — он до конца дней писал по старинке, макая ручку с пером в чернила, да и корабельный канат ему, бывшему моряку, подходит, — но слишком поздно в голову пришло). Теперь мне кажется, что эта ручка — из писчебумажного магазина погребенных под фарфоровыми памятниками братьев. Людей этих я никогда в глаза не видел, они умерли, когда меня, наверно, еще на свете не было, но я хорошо помню их — услужливых, несколько суетливых мужчин в черных визитках, с ласковыми маслянистыми глазами, аккуратными проборами и эспаньолками. Я даже помню их жен, стоявших за прилавком или сидевших у кассы — рыжеватые, тонкая, припудренная веснушками кожа, темно-синие суконные платья с кружевным во-

ротничком, часы-медальоны на серебряной цепочке. Мне отчего-то дороги эти два нежных фарфоровых, будто игрушечных памятника на засыпанном снегом взгорке: они пробуждают в душе томящее чувство навсегда утраченного, но еще живущего во мне, не продолженного в следующем поколении мира: какие-то лица, неизвестные и, чудится, хорошо знакомые по фотографиям из старинных альбомов в бархатных переплетках с посеребрёнными застёжками, темноватые гостиные, мебель, которая давно сделалась достоянием антиквариата и мусорных свалок, тяжелые гардины со шнурами, тускло поблескивающие рамы гравированных репродукций по стенам, этажерки, уставленные фигурками и вазочками, ширмы с китайским шитьем по шелку, бамбуковые жардиньерки со струящейся к полу зеленью бабьих сплетен... Всё это возникает передо мной, влечет, обжигает душу вместе радостью и грустью, и снова растворяется в заполненной минувшим пустоте то ли прошедшего, то ли пройденного времени.

Я еще не раз окажусь в этом заснеженном (всегда заснеженном) поле, буду читать акафист над черной плитой, слушать, как звенят фарфоровые цветы на взгорке у писчебумажных торговцев, здесь со мной будет происходить что-то, прочно зацепившееся в памяти или ныне забытое, но чему, возможно, еще предстоит заявить о себе в иное время и при иных обстоятельствах.

Картины «странствий», которые я совершал, стали неискоренимой частью моего прошлого, в которое я постоянно погружаюсь, выхватывая, часто без всякого прилагаемого усилия, страницы и целые главы, чтобы снова осмыслить и перечувствовать их, — стали частью меня. Я уже не могу без них. Память о моих «странствиях» настигает меня так же, как память о всей моей прожитой жизни, перемешиваясь в целое с иными ее картинами и сюжетами.

В памяти теснится множество образов — спутники, которыми одарили меня «странствия». Многие из них, в пору моих скитаний столь естественно ко мне являвшиеся и не вызывавшие ни малейшего удивления, видятся мне теперь весьма странными. Начни я ныне придумывать себе таких знакомцев давних («знакомцы давние, плоды мечты моей»), мое воображение вряд ли рискнуло бы создать многих из тех, с кем довелось проводить напряженные, насыщенные интереснейшими событиями минуты и (или) часы

(осознание протяженности времени отсутствовало). Была там, например, черная африканская принцесса замечательной красоты, — однажды в решительную минуту мы бежали с ней через необозримое пространство, заросшее выжженной солнцем травой, бежали с такой скоростью, что всё, попадавшееся нам навстречу, проносилось по обе стороны от нас, как бы увиденное из окна скоростного поезда. Был латыш, планерист и парашютист, иногда выручавший меня из отчаянных положений; шесть его дочерей, рослых, крепких девушек я знал в лицо и поименно. Был старенький немецкий профессор со старенькой профессоршей: на чердаке их по-старинному убранного дома располагалось целое государство, что-то вроде Лилипутии, — маленькие, точно игрушечные города, разбросанные по берегам озера, крошечные человечки, ремесленники, крестьяне, торговцы, солдаты, матросы, то занятые своими будничными делами, то начинавшие воевать, или строить что-то, или снаряжавшие корабли, бороздившие водную гладь. В одном из городов на берегу того же озера — и город, и озеро уже в натуральную величину, но при этом странно разместившиеся также на чердаке профессорского дома, — жила знакомая мне пара русских журналистов, издававших литературный журнал девятнадцатого столетия (в нем между прочим печатались русские переводы романов Диккенса) и вместе агентов советской тайной разведки, производивших для чего-то эксперименты с экзотическими животными, вроде прирученных легуанов, которые водятся на Галапагосских островах. Был среди этих «знакомцев давних» также молодой человек с наглыми усиками, фланер и волокита, в вызывающем сиреновом костюме, о котором я знал, что на самом деле он бубновый валет, была и дама с горячей смуглой кожей и красной розой Кармен в черных гладких волосах, — время от времени я совершал с ними дурманящие эротические поездки в роскошном салоне-вагоне, за окнами которого сменялись великолепные гористые пейзажи таких форм и красок, какие найдешь только на иллюстрациях рекламного журнала дорогого бюро путешествий... Со всеми этими людьми я постоянно встречался в моих «странствиях», с одними охотно, ожидая встречи с ними, с другими без всякого желанья, иногда и со страхом или неприязнью, встречался потому лишь, что начавшееся «странствие» заводило меня в пространство их обитания. Сейчас эти таинственные спутники живут в моей памяти равноправно с прочими спутниками

моей долгой жизни — в конечном счете с каким-нибудь латышским планеристом или бубновым валетом пережито вместе не меньше, чем с многими из тех, чьи имена еще держатся в моей телефонной книжке или уже вычеркнуты из нее.

Г.З. (или Владимир Иванович), наверно, потому особенно привлекателен для моей памяти, что в нем очень явно совмещались эти две ипостаси — Г.З. и Владимира Ивановича (привлекательно уже само перевоплощение); он к тому же чаще других (хотя и с некоторыми другими такое случалось) оказывался рядом со мной то в пространстве клиники, заключенном в серую кубическую коробку на окраине города, то — иной раз мгновенье спустя — в беспредельных пространствах моих скитаний. Мы, например, встречались с Владимиром Ивановичем (Г.З.) в Америке, куда я иногда перемещался по какой-то неведомой мне теперь необходимости. Там я непременно оказывался в одном и том же городе (Нью-Йорке?), на одной и той же улице (вдруг неожиданно — и уже стою на знакомом перекрестке). Когда я по этой, известной до подробностей улице направлялся к отелю, мне всякий раз попадалась навстречу смешливая стайка девушек из расположенного рядом с отелем бюро, — в этот час у них похоже был ланч; девушки знали меня в лицо, как и я их, и весело со мной здоровались. В отеле я занимал всегда один и тот же номер, совершенно круглую комнату с крепостными каменными стенами и узкой по всему кругу прорезью окна под потолком; мебели никакой не имелось. Когда приходил Владимир Иванович (Г.З.), мы садились на пол, остро согнув колени и привалясь спиной к стене, курили завернутую в сигарки травку и вели долгие беседы. Я никогда не курил травы, но теперь явственно знаю ее запах и вкус, губами, пальцами ощущаю обслоненную, расплюсченную закрутку. Я познакомился с женой В.И., худощавой, в больших очках, с выкрашенными в рыжий цвет волосами, и с их дочкой (Аля? Ася?), такой же сероглазой, как отец, с его же неуловимой улыбкой, — прелестный подросток в короткой юбочке. Девочка сочиняла стихи (по-русски), даже посвятила мне одно стихотворение, которое старательно переписала, выведя фломастером в начале каждой строфы большие красно-черные инициалы. Мне все кажется, что листок со стихами хранится в одной из многочисленных папок, стоящих у меня на полке (я даже знаю, в какой), но я не принимаюсь искать его — боюсь не найти.

В отличие от других, с кем мне доводилось встречаться в странствах, куда я то и дело забредал, В.И. (Г.З.) был не только моим спутником, но, пожалуй, в большей мере, собеседником. Теперь уже не воспроизвести наши беседы, тем более нелепо задним числом строить диалоги, — глубокой ночью я сижу на кровати, пью остывший чай и не столько думаю направленно о чем-нибудь, не столько даже вспоминаю, сколько просто перебираю и сопрягаю то, что приходит в голову. Г.З. (В.И.) не оставляет меня, потому что говорили мы с ним о том, что с отроческих лет и поныне является одним из главных, а временами и главным предметом моих раздумий, часто мучительных и мучающих. В нынешнюю мою позднюю пору раздумья о сем «предмете», уже не по склонности к метафизическим построениям, но по насущной необходимости, не всегда сознаваемой, но непременно чувствуемой, постоянно меня сопровождают. Смеею полагать, что без этих раздумий не обходится никто из доживших до такой поры (подчас не отдавая себе отчета в том, что — не обходится), впрочем, лучше, наверное, сказать — никто из живущих на Земле, тем более доживших до такой поздней поры. Даже отрицание (энергичное) самого «предмета», отстранение (опять же, в особенности энергичное) от него — непременно итог раздумий. (Старый масон в «Войне и мире» возражает Пьеру, признавшемуся, что не верит в Бога: «О ком же мы говорим с вами, если Его нет?»)»

На вопрос Наполеона, почему в его теории Вселенной не упомянут Бог, Лаплас ответил: «Я не нуждался в этой гипотезе». Лев Толстой, когда занес в дневник эту историю, прибавил: «А я без этой гипотезы не мог бы сделать в жизни ничего доброго» (он, правда, полагал, что история произошла не с Лапласом, а с Араго).

Мне было четырнадцать лет, я учился в восьмом классе и был влюблен в румяную девочку с золотой косой, которую звали Лилия. В нее же был влюблен еще один мальчик из нашего класса, мрачноватый, обидчивый, с прыщами на лбу. Я чувствовал себя красивее, образованнее и умнее этого мальчишка и, увлеченный соперничеством, не упустил случая в присутствии Лилии поиздеваться над ним. Я то и дело находил возможности уколоть его побольнее и лихо парировал его жалкие попытки противостоять мне словом. Звонкий смех Лилии был наградой победителю. Прошло некоторое время, приятели предупредили меня, что мой соперник призвал на помощь старшего брата, известного уличного бандита. У брата

было странное имя Захарий, его лоб, наверно, тоже угреватый, был закрыт челкой, он всегда носил в кармане финский нож. Захария недавно выпустили из тюрьмы, я часто видел его: один или с дружками, он сидел на покосившейся зеленой скамейке, стоявшей на пустыре, который я пересекал по дороге в школу, грелся на солнышке, курил и сплевывал себе под ноги. Мой одноклассник Юра Курносос, имевший какие-то дела с Захарием, сочувствуя мне, посоветовал прогулять неделю-другую, а там рассосется как-нибудь или, может быть, Захария снова заметут, и на всякий случай подарил мне финку с пластмассовой рукояткой розового цвета — рукоятку изготовила его знакомая, работавшая ученицей в зубопротезной мастерской. Ночью я представлял себе, как, обороняясь, стану орудовать ножом, но всякий раз, когда воображение приводило меня к моменту нанесения удара, рука моя теряла силу и крепость, ее движение чудилось мне производимым в толще воды. Я спрятал финку под шкаф, потому что это было холодное оружие, запрещенное уголовным кодексом.

Я боялся Захария и, собираясь в школу, мысленно прощался с жизнью; прогуливать я тоже боялся: мать очень строго относилась ко всему, что касалось учения, долгие объяснения с ней были всегда нестерпимы. Настал день, когда, выйдя на пустырь, я увидел, как Захарий, поднялся со своей скамьи и неторопливо направился ко мне. Он шел, низко опустив голову, глядел исподлобья и нарочито покачивал плечами. Я знал, что дело мое плохо, что это, может быть, мой последний час; страх, бессилие, неспособность что-нибудь предпринять — всё сошлось в моей съезжившейся душе, мыслей никаких не было, — я видел серую пыль пустыря, неустрашимо приближающегося Захария и чувствовал только, как мне трудно переставлять ноги, сокращая расстояние между нами. И вдруг я понял, что я — пою. Тихо, заунывно мычу себе под нос, как обыкновенно мычат наедине с собой люди, не одаренные ни музыкальным слухом, ни тем более певческим голосом, к коим я принадлежу. С детства зацепилось в моей памяти ритмическое соединение нескольких непонятных слов, которые я почему-то считал цыганскими (до сих пор так и не пытаюсь расшифровать их), я шел навстречу Захарии и вдруг понял, что снова и снова упорно повторяю эти слова, тонким голосом мыча их себе под нос на мотив арии Торедора. И как только я понял это, я понял также, что это я не пою, а — молюсь, что я не просто выбрасываю в воздух непонятный мне самому набор слов, а обращаю их к Кому-то, Кто

должен спасти меня, избавить от надвигающейся беды. В эту минуту я не искал перевода слов (да и некогда и не до того было, чтобы искать), но вдруг почувствовал, что слова эти — ниточка, связующая меня с Тем, в Чьих руках обретается моя судьба, может быть, с самой судьбой: я не уверен, что тогда уже четко сознавал раздельность понятий *Тот* и *То*. Захарий был уже совсем рядом, его прикрытый челкой лоб и широкие качающиеся плечи надвинулись на меня, и вдруг — его не стало больше, он, не коснувшись даже словом, будто проник сквозь меня со своим лбом и плечами — передо мной открывалась серая площадка пустыря, слева зеленая скамья, мимо которой я теперь проходил, и впереди, в отдалении, кирпичное четырехэтажное здание школы. Мне почудилось, что все это было не на самом деле, я оглянулся — и увидел удаляющуюся крутую спину Захария, обтянутую кургузым светлым пиджаком. Я еще несколько раз встречал его, уже не страшась. Вскоре он исчез: кажется, его опять посадили. Лиля с ее румяными щеками, золотой косой и звонким смехом мне почему-то разонравилась, и это, похоже, ее не огорчило. Мальчику с прыщами на лбу она тоже разонравилась. А я во время классного шахматного турнира нарочно проиграл мальчику партию, и мы, хоть и не сделали друзьями, стали смотреть друг на друга дружелюбно.

Я люблю легенду о Моисее и пастухе. Однажды Моисей увидел в поле пастуха, который совершал какие-то странные движения, взмахивал руками, подпрыгивал, кричал что-то несуразное, обратив лицо к небу. Приблизившись, Моисей понял, что пастух молится. «Разве так учил я вас молиться!», — разгневался пророк и замахнулся на пастуха посохом. Но тут из вышины раздался голос Бога: «Оставь его, Моисей! Разве ты не видишь? — Он любит Меня. Он молится от всей души, как умеет»...

Когда Алик умирал и наши разговоры, всегда откровенные, достигли уже предельной откровенности (наверно, лучше назвать ее беспредельной), он сказал мне, что всегда, что бы ни делал (а сделал он как ученый и как наставник ученых очень много), полагался на себя самого, Бог не участвовал в его расчетах: человек — творец своего земного существования, а иного существования в системе эволюции не предусмотрено. Алик умирал прекрасно, целиком отдавая себя своему наполненному делом земному существованию: последние месяцы жизни он именовал «болдинской осе-

нью». Он верил в земное как в высшее и строил земное как высшее. То, что наука и вера в Бога — понятия противостоящие, было для него не заученной с пионерских времен формулой, а ясным, выношенным убеждением. Я напомнил ему про *великое Быть Может*, он невесело усмехнулся и отвечал, что для него это не более, чем обычное *быть НЕ может*. *Быть Может* означает недоказуемое, тогда как наука требует четких обоснований и доказательств. Странно, но при этом Алик был суеверен: перебежавшая дорогу кошка могла омрачить ему настроение. Перед смертью его томило одно логически никак не обоснованное совпадение, которому он придавал мистическое значение. Может быть, суеверие — перебежавшая дорогу кошка — по-своему удовлетворяет потребность в вере. Человек живет с ожиданием *осуществления ожидаемого и уверенностью в невидимом*, как определил веру апостол Павел, — без этого невозможно действовать в пределах земного существования; вне его пределов очевидно должна отсутствовать и сама потребность в вере. Суеверия, отвергаемые церковью, стараются обнаружить таинственную связь (подчас, без сомнения, кажущуюся или вовсе ложную) явлений и предметов, ни по сути своей, ни логически не сопрягаемых друг с другом. Но сам факт возникновения суеверия более значим, нежели его содержание. Паскаль, олицетворявший сложное единение науки и веры, назвал три рода людей: одни нашли Бога, другие не нашли Его, но стараются отыскать, третьи не нашли и не ищут. Но нельзя ли предположить, что и сам Бог (иной раз через суеверие) ищет, старается отыскать человека. Библия полнится суевериями. А для неверующего сам Бог — суеверие. У Паскаля читаем, что непостижимое тем не менее существует. (Мой Владимир Иванович — Г.З. — был, похоже, неравнодушен к Паскалю.)

В книге «Быт пушкинского Петербурга» (единственная, которую я осилил за долгие больничные месяцы) нашел использованный вместо закладки листок из календаря. На листке — несколько слов, нацарапанных карандашом: попытка записать то, что хотелось запомнить.

...Ночная сестра уже давно выключила свет, но сна ни в одном глазу. На душе светло, спокойно, словно бы меня и нет вовсе. Вдруг я чувствую, кто-то кладет мне на лоб теплую, тяжелую ла-

донь, и даже слегка нажимает, чтобы я почувствовал, что у меня на лбу лежит рука. И в этот момент справа, в темном окне, возникает кусочек пейзажа, именно кусочек — он занимает не все окно, только часть, будто картина повешена на черноту стекла. Идущая из глубины истоптанная полоса дороги, по обе ее стороны серые пыльные кусты, затянутое облаками небо. По дороге движется ко мне седой сгорбленный старичок в монашеском одеянии, похожий на нестеровского пустытника, он подходит совсем близко, говорит что-то, я не схватываю (или уже не помню), что, обернувшись, показывает мне на кого-то, кто следует за ним, и исчезает. Я вижу на дороге пятно неяркого света и лишь постепенно различаю в середине пятна женскую фигуру. Окутанная светом, так, что облик ее рассмотреть невозможно, женщина будто плывет над землей. Свет мягко облегает ее контур, не распространяясь вширь, не освещая ничего кругом. Она как бы втекает в помещение, где я нахожусь, склоняется надо мной, произносит: «Это тебе» — и тоже исчезает. У меня в ногах остаются три положенных один на другой ломтя серого хлеба, отрезанных от кирпичной буханки (в последние десятилетия я таких буханок и не видел, разве что в дальней провинции где-нибудь). Хлеб несвежий, обветренный, верхний кусок — от края, корка, мякоть на нем уже кем-то выщипана, выедена. Я обеими руками беру хлеб и начинаю жадно есть, кусая сразу все три куса поперек, как бутерброд. Когда хлеб съеден, меня охватывает радостное чувство ожидания чего-то неизведанно хорошего. Я по-прежнему лежу без сна и смотрю на упирающуюся в мое окно пустую дорогу. Понемногу меня начинает донимать желание поесть еще такого хлеба, я гоню желание прочь, полагая, что грешно требовать большего, чем получил. Но вдруг снова слышу голос: «Это тебе» — и тут же нахожу на столике возле кровати несколько сухарей из той же буханки, длинных, нарезанных во всю длину ломтя. Я съедаю их, размачивая в стоящем на столике стакане с минеральной водой. Спустя некоторое время голос раздается в третий раз — те же слова, — и тут посреди окна вместо дороги оказывается округлая, как земное полушарие, гора, — приглядевшись, я понимаю, что это не настоящая гора, а огромная сайка, почти вломившаяся в мою палату: «Это тебе». Во рту, на языке, забытый вкус крутого, кисловатого теста. Мне так хорошо, что я не могу сладить с нахлынувшим чувством. Резко нажимаю звонок и прошу у поспешившей на зов ночной сестры снотворное...

Однажды ночью, по причине сильного недомогания, меня доставили из обычного отделения, куда я был уже переведен, обратно в реанимацию, и там, к моей радости, вручили попечению оказавшегося на дежурстве Г.З. Склонившись надо мной, он сосредоточенно колдовал со шприцами и капельницами. Недомогание потихоньку отступало, душа успокаивалась, веки тяжелели, устало и преданно я смотрел на Г.З., иногда и он ловил мой взгляд, чудилось, сейчас скажет что-то, но он, по обыкновению, молчал, как всегда молчал здесь.

Усталость потворствует власти здравого смысла, а здравый смысл со злорадной внятностью нашептывал мне, что все бесцельно повторяющиеся встречи с Г.З. (Владимиром Ивановичем), все их сюжеты, обстоятельства, подробности, такие живые, осязаемые, достоверные, — всё небыль и совершенная невозможность, что пространство моей жизни ограничено обтянутым простыней прямоугольником кровати, находящейся в двух тысячах километрах западнее Москвы и примерно втрое дальше на восток от Нью-Йорка, — так что какие тут могут быть Красные ворота и американские гостиницы с круглыми комнатами. Даже недолгий путь из отделения до кабинета Г.З., где я теперь находился, я проделал, не слезая с кровати, — ноги мои заново ходить пока не научились, — ни при каких особых обстоятельствах я не в силах обычным образом самостоятельно преодолеть это расстояние, чтобы задушевно побеседовать с дорогим другом, покурить заповедной травки...

Я поймал руку Г.З. и задержал в своей. «Мне очень дороги наши беседы», — сказал я тихо. Г.З. осторожно, но быстро отнял руку и взглянул на меня печально и недоуменно. «Неужели это ответ? — подумал я. — Но я так много знаю об этом человеке, чего он, скорей всего, и сам в себе не предполагает, я так долго и близко общался с ним, так много сокровенного между нами сказано... Неужели все это и впрямь соткано из ничего?.. И так ли уж обязана моя жизнь ограничиваться пространством, верноподданным здравому смыслу, этим прямоугольником кровати, обтянутом больничной простыней?..»

В отчаянии надежд бесцельных // высокий ум поведал нам // способность линий параллельных // вдруг пересечься где-то там, // где за неведомой стеною// иная осень и весна, // где время

движется иное, // пространств иная кривизна... // Мечта взамен путей прямых // ведет дорогой рудознатца // к пересечению прямых, // рожденных не пересекаться...

Г.З. заклеил что-то пластырем в ямке на моем правом плече, стянул резиновые перчатки, печально улыбнулся мне на прощанье, — почудилось, сейчас что-то скажет, но не сказал.

«...Нам еще предстоит открыть все то, что наше нынешнее ограниченное знание исключает как невозможное, — пишет К.Г.Юнг. — Наши понятия о пространстве и времени очень приблизительны, и существует огромное поле для всякого рода отклонений и поправок. Зная все это, я не могу не прислушиваться к странному мифам моей души...» Он вспоминает «некие предупреждения» из этого неведомого нам поля пространства и времени, предупреждения таинственные, подчас узнанные, уясненные лишь задним числом, его вывод протягивает руку надежде: «Отвергнувшийся миф шагает в ничто». Когда я прочитал это, подумал: если однажды попробую описывать все, что со мной происходит, возьму эпиграфом.

3

«...Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле»... Манящая поэзия псалмов...

Чаю до утра обычно не хватает. Надо заваривать новый. С вечера я завариваю только на одну кружку, после чего тщательно мою заварочный чайник. Я пью остывший чай из кружки, но никогда — из чайника, в котором, когда сливаешь остывшую жидкость, остается на стенках бурый осадок. (Есть, впрочем, ценители, считающие такой осадок необходимым компонентом хорошей заварки. Я к ним не принадлежу.)

Я свешиваю ноги с кровати и остаюсь сидеть, неспешно утверждая на полу непослушные ступни. Болезнь научила меня наперед обдумывать каждое движение: теперь это чаще привычка, чем необходимость. Я стал двигаться медленно, как бы заранее разделяя движение на отдельные кадры. Марк Галлай, известный

летчик-испытатель, говорил, исходя из опыта своей опасной работы, что быстрота не в торопливости движений, а в отсутствии промежутков между составляющими процесса. Испытывать самолеты я бы теперь не мог (впрочем, и раньше тоже, по другим причинам). Я сижу на краю кровати и прикидываю, что и в какой последовательности буду делать дальше. Надену толстые носки (они заменяют тапочки, в которых мне ходить неудобно)... Слегка выставлю вперед левую ногу (никогда прежде не знал, что, если ноги по-разному нехороши, то, поднимаясь, надо выдвигать ту, что лучше), придерживаясь за стол, встану в рост... Дойду до гвоздя, справа от двери, на котором висит халат... Накину халат... Сделаю шаг в коридор... Включу свет... Поверну направо — в кухню... И т.д. В отличие от летчика-испытателя я не подгоняю одно движение вплотную к другому — медлю, останавливаюсь, задумываюсь. Затягивая пояс халата, могу, например, заглядеться на картинку, висящую рядом на стене: берег Немана, хвойный лес, тревожное облачное небо над водой... Акварель сделал мой друг Адельбертас, литовский художник.

В Порудамини — 16 километров южнее Вильнюса — я попал лет двадцать назад. Местечко, наверно, сильно пострадало от войны: едва не все дома отстроены заново. Было осеннее дождливое утро, остро пахло землей и какими-то травами, которыми заросли улицы и дворы. Вокруг ни души: оказался — удивительно кстати — католический День Поминовения; древняя сгорбленная крючком старуха, говорившая по-польски, единственная, кого я встретил, объяснила мне, что народ в костеле, куда и она брела, опираясь на высокий, выше головы, посох. Костел в Порудаминах просторный. С деревянными некрашенными полами и белеными стенами, расписанными неведомым литовским Пиросмани. Потрескивали свечи, массивные (сравнительно с теми, что в православных церквях), похожие на комнатные, — я затеплил свою от огня у кого-то стоявшего рядом, расплавленный воск стекал на пальцы и застывал теплыми ломкими струйками. После службы жители местечка отправились на кладбище. Еврейских могил там не имелось. В годы войны в Порудаминах был еврейский рабочий лагерь: людей отсюда увозили убивать на Понары, литовский Бабий Яр. Старые могилы сжевала война и людское недоброжелательство. Я еще раз прошелся по местечку. Во дворах, остро пахнувших осенними тра-

вами, не видать было шагаловских синих петушков, желтых коз, белых лошадей и девушек с такими же, как у коз и лошадей, доверчивыми глазами...

Бессонница никогда не мучает меня. Я так же охотно не сплю, как и сплю, — думаю, вспоминаю, утишаю разумными доводами фантомные боли от пережитых обид, мечтаю, так, как мечтал мальчиком, наивно, несбыточно. Мечтаю, как стану замечательным вратарем и, подобно литературному герою моего отчества Антону Кандидову, не пропущу ни одного гола. Или — конечно же, тоже замечательным, пианистом (тут — простор представлять себе, что и как мог бы сыграть). Или — математиком, бьющимся над решением сложнейших задач. Мечтаю именно о том, что не было мне дано, даже хоть отчасти предуготовано в прожитой жизни. Еще моделирую свою судьбу, как она могла сложиться, если бы...

...Если бы, к примеру, мои родители в 1920 году уехали в Штаты — они тогда работали врачами в госпитале американского Красного Креста...

Или в 1922 году — в Берлин: отцу предложили отправиться туда для усовершенствования...

Если бы отца арестовали в 1937 году, что вполне могло случиться, или в 1952-м, во время охоты на врачей-убийц, чего лишь чудом не случилось (дело было уже заведено)...

Если бы в 1941-м милицейский капитан, по такой же неведомой случайности, вдруг в последний момент не переменял в нашем с отцом пропуске в Вильнюс (для посещения недавно присоединенной Литвы тогда требовался не только билет, но и пропуск), если бы этот неожиданный ангел-хранитель, горбившийся над канцелярским столом в неудобном милицейском кабинете, по причине, оставшейся для нас тайной, не переменял дату выезда, к нашему огорчению, с 19 июня на 26-е: мы отправились бы прямо навстречу немцам и вместе со всей семьей отца были расстреляны на Понарах...

Среди расстрелянных был мой двоюродный брат. Я никогда его не видел: он жил в Вильне, Вильнюсе, в Польше (последний перед войной год — это уже Литва) — за граница. Наша первая встреча должна была состояться 22 июня 1941 года. («Двадцать второго июня, ровно в четыре часа // Киев бомбили, нам объяви-

ли, // что началась война», — песенка тех лет на мотив популярного «Синего платочка»...) Нас было всего два мальчика в нашем поколении рода: только он и я как бы оказались призваны продолжить род, нести дальше фамильное имя. У меня это не получилось — дочери. Впрочем, задача продолжения рода, помнится, никогда меня не занимала. Хотя, кто знает... Если бы уцелел сын, который должен был родиться (мы уже называли его Сережиком)... Но я не о том. Просто случайно свернул мыслью в другой переулочек — вспоминаю, думаю, перебираю варианты. Прошлое полнится сослагательными наклонениями, притом, что каждый отдельный вариант причинно обусловлен. Но расклад причин и следствий начинается чуть позже, отстает от «монтажа аттракционов», создаваемых воображением. Ночь упрямым ветром наполняет паруса памяти, гонит корабль. Стариковская память подобна обратной перспективе. В иконе. В сновидении. Чем дальше, тем неохватнее ширь и глубь. Случайно оброненное в мыслях слово выстраивает цепь картин, ему предшествующих.

(Мы уже давным-давно не вспоминали тот пасмурный осенний день, когда ты, Радость моя, облавив все пункты заброшенной Богом российской глубинки, обозначенные в командировочном удостоверении, шагала в городского покроя пальто и высоких резиновых сапогах по обочине с незапамятных времен размолотой в кашу дороги. Автобус в обещанный час не пришел, сказали, его нынче и вовсе не будет, испортился, а ты спешила в райцентр, к вечернему поезду. Водитель попутной полуторки пожалел тебя (тройак, который он попросил, наверно, также укрепил в нем благое чувство жалости к ближнему). В кабине, рядом с водителем уже сидел кто-то, ты полезла в кузов. Машина, подобно дороге, была разбита временем и небрежением. Ее подбрасывало на ухабах, швыряло из стороны в сторону, доски кузова скрипели и грохотали, поддавали тебе в спину или вдруг исчезали из-под тебя, оставляя тебя как бы в невесомости, в ту, докосмическую эпоху еще немодной. Казалось, еще немного, грузовик рассыплется и посреди дороги останется лишь железный остов, как скелет верблюда в пустыне (такие тебе случалось встречать в Монголии). В поезде тебе стало худо, но нас воспитали людьми (по большей части бессмысленного) долга: с вокзала ты не поехала ни домой, ни к врачу — отправилась в редакцию. Там в уборной ты скинула. Продолжателю рода было бы теперь под шестьдесят...)

А двоюродного брата немцы расстреляли погожим летним днем, оставляя Вильнюс. Гетто к этому времени давно было ликвидировано, добывали рабочие лагеря, где еще держали живыми специалистов, приносящих пользу рейху. Когда Красная армия захватила город, тела расстрелянных лежали не тронутые тлением в незасыпанном из-за спешки рву. Надо полагать, машины, доставлявшие людей на расстрел, были в добром порядке — всё поdogнано, закреплено, смазано, где необходимо.

Наверно, мой двоюродный брат в последнее мгновение жизни, перед тем как принять пулю, успел поднять глаза, взглянуть на небо, на вершины деревьев, озаренные молодой зеленью. Очевидец многих расстрелов рассказывает, что приговоренные в ожидании выстрела обычно смотрят вверх (конечно, если расстреливают «на воле», а не под сводами подвала, воровски, в затылок). Когда я был на Понарах и представлял себя на месте брата, я тоже смотрел на небо. Больше всего на небо и смотрел. Не на камень. Не на проволочный овал прислоненного к нему, потрепанного венка. Правда, день был безотрадно тоскливый. Струи дождя падали на мое поднятое лицо и по шее стекали под воротник. Но у меня было много времени. А на расстрел тратилось гораздо меньше времени, чем на обслуживание грузового автомобиля. К тому же палачи руганью, понуканиями, ударами прикладов умышленно создавали суматоху. Здесь пусть не страх действовал — опаска, инстинкт: проще расстреливать людей перепуганных, мечущихся, чувствуешь сознание своей силы и их ничтожество. И все же мне хочется верить, что, расставаясь с жизнью, брат успел увидеть небо.

Недавно старая женщина прислала мне семнадцать торопливо исписанных крупным почерком листков. Бумага случайная — вырванные страницы блокнота, какой-то учетной книги. Это письма моего двоюродного брата к этой женщине, написанные из гетто и рабочего лагеря шестьдесят с лишним лет назад. В ту пору женщина, приславшая письма, только-только вступала в мечтательный возраст девичества, брат был в нее влюблен. Они подружились в гетто. Потом девушке удалось бежать. Ее прятала у себя в доме одна польская семья. Образовалась даже возможность иногда перекинуть к ней письмецо... Время обжелело края листков, прорезало их на сгибах, в некоторых местах стерло след карандаша. Я перебираю листки, меня не оставляет мысль, что эти письма мог

написать я. У Марка Твена есть странно смешная история: человек рассказывает про брата-близнеца, который утонул в раннем детстве, когда их вдвоем купали в ванне, но в конце выдает тайну — на самом деле утонул не брат, а он...

Я подолгу с любопытством читаю начертанные в воображении письма несостоявшейся, но возможной судьбы, и, читая, продолжаю писать их, переиначивать, пополнять...

...Я стою посреди пустынного — ни души — продуваемого ветром проспекта. Прямой, как стрела, проспект вычерчен выстроившимися по обе его стороны почти одинаковыми серыми прямоугольниками многоэтажных домов. Слева, откуда-то издалека, слышатся звуки военного марша. Барабан отбивает бодрый такт шага. Немецкая армия вступает в город. Я жду последний автобус, который должен — точнее: вроде бы еще может — появиться и увезти меня. Обернувшись налево, я нетерпеливо и тревожно всматриваюсь в дальний конец прямого, как стрела, будто упирающегося в закатное небо проспекта. Моя судьба зависит от того, что там покажется раньше, — желтый корпус автобуса или военная колонна. Я прижимаю к груди небольшой пакет с натянутым на подрамник холстом Шагала...

Когда бы ни проснулся, я сразу же замечательно точно, почти до минуты угадываю, который час. Привычка к ночи.

Древние евреи делили двенадцать ночных часов (от шести вечера до шести утра) на три стражи по четыре часа в каждой. Потом был принят римский счет — четыре стражи по три часа. Начало третьей стражи по древнееврейскому делению совпадает с ее окончанием по делению римскому (с двух до трех); к этой поре страхи, генетически погребенные в глубинах человеческой души как след растерянности, угнетавшей наших древних предков с наступлением темноты, сменяются пробуждением покоя, ныне уже незамечаемым ощущением безопасности после перенесенной тревоги, тем настроением утра, которое вечера мудренее (знаю по себе, хотя сам человек вечерний, ночной, «сова», по принятому теперь делению людей на «сов» и «жаворонков», — тучи на душе снова начинают сгущаться не в третью стражу, в более поздние часы). В третью стражу время для человека, спящего глубоким, здо-

ровым сном, проносится легко и неприметно. «...Перед очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как стража в ночи...» — говорит Псалмопевец.

В нашей семье долго была в употреблении простая фарфоровая прямоугольная чайница с навинчивающейся медной крышечкой (и сейчас, сломанная и некрасиво мною склеенная, лишь бы не развалилась, таится где-нибудь в кладовке). Если ее перевернуть, на дне — старинным шрифтом — дата: 1824. Чайница могла быть у Пушкина в Михайловском. Я любил представлять себе, как Пушкин отвинчивает крышку, длинными пальцами захватывает щепотку душистого китайского чая, бросает в чайник или кружку. Время от этого сжималось. Старшая дочь Пушкина менее десяти лет не дожидая до моего рождения. Я встречал людей, которые ее застали. Я был в добрых отношениях с семейством, в котором сошлись потомки Пушкина и Гоголя (племянник Гоголя был женат на внучке Пушкина).

«...Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет...»

Средний возраст русского писателя 18–19-го веков — времени русской классики — 57 лет. Вычислено весьма старательно. Вопреки расхожим представлениям о трагической судьбе служителей муз и, соответственно, о свыше им отпущенной недолговечности, лишь малая часть из них (6%) оставила мир в молодости, до тридцати лет. Возраст «большой крепости» — восемьдесят — пережило почти вдвое больше.

Двадцати двух лет расстался с жизнью Дмитрий Веневитинов. Ему оказалась не по силам «тяжесть атмосферы» (как выразился — не о Веневитинове, конечно, — мудрый Гете, сам выдюживший под этой тяжестью до девятого десятка и на семьдесят пятом году жизни вознамерившийся жениться на девятнадцатилетней девушке). Молодой русский поэт умер от меланхолии, от страсти безотрадной и от того, что, выходя с бала, простудился. Его обогнала лишь феноменальная Елизавета Кульман, опочившая и во все лишь семнадцать годов от роду. Девушка знала одиннадцать языков, на восьми говорила и чуть ли не со стольких же переводила стихами и прозой. В одной из эпитафий на ее надгробии (а их было сделано одиннадцать по числу знаемых ею языков) высказа-

но предположение, что Бог послал ее на землю не для того, чтобы оставить здесь, а чтобы только показать миру. Умерла она тоже от простуды — ее брат праздновал свадьбу, когда началось знаменитое петербургское наводнение, описанное в «Медном Всаднике».

Число «37» в табели писательского века не смотрится роковым: это Пушкин, да сто лет спустя Маяковский сделали его таким, — имеются числа, которые повторяются чаще...

Острослов Сергей Довлатов, услышав, как сетуют эмигрантские мамы, что их обамериканившиеся дети не станут читать Достоевского, отозвался весело: «Пушкин тоже Достоевского не читал — и ничего». Проживи Пушкин средний писательский век, он успел бы прочитать «Бедных людей» и «Двойника», «Белые ночи» и «Неточку Незванову», сотрудничал бы — или отказался сотрудничать — в некогда им основанном, но перешедшем в руки Некрасова «Современнике», не камер-юнкером, конечно, камергером, возможно, сенатором, следовал бы за гробом Николая Первого, дождался бы возвращения из Сибири друга бесценного Ивана Пущина.

Среди добрых друзей Пушкина находим Федора Глинку, писавшего огромные поэмы, в том числе и мистические, но оставшегося в памяти народной песнями «Вот мчится тройка почтовая» и «Не слышно шума городского». Федор Глинка испытал гонения, был в ссылке, даже в крепости сидел, что не помешало ему стать одним из главных долгожителей русской литературы. Федору Глинке отпущено было 94 года: родился тринадцатью годами раньше Пушкина, умер сорока тремя годами позже. Его девяносто четыре как бы сумма среднего возраста русского писателя и лет прожитых Пушкиным. Если бы Пушкину достался век его старшего приятеля (а ведь могло случиться — друг Вяземский дотянул до восьмидесяти шести), он — только представить себе! — ушел бы из жизни в 1893 году: пережил бы едва не всю отечественную классику, ныне ведущую от него родословную, — и Достоевского, и Некрасова, и Тургенева, прочитал бы «Войну и мир», «Анну Каренину» и многие иные сочинения своего четвероюродного племянника Льва Толстого, да что там — он и с Чеховым имел бы случай познакомиться. Сам же Чехов, ежели бы одолел средний писательский возраст как раз сумел бы хватить 1917 года; вздумай же он подражать все тому же Федору Глинке, скромно доживал бы в Париже, возможно, — не по умыслу, а по решению жюри, — отнял бы

у Бунина нобелевскую награду, а то, глядишь, задержался бы в Москве, помалкивал бы и подремывал на заседаниях секции прозы в Союзе писателей, как помалкивали и подремывали его задержавшиеся современники Телешев или Вересаев...

По-настоящему хорошо заварить чай здесь невозможно — мешает высокое содержание извести в воде. Как ни фильтруй, вода, едва закипает, становится белесой от клубящейся в ней известковой пыли. Район Кёльна, расположенный на восточном берегу Рейна, называется Кальк (в переводе — известь); когда-то Кальк числился отдельным городом — так он обозначен в старинных лексиконах. Положенный в чайник кусочек белого мрамора (так тут иногда делают, если не заводят фильтра) помогает немного. Между тем известь не только влияет на вкус воды: пока кипяток отстаивается, он теряет необходимую для правильной заварки температуру.

Я колдую у плиты и поглядываю в окно. По ночному небу с заметной скоростью плывет месяц. За ночь он огибает дом: с вечера появляется в одном окне, под утро меркнет в другом, глядящем в противоположную сторону. Здесь почему-то, как ни спохватишься, ни посмотришь в окно, почти всякий раз полнолуние. Может быть, потому, что месяц, как утверждал Гоголь, делается в Гамбурге, то есть вовсе недалеко, и не успевает по дороге сюда стереть края о плотные облака (хотя, по свидетельству того же Гоголя, месяц изготавливает некий кривой бочар, и прескверно делает). Мои внуки отмечают полнолуние заведомо реже, чем я.

Кружку с чаем я приношу на ночной столик, забиваюсь под одеяло и, хотя самая лучшая заварка не отбивает привкуса жесткой воды (к тому же от извести слегка першит горло), радуюсь густому бодрящему напитку. Приятно также, обхватив кружку, греть слегка замерзшие руки. Я не спешу выключать свет: он не мешает мне засыпать, как темнота не мешает бодрствовать.

...Я долго плутаю ночью по плохо освещенному заводскому району среди глухих кирпичных стен, угрюмых темных корпусов, приземистых одноэтажных мастерских, на закопченных окнах которых кое-где рдеет отсвет печи. Под ногами склизкая жидкая грязь. Я чувствую спиной сырость, висящую в промозглом воздухе. Темные улицы пересекают одна другую, как на чертеже лабиринта. Наконец я вижу вдали желтый фонарь и под ним несколько

черных силуэтов. Я спешу туда и оказываюсь на трамвайной остановке. Люди вокруг чугунного фонарного столба стоят неподвижно, как манекены, отчужденно отстраняясь один от другого. Помню старуху с большой клеенчатой кошелкой, серый суконный плащ, наброшенный на голову, охватывает крест-накрест ее плечи и грудь и завязан узлом на спине. Неподалеку от нее худая накрашенная девица в маленькой шляпке, коротком пальто и высоких резиновых ботах. Рабочий в фуражке с лакированным козырьком глубоко засунул руки в карманы черной кожаной тужурки. Люди неприязненно поглядывают друг на друга, взгляды их узки, остры и, чудится, серого цвета стали. Только у накрашенной девицы широко открытые удивленные глаза — ей, наверно, трудно удерживать распахнутыми ресницы, нагруженные даже в темноте заметным толстым слоем краски. Все это похоже на инсценировку романа из жизни пролетариата периода экономического кризиса конца двадцатых — начала тридцатых годов. Такие романы, переведенные с немецкого и английского в те годы охотно издавали в Союзе. Дребезжа звонком, подходит трамвай — старинный красный вагон моей юности с разноцветными фонариками над кабиной водителя (каждый цвет соответствовал цифре, чтобы издали узнавать номер маршрута). На моем вагоне фонарики — красный и синий. Из-под выгнутой петлей дуги, касающейся провода, вылетают потрескивая ослепительные голубые искры, от которых ломит скулы (раньше считалась, что это признак нервности). Мы преодолеваем высокие ступеньки и протискиваемся вглубь набитого вагона. Старик-кондуктор с кожаной сумкой на груди дергает веревку под потолком — подает сигнал к отправлению, — в кабине водителя звякает колокольчик. В вагоне пахнет отогревшейся в тепле сырой одеждой, теплым дыханием. Постук колес, неяркий густой свет продолговатых лампочек завлекают в уютную дрему. Лица пассажиров понемногу разглаживаются. Старуха с кошелкой на коленях слегка подвигается на скамейке, отводя местечко для узких бедер накрашенной девицы в ботах. Рабочий, взявшись за козырек, снимает фуражку, тыльной стороной руки утирает лоб, оглядывается и улыбается...

Я лежу в палате, спать не хочется, я мерзну. В темноте за окном мерцают белесые звезды, в подступивших к самому стеклу ветвях я различаю на фоне темного неба силуэт моего Медного Всадника. У меня недостает сил вытащить из-под одеяла руку,

протянуть ее к звонку и попросить ночную сестру накрыть меня еще одним одеялом. Я начинаю отчаиваться, но в такие минуты снова и снова, дребезжа, мерца в темноте красным и синим огоньками, подходит спасительный трамвай, я скорей спешу туда, в человеческое тепло, в неяркий желтый свет, плавающий в теплом дыхании...

Я давно не задаюсь вопросом, *почему*, тем более, *зачем* нам даются испытания: звучащий в книге Иова голос Господа из бури убедил меня в тщете попыток постичь неисповедимое.

«Кто сей, омрачающий поведение словами без смысла? // Препояшь ныне чресла твои, как муж: // Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай Мне.

Где был ты, когда Я полагал основание земли? // Скажи, если знаешь. // Кто положил меру ей, если знаешь?.. // На чем утверждены основания ее, // или кто положил краеугольный камень ее?.. // Давал ли ты когда в жизни приказания утру // и указывал ли заре место ее?.. // Нисходил ли ты в глубину моря // и входил ли в исследование бездны? // Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?..»

Каждая строка богодухновенного создания разматывает нашу гордость первооткрывателей, как ветер разматывает песок в Иудейской пустыне. Мним себя создателями и провозвестниками нового, тогда как всё даже самое великое из открытого человечеством не более как узнавание того, что когда-то и зачем-то создано, извлечение подробностей, рассеянных в вечном. Наши самые ошеломительные открытия — лишь крошечный шагок в простирающееся перед нами вечное.

«И продолжал Господь, и сказал Иову: // Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?.. //

И отвечал Иов Господу, и сказал: // Вот я ничтожен, что буду я отвечать Тебе? Руку мою налагаю на уста мои...»

Вместе с перекрывающим шум бури голосом Господа, разгневанного нашим стремлением присвоить знание, которое нам не принадлежит, в ушах моих звучит тихий голос случайного знакомца, встреченного когда-то на тахан-мерказит — иерусалимском автовокзале. По тогдашнему неведению я оказался там в субботу в середине дня, не предполагая, что ближайший автобус отправится

в путь лишь с появлением первой звезды. Площадь автовокзала смотрелась современным вариантом сказки об уснувшем царстве: разомлевшие пустые автобусы, едва не уткнувшиеся носом в землю, затворенные двери магазинов и киосков, черные слепые окошки билетных касс, дремотный воздух, напоенный запахом пыли и бензина, и вдали на подернутом дымкой полотне неба замершие в неподвижности сиреневые и розовые купы миндаля и иудиного дерева. Была ранняя весна, но солнце уже припекало поздешнему жарко; вдоволь насладившись им в первые часы ожидания, я бродил из-под одного навеса под другой в погоне за перемещающейся тенью. На прижавшейся в укромном уголке скамье я заметил еще одного ожидающего автобус пассажира, — это был маленький, заросший седой бородой старичок в мятом чесучовом пиджаке и выдавшей вида белой кепочке. Старичок был давним эмигрантом, еще 20-х годов, но русский не забыл. Оживившись от того, что я всем своим видом изъявил готовность его слушать, он поведал мне свою историю. Погром в украинском местечке, учиненный то ли махновцами, то ли буденовскими конниками, — он спрятался, а родители погибли. Трудный путь в Палестину — полтора года не имел крыши над головой, нищенствовал, два раза сидел в тюрьме. Тяжелая работа в кибуце — прокладывал дороги. Жена давно болеет, лежит неподвижно, приходится ходить за ней, как за ребенком. Старшая дочь живет с ними — умная, добрая, но семейная жизнь не задалась. Младшая — наоборот, удачно вышла замуж, но муж увез ее в Канаду, шесть лет не приезжает, — в Мексику ездит отдыхать, а к родителям не выберет времени. Был внук, необыкновенный мальчик, окончил университет, прочили, будет профессором, — погиб в Ливане. Уже после войны: машину обстреляли, ехали вшестером, никого даже не задело — только он. Старичок замолчал. Он комкал бороду в ладони и смотрел на меня светлыми слезящимися глазами, будто ожидая ответа. А я?.. Что мог сказать ему я с моим счастьем и удачей?.. И, не зная, что сказать, глупо посетовал: как однако нелепо, что автобусы не ходят по субботам: право же, какое отношение имеет Бог к уличному движению!.. «Слушайте, — старичок выпростал из длинноватого чесучового рукава темную руку с крепкими, рабочими ногтями, положил мне на колено. — Зачем рассуждать о том, что мы знать не можем?» Он говорил доверительно, будто прорисовал о чем-то лично для него дорогом и необходимом. «Поглядите во-

круг. Бог подарил нам такой прекрасный мир, а попросил так немного: в седьмой день до звезды не ездить в автобусе. Так что? Мы должны отказать ему в этом?..» Тени на земле сделались длинными. Со стуком открылись оконца билетных касс. В киоске слева зажегся свет. Очнувшись, заурчали, зачихали дымом первые автобусы. На тахан-мерказит вдруг появилось много народа, у калиток с указателями разных направлений выстроились очереди. Солдаты с тяжелыми заплечными мешками, автоматами на груди возвращались из субботней побывки в свои части. Девушки в военной форме все как одна казались очень красивыми. Старичок подхватил холщовую торбочку, лежавшую рядом с ним на скамье, и суетливо поспешил к выходу на Реховот. Я возвращался в Петах-Тикву. Прощай, Иов!..

Придавленный болезнью к постели, я не спрашивал: «Почему?», «Зачем?» Не то что бы сдерживал себя, отгонял привязчивую мысль — просто в голову не приходило. Перед самой болезнью, мне казалось, я, как редко прежде, окреп в вере, но теперь понимаю: самую лучшую, самую глубокую веру принесла именно болезнь. И не потому, что я надеялся на Бога, мысленно вручал себя Ему, а потому, что, пока вновь не почувствовал земного притяжения, вовсе не думал о Нем, при этом — не умом, не памятью, а всем существом ни на мгновение Его не теряя. Он незаметно присутствовал в воздухе, во мне самом, в людях, с которыми я общался, даже в предметах, которые меня окружали. Он был небом за окном, деревьями на фоне неба, моим Медным Всадником, понемногу отдававшим ветру, который тоже был Он, свои пожелтевшие к осени листья. Всем существом я знал, что Он есть, и ни разу не затруднился мыслью отдать себе отчет, что знаю это.

В течение всей жизни не обделенный любовью, я никогда с такой очевидностью не чувствовал любовь ко мне людей, как в тяжкую, но благодаря этой любви прекрасную пору болезни. Близкие и друзья, врачи, сестры, санитары, соседи в палате, самые разные люди, знакомые и даже незнакомые, все вместе и каждый на свой лад, делом, словом, взглядом, улыбкой выказывали мне свою любовь, и я, как никогда прежде легко, радостно, безотчетно, любил всех, кого видел, о ком слышал, о ком думал, о ком никогда не слышал и не думал, но знал, что они есть, где-то там, за окном, на ближайшей трамвайной остановке, в Москве, в Риме, в Порту-

даминах, в Австралии. Критический взгляд, ирония, подозрения, зависть, несоответствие и несогласие — всё развеялось, ничто во мне не омрачало моей любви, так же, как — я был убежден в этом, всем существом это чувствовал — не омрачало любви людей ко мне. Надо ли было приставать к Провидению с дурацкими «Почему?», «Зачем?» Разве мало всеобъемлющей любви в себе, вокруг, которую мне посчастливилось испытать? Разве осознание такой любви само по себе не есть и смысл, и цель, и назначение?..

...Два санитары быстро катят мою кровать в операционную, сестра спешит рядом, придерживая одной рукой положенные мне на ноги папки с записями историй моей болезни, рентгеновскими снимками, результатами обследований. По коридору — в лифт и на первый этаж, который здесь именуется не «первым», а «эрдгешосс», наземным (а первый — наш второй), и снова по коридорам, пустым и светлым, автоматические двери распахиваются нам навстречу и снова затворяются за нами следом. Санитары почти бегут, подбадривая друг друга энергичными восклицаниями, мне уже приходилось видеть в здешних больницах эту скоростную, слаженную работу и любоваться ею, я, кажется, и на этот раз отдал должное бодрой силе, с которой ладные ребята гнали мою кровать в этой залитой чуть зеленоватым светом дневных ламп пустоте, я не ведал, что они старались обогнать убегающую из меня жизнь.

Это была вторая операция. Первая, которую врачи считали «рутиной» (слово «рутина» не имеет в немецком выраженного отрицательного смысла и означает нечто обыкновенные, привычное) оказалась неудачной и привела к тяжелым осложнениям. Дни, проведенные в клинике перед первой операцией я помню плохо (наверно, результат длительного наркоза после второй). Недавно мне попался в руки блокнот с несколькими исписанными страничками — какое-то подобие дневника (а я совсем позабыл, что вел его в больнице): попробовал перечитать — как будто не про меня, многое навсегда ускользнуло из памяти и не хотело заново в ней укладываться. Время между первой и второй операциями, что-то около недели, полностью забылось, точно не было его. Только один эпизод, полувидение-полуявь, ясно рисуется в воображении. Моя больничная кровать вместе со многими другими такими же кроватями стоит на просторном балконе во внут-

реннем дворе восточного дома (такие дворы я видел в Азербайджане и Средней Азии); побеленная кровля балкона опирается на деревянные четырехугольные столбы. Я открываю глаза, надо мной яркое черно-синее небо с крупными звездами и лежащая на боку луна, похожая на узкую золотую лодку. Мне нужно в уборную, но я не могу найти бутылку, которой можно пользоваться лежа, да и стесняюсь ею пользоваться. Я встаю, чтобы дойти до уборной, но, где она, не знаю, решаю идти наугад, я слаб и движения мои неуверенны. Я все же делаю шагок-другой, но иду по кругу, трубки капельниц обматываются вокруг столба, возле которого стоит кровать. Я пытаюсь их распутать, тут появляется Хамид с его круглой, наголо обритой головой и сильными, точными, волосатыми руками, ловит меня, усаживает на кровать и что-то строго мне втолковывает... Как хорошо, когда голова снова лежит на подушке и золотая лодка луны плывет над глазами...

Krankenpfleger Хамид, иранец, человек пожилой и в своем деле замечательно опытный, был, как и Г.З., частым спутником в моих скитаниях. Он знал откуда-то несколько русских слов; утром, появляясь в палате, он приветствовал меня бодрой репликой: «Здравствуй, товарищ! Водка, лодка и молодка!» В иных странствах Хамид, помимо исполнения основных обязанностей и роли, предписанной тем или иным сюжетом, был видным лицом в подпольном коммунистическом движении народов Востока, составлял какие-то документы, вел конспиративные переговоры. К тому же он промышлял продажей травки. Измученный выпадавшими на мою долю приключениями, я иногда заглядывал к Хамиду, в крошечную землянку, тайно пристроенную к больничному корпусу, там в углу, прямо из насыпного пола торчала тростинка, соединенная с подземным резервуаром: растянувшись плашмя на земле, можно было припасть к ней и потянуть глоток-другой сладковатого дурманного дыма... (Травка заметно много значила в моих блужданиях.)

Кроме того, в землянке у Хамида можно было на экране небольшого компьютера посмотреть кинофильм из числа тех, которым не давали хода на большой экран. Некоторые ленты, увиденные в ту пору, я отчетливо помню.

Особенно сильное впечатление произвел на меня фильм «Возвращение». Незадолго перед тем лента с таким названием,

сделанная почти неизвестным российским режиссером, неожиданно получила первый приз на престижном фестивале, познакомиться с ней в ту пору мне еще не довелось. «Возвращение», которое я смотрел, притулившись в уголке на земляном полу в хижине Ха-мида, было совсем другое кино. Речь шла о женщине, в годы войны юной девушкой угнанной из маленького белорусского городка на работы в Германию. Когда война подошла к концу, ей удалось всякого рода ухищрениями скрыть свое происхождение, получить поддельные документы. Ее не передали советским властям, не вывезли на родину, соответственно, в Сибирь, в лагерь. Она вышла замуж за голландца, родила сына, работала медицинской сестрой, путешествовала — и всю жизнь страшилась, что ее разоблачат, выдадут, выкрадут. Наконец, наступили новые времена. Она решила, села с сыном в машину и, не открывая своего подлинного имени, отправилась к местам своей юности. В фильме замечательно передано столкновение в душе старой женщины неприятия и странного любовного тяготения к тому, с чем она встречается на пути, нежелание что-либо изменить в своей нынешней жизни осложняется пробуждением прошлого, которое она на протяжении полувека изгоняла из памяти и судьбы...

Раздвигаются широкие белые двери, помеченные латинскими буквами «ОР» («ОПе»), на пороге меня перехватывает другая команда, работающая уже внутри помещения. Видимо, это «предбанник» операционной. Он напоминает космический корабль или, может быть, внутреннее пространство какого-нибудь ускорителя, — как бы там ни было, что-то высоко техническое: алюминиевый потолок с прорезными отверстиями, никелированные детали, циферблаты и лампочки приборов вокруг. И этот неопределенный запах воздушного потока. Вокруг меня что-то происходит; если быть более точным, что-то делают со мной, но это уже странно меня не касается. Я не то что бы просто не принадлежу себе, но, похоже, охотно (точнее, наверно, — безразлично) отдал свое тело в распоряжение тех, кто им занимается, не чувствуя его и о нем не думаю, а душа, ее будто уже тоже нет во мне, не болит, не тревожится, не дремлет в покое, — будто отлетела и притаилась в сторонке.

Потом — темнота и вдруг длинный прямоугольный коридор: с обеих сторон, снизу наискось вверх, как бы из сплошных щелей, прорезанных у самого пола вдоль плинтуса, пересекаю-

щие друг друга две полосы-пластины ярчайшего молочно-белого света. Я спешу по коридору, свет такой густой, что я иду, как в тумане, ничего не видя перед собой. И тут раздается громкий голос, раздается не откуда-то, а отовсюду, точно рождаемый этим светом, звучит сверху, снизу, со всех сторон: «Ад — это отсутствие света». И снова — ничего, темнота, наполненная напряженным действием, «неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать»...

Герман Гессе заметил, что едва ли не большинство покончивших с собой — случайные самоубийцы: самоубийцы по убеждению редко накладывают на себя руки. Но самоубийца по убеждению всегда сознает и вынашивает в себе возможность расстаться с жизнью. Одолевая испытания и искушения судьбы, особенно в молодости, полный здоровья и сил, я часто думал, утешая себя, что имею в запасе простой и быстрый выход из любого положения, но в глубине души знал, что не воспользуюсь им. Во время болезни я, как никогда прежде, ощущал, что моя жизнь не принадлежит мне, точнее, наверно, — принадлежит не мне, и это ощущение, не осознаваемое, не проверяемое раздумьями, заполняло меня, в чем я не отдавал себе отчета. Изредка, правда, не столько подломленный недомоганием или страхом перед будущим, сколько от накатившей безразличной усталости устремлялся желанием в открывшуюся передо мной пустоту, устремлялся без волнения, не так, как ставят весь остаток на последнюю карту, — ожидание того, что могло совершиться, было менее тревожным, чем ожидание подходящего поезда.

Но была одна странная комната, в которой я нередко оказывался. Я называл комнату — «бар». Затрудняюсь понять, оказывался ли я в этой комнате, когда хотел умереть, или желание умереть появлялось, когда я оказывался в ней. Комната была темная, только огненно-красный свет, как от раскаленных углей, выбивался из широкой — в ладонь — щели в стене. Он озарял небольшое пространство прямо напротив щели, от этого тьма вокруг была еще гуще. Единственное, что можно было разглядеть, — старое казенного образца кресло, обитое дерматином, точно из какого-то служебного кабинета глухих советских времен, на его спинку был накинут поношенный форменный китель с погонами подполковника бронетанковых войск и орденскими лентами на груди.

Оказавшись в баре, я надевал китель, подходил к стене и, приподнявшись на носки (огненная щель была несколько выше моей груди), что было силы припадал к щели тем местом, где сердце. В напряженной позе, на дрожащих от напряжения ногах, выгибая вперед грудь и откинув назад голову, я стоял, прижимаясь к стене, жарко шептал: «Возьми! Возьми меня!» — и ждал, что сейчас умру. Я не чувствовал ни боли, ни жжения от исходящего из глубины стены, откуда-то из-за нее, огня — шептал, ждал смерти и желал ее. Потом я отступал от стены, подчас испытывая подлинную тоску разочарования, снимал с себя китель, вешал его обратно на спинку кресла и направлялся к двери. Оглянувшись, я видел: огненная щель раздавалась вширь, вверх и оборачивалась чем-то вроде подсвеченного сзади прилавка, на красном фоне подсветки чернели строем силуэты бутылок разной формы, высоких стаканов, фужеров, — отсюда и название: «бар»...

Однажды, в такую минуту усталости навел на меня знакомый священник. Я пожаловался: Бог меня не берет. Он ответил просто (проще невозможно) и тотчас, словно речь шла о чем-то само собой разумеющимся: «Значит, еще не время».

Лев Толстой, узнав о смерти друга, художника Николая Николаевича Ге, записал в дневнике: смерть определяет меру любви. Мысль не столь неожиданна и много точнее, чем представляется на первый взгляд. Только когда жизнь человека прожита, окончательно выстраивается, обозначается и наше отношение к нему. Нередко кончина того, кто казался близким и необходимым, не наносит ожидаемой глубокой раны. Но вот ушел некто, стоявший, чудилось, неизмеримо дальше, — и вдруг откуда-то невосполнимость утраты, тоска, отчаяние, долгая несмолкаемая боль...

Смерть, как умелый архитектор, точно и полно завершает конструкцию здания прожитой жизни. Ранняя или поздняя, загодя предначертанная или нежданная, она непременно привносит в оставленный, всегда по-своему незавершенный чертеж особую гармонию, цельность и смысл. Сроки и обстоятельства смерти изменяют облик здания, но не вредят его тотчас возникающей завершенности. Самый момент ее, когда бы и как бы он ни наступил, тотчас расставляет все события в стройной целесообразности и одновременно, как замковый камень, венчает им же созданный свод.

Пушкин мог умереть от тоски в Михайловском, от холеры в Болдине или прожить Мафусаилов век своего приятеля Федора Глинки, всякий раз это был бы, конечно, другой Пушкин (нелепо судить да рядить — *какой?*), архитектурный облик возведенного здания в каждом случае был бы иной, но в любом — по-своему совершенный и законченный. Я не о содержании прожитой жизни, а о ее регулирующей себя архитектуре, лишь со смертью в полной мере обретающей обдуманность и стройность.

Мой приятель, известный ученый, однажды доходчиво объяснил мне, что, если голографическим способом запечатлеть на пластинке, допустим, портрет того же Пушкина, а потом пластинку разбить, то на каждом ее осколке окажется не частица портрета, как можно было бы предположить, а опять же целиком весь портрет. Я тотчас применил полученные сведения к поэзии самого Пушкина, которую нахожу поразительно (может быть, как ни у какого другого поэта) голографичной. В каждом фрагменте его творения — случается, в одной строфе, подчас строке, даже слове, — если вдуматься в него и постичь, насколько возможно, во всей глубине, — угадывается целое: дух сочинения и судьба творца. Так же, наверно, голографична и наша жизнь: некое целое запечатлено в каждом ее фрагменте, она не бывает непоправимо сломанной, разбитой, — оборванная в любой момент, она обнаруживает цельность. Да и может ли быть иначе? Всякое творение — волна или камень, цветок или птица, молния или слово — отмечено особостью подробностей и завершенностью целого, всякое — неповторимо единичное и часть общего, всякое хранит и несет в себе замысел и дух Творца. Как «верх путей Божиих» Творец предъявляет человеку бегемота, — что же тогда сам человек, созданный Творцом даже не ангелоподобным, а — выше, больше — по собственному образу и подобию Творца?..

...Я сижу в лодке, круглой, как половинка скорлупы грецкого ореха посреди небольшого круглого озера. Лодка слегка перемещается на неподвижной глади воды. Ветви деревьев, окружающих озеро, склоняются над водой и отражаются в ней. Ясный солнечный день. Лишь кое-где на голубом небе повисли белыми клубами пушистые облака. Вокруг — ниже, выше — разместившиеся на уступах зеленых террас такие же круглые озера. В руке у меня сачок из белой кисеи, вроде тех, какими маленькие дети ловят бабочек. На поверхности воды в разных местах белеют скопления

странных предметов. Это маленькие костяные кубики, похожие на игральные кости. На их гранях нанесены рисунки, несмотря на крошечный размер отчетливо различимые, — что-то вроде подпеченных старинных гравюр: кавалеры, дамы, всадники, животные из средневекового bestiaria, корабли, крепости, геральдические знаки. Лодка сама по себе тихо доставляет меня от одного скопления к другому. Я захватываю сачком по несколько кубиков и внимательно их рассматриваю. Я отбираю те, на которых имеется один определенный рисунок (уже не помню, какой именно), и складываю в стоящее у моих ног белое фаянсовое ведерко. В озерцах вокруг плавают в круглых лодках еще люди с сачками и тоже, как я, собирают кубики. По одному человеку в лодке, по одной лодке в каждом озерце. Тишина. Легкий воздух, напоенный ароматом воды и зелени. Движения медленны, почти неощутимы. Состояние совершенного покоя и благодати. Лодка незаметно скользит по озерцу. Я зачерпываю сачком, разглядываю кубики, откладываю нужные, остальные тихо пускаю обратно в воду. Вода за бортом прозрачна, как стекло. На светлом песчаном дне сверкают камешки, темнеют тонкие пряди подводных трав. Движение времени незаметно, — может быть, времени попросту нет. Все то же ясное небо с подвешенными пушистыми облачками. Все то же невесомо легкий воздух. Все то же неприметное скольжение лодки, те же не требующие ни усилий, ни расчета движения руки, все те же молчаливые тихие люди в окрестных озерцах... Но что это? Вдруг я чувствую, как из души моей уходит благодатный покой, как на его месте сгущается недовольство, даже раздражение, с каждым мгновением все труднее переносимое. Я чувствую, что не могу больше так, попросту не выдержу. Мне снова нужен шум, резкие движения, ощущение тяжести тела, смена дня и ночи, голоса людей вокруг. Мне нужно, чтобы со мной происходило что-то. Не зная, как прекратить эту ловлю в райских куцах, я сердито бросаю на дно лодки сачок с неразобранными мокрыми кубиками, поднимаю голову и яростно кричу в небо: «Не хочу! Не хочу больше! Не хочу!..»

Кажется, это и был момент выхода из небытия.

В половине пятого, всегда в одно и то же время, протяжно и звучно зевает тяжелая калитка, пропуская в палисадник разнос-

чика утренней газеты. Я слышу его шаги, когда он поднимается на крыльцо, слышу, как хлопает жестяной козырек почтового ящика. Калитка зевает еще раз, будто не в силах окончательно проснуться, звякает металлической челюстью; под окном раздается рокот включаемого мотора, шорох шин, разносчик (развозчик) отправляется дальше. Можно, конечно, смазать маслом пружину калитки, но хозяйке нашего дома, да и всем жильцам нравится этот протяжный скрип, предупреждающий о приближении званных или незванных гостей.

Когда-то Лев Толстой долго обдумывал статью «Номер газеты». Он хотел разобрать один номер газеты от первой страницы до последней, от распоряжений правительства до рекламы и показать сумасшествие устройства мира. Тема не исчерпана с появлением статьи Толстого, ныне такая статья могла бы прозвучать даже более фантастогорически, но при теперешних скоростях получения информации, доставляемой, что называется, прямо «с колес», материал газеты успевает устареть еще до того, как подписчик достает номер из почтового ящика. Моя мать, родившаяся и выросшая в большом сибирском селе верстах в двухстах от Томска, рассказывала мне, как, получив из города газету, читали вслух новости, давность которых определялась временем, необходимым сообщению о событии, чтобы добраться до сибирской редакции, и газете, чтобы добраться до села. Теперь сельская бабушка смотрит по телевизору прямо с места происшествия «живую войну» откуда-нибудь из Косова или из Ирака. Мама, прожившая срок Федора Глинки (94 года), часто вспоминала, как в детстве зачитывалась книгой Эдварда Беллами, его казавшимися несбыточной фантастикой видениями будущего. Незадолго до маминной смерти я нашел в библиотеке сочинение Беллами: мы славно повеселились над наивностью его научно-технических и социальных прозрений. Мамин век вместил в себя первые взлеты человека над поверхностью земли и космические путешествия, керосиновые лампы и Чернобыльскую катастрофу. Немало моих вечеров и ночей также озарены теплом, округлым, обозначающим сферичность пространства светом свечи и керосиновой лампы; кажется, я писал однажды, что, гуляя с детьми, единственный всякий раз поднимаю голову, чтобы взглянуть на пролетающий по небу самолет...

...Ты встаешь со своего диванчика и, не окликая меня, чтобы не потревожить (хотя и чувствуешь, конечно, что я не сплю, — ты и ныне всегда чувствуешь, что происходит со мной), выходишь в коридор. Я слышу твои частые шажки, будто какой-то маленький зверек постукивает коготками. Прежде ты сетовала, что у тебя низ тяжеловат, теперь платяшечко на зад, на боках пугает угадываемой под тканью пустотой, и ножки у тебя тоненькие, легкие, со съезженными стопами, как у старинной китайской принцессы, и маленькая ты стала — до плеча мне не достаешь (а ведь и я сократился — уже не дотягиваюсь до верхних книжных полок, где недавно еще своевольно орудовал). Я слышу твои шажки и вспоминаю темный — поистине ни зги — зимний вечер, внезапно захватившую нас вьюгу: чтобы сократить путь, мы идем напрямую по льду через озеро Кучаны из Петровского в Михайловское; вместо посоха ты вооружилась подобранной по дороге длинной сосновой жердью, ощупываешь перед собой засыпанный снегом лед, не угодить бы в случайную полынью, я поспеваю за тобой, след в след, ташу на веревке санки, дочери сидят одна позади другой, сбившись комочками в шубах, прячут мокрые щеки в индевеющих воротниках. Мне страшно: случись, не приведи Бог, полынья, никто нас дня три и не хватится, но твои шаги так уверенны, такая сила и ясность исходит от тебя, что я, хоть и не в силах прогнать страх, стыжусь его, и, несмотря на резкий ветер, что-то громко и весело распеваю, и, оборачиваясь к детям, развлекаю их шутками. Лишь позже, когда, добравшись до нашего пристанища, мы отогреваемся сгущенным кофе (благо, кипяток в титане у дежурной не переводится допоздна) ты признаешься: «Шла и думала: вдруг полынья, как бы мне успеть предупредить, остановить вас, если сама ужогу»... (Новой гостиницы еще не было, жили в старой монастырской, именовавшейся «Дом экскурсанта», у местных жителей проще и в ту пору понятнее — «Дом курсанта».)

К Пушкину ездили почти каждый год, чаще зимой, так у нас повелось с первой поездки к нему, непредвиденно выпавшей на зиму. Несколько лет назад появилась книга о сектах в России, там обозначена и *секта пушкинистов*; одной из отличительных ее особенностей названа любовь посещать пушкинские места именно в зимнее время. Автор полагает причину такого пристрастия в уединенности, замкнутости, в большей полноте иллюзии,

что пребываешь с Пушкиным один на один: летнее многолюдье, снование и ауканье туристов, неустанное стрекотание экскурсоводов разрушают ощущение паломничества по Святым Горам как по Святой Земле.

«Пушкин — наше всё», произнесенное когда-то, не только впечаталось заученной формулой в сознание и душу российского человека, но и усвоено ими. Я не в силах подобрать еще одного подобного примера, чтобы — «наше всё». Почитание почитанием, но немец не скажет про Гете — «наше всё», и англичанин не скажет про Шекспира, и итальянец про Данте. Да и в России ни о ком другом такого произнесено не было.

Когда Пушкин, по царскому приказу, был возвращен из ссылки и привезен в Москву, многочисленные читатели-почитатели не ведали, как он выглядит; в Благородном собрании, где он появился, люди в толпе бросались друг к другу: «Покажите, покажите нам его!» Я (при том, что такое неведение вроде бы само собой разумелось) сильно удивился, где-то впервые читая об этом: трудно представить себе время, когда лицо Пушкина оставалось неизвестным для россиянина. С давних пор лик Пушкина, наверно, самый известный для соотечественника образ. Даже повсеместно насаждаемые портреты «вождей» не сумели его заслонить: время над ним не властно, да и чувство к нему иное. Только один Лик стоял с пушкинским вровень, или пушкинский вровень с Ним. Но этот-то Лик в течение семидесяти лет, в которые уложилась большая часть моей жизни, как раз старательно и неутомимо вытеснялся, выскребался — со стен, из книг, из сознания, из души. В пушкинских сказках мы черпали первые нравственные представления, представления о Добре и Зле, которые могли открыться нам в иной Книге (искореняемой из нашей жизни с той же непреклонностью, что и Лик провозвещающего ее истины); потом, вырастая, выбирая пути, старея, искали — подчас бессознательно — объяснение, подтверждение, оправдание своим чувствам и мыслям, поступкам и помыслам в откровениях пушкинской поэзии, выражали и закрепляли в ее словесных образах. Чья еще судьба воспроизводилась нашим сознанием и чувством, усваивалась ими, как воспроизводилась и усваивалась судьба Пушкина? Прекрасное, Высокое, Совершенное — Добро — жестоко и несправедливо сраженное рукой Зла. Об этом замечательно у Марины Цветаевой в «Моем Пушкине»: «Нас этим выстрелом всех в живот ранили».

(И о ком еще, как о Пушкине, у всех — у каждого — *мой?*) Воспоминание о жертве, необходимо принесенной Добром Злу, пробуждает лучшее, что есть в нас. Свинцовая пуля хранится в памяти рядом с грубым, поржавевшим четырехгранным гвоздем (я видел такой в кладовой реликвий древнего собора в Трире). Число «37» в сознании и чувстве наших соотечественников (уже и в традиции) живет роковым, единственное рядом с «33». Смерти Пушкина, если посмотреть отстраненно, посвящена непомерно значительная часть биографической литературы о нем. Отношение к смерти не как к естественному (до биологического уровня) следствию доживания, а как к взлету, сосредоточению жизни, когда обрушившаяся на мир пустота заполнена дыханием вечности, тоже не внове...

Давно замечено, потом надолго замолчено («Нашему всему» — никак не полагалось!), а ныне как бы заново открыто странное влечение поэзии Пушкина к женщине умершей, умирающей, к «мертвой возлюбленной», как обозначили исследователи, Его манит русалка, душой и телом мертвая и живая вместе, «ее прохладное лобзанье без дыханья» («холодный мед не столько сладок жажде»), «чахоточная дева», переступающая порог смерти, «возлюбленная тень» вызванная «силою мечтанья» из вечности в земные пределы. «Мои хладеющие руки тебя старались удерживать...», — теперь, обращаясь памятью к урне гробовой, он ждет, жаждет прерванного поцелуя последнего земного свиданья... Разлучение смертью, воскрешение любовью...

«Я маленький, горло в ангине. // За окнами падает снег. // И папа поет мне: Как ныне // Сбирается вещей Олег...»

В комнате полумрак, занавески на окнах задвинуты, настольная лампа накрыта зеленой шелковой маминой шалью, папа сидит возле моего дивана и читает мне Пушкина, «Как ныне...», и другие стихи, и поэмы, и «Повести Белкина». Горло не в ангине — я сгораю от кори и скарлатины вместе. Еще не открыты антибиотики. Еще нет сульфамидов, красный стрептоцид, который поначалу покажется чудесной панацеей, появится позже. Чтобы сбить жар, меня, по совету врачей, оборачивают намоченной в кипятке простыней и выносят в соседнюю комнату, где открыто окно. За окном лютый мороз. Лютая зима лютого 37-го года. Когда я думаю об этой зиме, я вспоминаю пар, поднимающийся от горячей

мокрой простыни, седого с бородкой профессора по детским болезням, сокрушенно разводящего руками, белые заиндевевшие вагоны эшелонов, везущие людей в огороженные колючей проволокой гибельные просторы Севера и Сибири, вспоминаю Пушкина — портреты, стихи, книги, картины, Пушкина вокруг, Пушкинский Год. Куда ни оглянись, этот удлинённый овал лица, ясные глаза, курчавые волосы и, конечно (может быть, прежде всего), эти приметные бакенбарды — будто смотришь на портрет сквозь круглую граненую пробку маминого флакончика от духов, многократно умножающую в своих гранях всякий предмет, на который наведешь взгляд. На первой странице обложки школьных тетрадей — портрет Пушкина или картина о нем (у скалы на берегу Черного моря; читает Пушкину стихи в Михайловском, а няня вяжет чулок; его ведут к саням смертельно раненного на дуэли), на последней странице обложки, там, где обычно таблица умножения, — какое-нибудь из пушкинских стихотворений, мы учим стихи наизусть, по программе и без программы, на уроке рисования рисуем «ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» (тогда появились «блестки» — разноцветный блестящий порошок в пробирочках: намеченный карандашом в альбоме кораблик-ладья, вроде рериховских, смазывается клеем и посыпается «блестками», которые прилипают к бумаге, — разве сравнить с простыми красками!), кто подаровитее старается над боем Руслана с головой, на уроке пения вместо «Замучен тяжелой неволей» (любимая песня Ильича) и «Конницы-буденницы» разучиваем «Буря мглою небо кроет»... Всенародный юбилей, развернутый с тоталитарным размахом, — 100-летие со дня смерти великого поэта — прекрасный занавес, не открывающий сцену, где идет другая драма: там не Пушкин падает в снег и не Дантес в него стреляет, там среди снегов ставят бараки, вкапывают в промерзлую землю столбы, тянут колочую проволоку, возводят сторожевые вышки (один из старших друзей рассказывал: привели в чистое поле, тридцатиградусный мороз, переночевали у костров, утром тем, кто не умер и не обморозился, приказ: «Будем строить лагерь»). Главный Режиссер спектакля «1937», неутомимо подписывавший многотысячные расстрельные списки и сочинивший подобающий делу лозунг: «Жить стало лучше, товарищи, жить станет веселей», как замечено, любил праздновать именно даты смерти — то ли мистический склад натуры, то ли детская семинарская привычка к церковным

календарям, в которых при именах святых помечается только дата кончины... К юбилею серьезное, элитарное по тем временам издательство «Academia» (вскоре — в те же времена — и ликвидированное) начало выпускать (и папа сумел подписаться) роскошное шеститомное полное собрание сочинений А.С.Пушкина — толстые большого формата книги, одетые в прочные бежевые (под слоновую кость) переплеты, на переплете золотое тиснение букв и профильный барельеф поэта, каждая книга вложена в картонный переплет с круглым слюдяным окошком, барельеф видится сквозь слюду (вдруг пришло в голову — мавзолей). Первым вышел почему-то не первый том, а второй (стихи последних лет, поэмы, сказки, тропининский портрет на фронтисписе), он подоспел к началу моего выздоровления: я уже сижу на постели, опираясь на подушку, и занавески на окне раздвинуты, белый сверкающий свет морозного зимнего дня врывается в комнату, целый день я листаю поднесенный мне в подарок родителями том, читаю подряд и выборочно, и разглядываю иллюстрации, и едва ли не впервые в жизни жадно заглатываю комментарии, иной, чем прежде, новый Пушкин открывается мне, всё накопленное мною за недолгую жизнь, всё известное мною к тому времени о Пушкине и не о Пушкине в эту пору первого подлинного упоения Пушкиным, проникновения в него, вдруг сплавилось и переплавилось в нечто новое, что — я сразу почувствовал — изменило мою жизнь. Другой Пушкин, с которым я жадно не расстаюсь и с этих пор уже не расстаюсь, — постоянный шаг вперед и выше на новую ступень, на которой вместе с новым постижением Пушкина еще и непременно всем своим существом постижение истины, что много переменилось в жизни для меня и сам, покорный общему закону, переменился я (едва не каждый день с высоты буфета из черной бумажной тарелки радиоточки роскошный, как издание «Academia», бархатный, певучий, прославленный голос Качалова: «и саам покорный...»). Само чтение Пушкина сливается с выздоровлением... Пока я болел, исчез из школы Сева Гребенщиков, с которым мы сидели на одной парте, — худенький мальчик с удивленным взглядом, с большой, остриженной «под нулевку» головой на тонкой шее: кто-то из всезнающих девочек шепнул мне, что отца Севы арестовали. Я позвонил ему домой, соседка сказала, что в их комнате теперь другие жильцы. Сева любил рисовать географические карты, он раскрашивал земные пространства

разноцветной тушью — красной, зеленой, густо-желтой, черной. Карта Африки, которую он изготовил для нашего с ним общего доклада по географии о путешествиях Ливингстона и Стенли, долго у меня хранилась...

Когда мы впервые собрались в Святые Горы (тогда — Пушкинские, или попросту — Пушгоры), они еще не были местом паломничества. Автостанция в Пскове — небольшая деревянная будка — находилась на окраине города, за Великой, у подножья холма. Автобус отправлялся по зимнему времени до света, часов в семь утра. Выйдя загодя, пассажиры, нагруженные мешками и сумками, брели ночными улицами в заречную сторону, скрипели валенками по снегу. Белые кубы древних храмов как бы сами собой сияли в темноте. Автобус, небольшой, старого образца (теперь такой увидишь разве что в кино) набился до отказа. Водителем была пожилая женщина крепкого сложения, стеганный бушлат военного образца плотно облегал ее могучую спину. В одном месте машина начала сползать в глубокий, набитый снегом кювет, плечи и руки женщины напряглись, закаменели, как у Атланта, подпирающего свод, мощным зримым усилием она удержала машину на краю кювета и снова вырулила на стрележьинское шоссе. Ехать было четыре часа. На середине пути, в Острове, многие пассажиры сошли, но зато новых набралось еще больше. Это были большей частью крестьянки, возвращавшиеся с базара по своим деревням. Я уступил место какой-то древней старушке и уже до самого места назначения ехал стоя. Ступить в автобусе было некуда: всюду, где только удавалось угодить, громоздились мешки, корзины, сумки. Насевшие женщины гомонили, громко и оживленно обсуждая свои покупки, цены на базаре и местные новости. На женщинах были черные плюсовые полупальто, серые телогрейки, они были обмотаны вязаными платками. От них пахло морозным воздухом, хлебом и молоком. В их толпе тотчас выделялась говором и внешностью старая еврейка — черные с сединой волосы курчавились из-под сдвинутого назад платка, черные глаза смотрели пронизательно и печально, в ее жестах таилась неистребимая древность Востока. Она деятельно и равноправно участвовала в беседе, по всему видно было, что она чувствует себя здесь вполне своей. Товарки называли ее «Адольфовна». Откуда взялась эта Рахиль среди заснеженных

равнин с разбросанными в отдалении одна от другой серыми приземистыми деревьями, среди псковитянок с их правильными варяжскими лицами и светлыми северными глазами?..

В Пушгорской гостинице («доме курсанта»), кроме нас, постояльцев не было. Нам с тобой дали маленькую комнатку на втором этаже, первую налево от скрипучей деревянной лестницы. На маленькой площадке над лестницей стоял белый бюст Пушкина, хорошая копия с известной работы Гальберга. Мы уходили из дома, едва рассветало: лесной тропой через холм к Бутрову и оттуда на Михайловское, из Михайловского берегом Маленца, мимо Трех сосен («одна поодаль, две другие — друг к дружке близко»), мимо городища Воронича в Тригорское, или в другую сторону, вдоль большого озера в Петровское, искаживали всякий день добрых два десятка километров и уже в темноте, ничуть не уставшие благодаря нескончаемому ощущению счастья, возвращались в Святые Горы. Над дорогой, на высоком взгорке размещалась просторная «Столовая», местные мужики стягивались туда по вечерам опрокинуть «в разлив» и побалагурить с проезжими водителями грузовиков. Не заходя в гостиницу, в отяжелевших ботинках, в набитых снегом и ветром пальто, мы взбирались на взгорок; любезная псковитянка с подносом, не заставляя ждать, приносила столь необходимый графинчик и в качестве закуски, похоже, ею же самой по-домашнему изготовленные соленые грибы из бочки, пересыпанные крупными кольцами лука, а «на горячее» щи с мясом и большущие оладьи, облитые брусничным вареньем. Разомлев от еды, мы с трудом добирались до нашего пристанища. В гостинице пахло натопленными печами, на столике в комнате была оставлена свеча — в девять, кажется, на электростанции останавливали движок. За окном буря мглою небо крыла, и вихри снежные дробно стучали в стекло. В коридоре, если выглянуть, белая скульптура таинственно оживала освещенная чуть покачивающимся над нею фонарем со свечой... (Через несколько лет в гостиницу проведут паровое отопление, в коридоре всю ночь будет гореть тускловатая электрическая лампа, и бюст поэта почему-то заменят бумажной репродукцией с известной картины Бродского «Ленин в Смольном».)

Несколько дней назад, тоскуя по снегу, я читал тебе пятую, зимнюю главу «Онегина». Мне хотелось говорить с тобой о дарованном нам счастье постоянного общения с Пушкиным, о том, что

у наших внуков уже нет потребности, для того, чтобы выжить, постоянно касаться рожденных Пушкиным слов, чувствуя, что за каждым словом равно Пушкин и они сами, их помыслы, волнение души, судьба, видения, им довольно Пушкина за стеклом, за слюдяным оконцем картонной папки, у них иной замес, им даровано иное счастье, мне хотелось вспоминать с тобой небольшую площадку перед угловыми воротами Святогорского монастыря, в базарный день заставленную санями (однажды ты вдруг вскочила на тронувшиеся оттуда уже порожняком розвальни, молодой мужик в растопыренной ушанке лихо потрянул вожжами и, оглянуться не успели — я перепугался: уж не увез ли совсем, не украли ли! — отмахал с тобой полдороги до Петровского), и еще один давний день — уже июньский, когда долгой вечерней зарею («одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса») возвращались из Михайловского в Святые Горы, а за обочиной, по краю дороги, в высоких полевых цветах всё сверкало от обилия светляков (никогда и нигде больше такого не видел), мы набрали целую охапку ромашек, колокольчиков, всего, что под руку попало, светляки тотчас погасили свои фонарики, обратились в невзрачных серых жучков, мы принесли цветы в монастырский двор, по крутой каменной лестнице поднялись к стоящему на горе (Святые Горы) храму и положили их на могилу Пушкина — и в то же мгновение наш взъерошенный букет, будто рассыпанными в нем самоцветами, вновь засиял бесчисленными зелеными огоньками. Мне хотелось говорить с тобой, вспоминать и вместе видеть, но какой-то шустрый маленький каменщик, ловко подхватывая кирпичи, лепит их один на другой, громоздя между нами невидимую стену. Ты теперь коротко острижена (а я так люблю твои светлые, как северная белая ночь, волосы), я помогаю тебе мыть голову, бережно обнимаю пальцами круглый хрупкий сосуд, в котором запечатана вся наша жизнь...

В половине шестого зажигается свет в окне напротив, на четвертом (по-здешнему на третьем) этаже. Если точнее, не совсем напротив: дом на другой стороне улицы стоит наискось от нашего, два десятка метров влево. Чтобы узнать, зажегся ли свет, мне надо подойти к своему окну и высунуться из него. И тогда я вижу в ряду поблескивающих чернотой окон тускло краснеющий четырехугольник. Странно: Гелена уже давно не живет там, но приметный

красный занавес на окне все тот же: наверно, уезжая, она не сняла его, а новый жилец не стал переменять. Кто теперь живет в квартире Гелены, я не знаю, но, судя по тому, что в половине седьмого, как только свет в окне гаснет, из двери подъезда появляется маленький толстый господин, который затем не без труда втискивает свое тело в стоящий возле дома черный с белыми крыльями «Смарт», предполагаю, что он. У Гелены машины не было. В половине седьмого она, стуча каблучками, перебежала улицу, торопясь на автобус, к 7.35; высунувшись побольше из окна, я видел, как на остановке (почти под самым моим окном) она закуривала сигарету и успевала еще сделать несколько затяжек. Двери автобуса затворялись; повернув голову направо, я ждал, пока красный огонек не скроется в изгибе улицы, в этот миг я расставался с Геленой до вечера, когда свет, появившийся за красным занавесом в четырехугольнике окна, вновь возбуждал во мне ощущение ее присутствия.

Мы познакомились с Геленой на почте. У нее возникли недоразумения с автоматом, выдающим марки, и я помог ей справиться с ним. Помог без всякой задней мысли, не обратив внимания, что она молода (по моему счету) и весьма привлекательна, как помог бы всякому, кто оказался в ее положении, тем более что сам хотел побыстрее воспользоваться услугами того же автомата. Через полчаса мы встретились, выходя из супермаркета. Я не увидел в этом воли Провидения: в нашем районе все нужные магазины (как и почта) толпятся на одном пяточке; приметив кого-нибудь на улице, можно не сомневаться, что, пока справишься с делами, встретишь того же человека еще пару раз. Гелена держала в руке большую упаковку туалетной бумаги, на пластиковой обертке которой влюбленная пара созерцала сказочно красивый горный пейзаж. Точно такая же упаковка была и в моей руке, и это было бы, наверно, смешно, если бы воображение здешних граждан при виде туалетной бумаги рождало какие-либо ассоциации, кроме делового и почтительного осознания ее как предмета первой необходимости; фланировать по улице с упаковкой туалетной бумаги также неестественно, как с папкой для деловых бумаг или сеткой апельсинов. «Нам вместе, — сказала Гелена. — Мы соседи». А я и не знал.

Это было еще до моей болезни. Мне давно не доводилось ходить с незнакомой женщиной, молодой и привлекательной, у ме-

ня расправились плечи, шаг становился легче. Я чувствовал, что хочу понравиться; при том, что рассудок подсказывал, что это ни к чему, старая плоть начала выжимать масло, смазывая подержавшие механизмы оболыщения и производства впечатления. Я изрекал афоризмы и шутил, бодро помахивая в такт быстрому шагу цветастой упаковкой с туалетной бумагой. Идти было совсем недалеко. «Вон мое окно, — показала Гелена, — четвертое от угла. Сейчас мне некогда, но в следующий раз я приглашу тебя зайти» (я, хотя удивился, был приятно польщен этим «ты»). Она быстро поцеловала меня, то есть прикоснулась щекой поочередно к моим щекам и исчезла в подъезде.

«Следующего раза», который посулила мне Гелена, долго не наступало. Я, если слегка и сокрушался по этому поводу, никак не искал случая как-то повлиять на ход событий: во мне давно не осталось ничего, кроме привычки, что могло бы завлекать меня в какую-нибудь романическую историю. Изредка (поскольку в те дневные часы, когда я отправлялся за покупками, она обыкновенно была на работе) мы встречались на нашей торговой улице, останавливались на четверть часа поболтать или шли вместе в сторону дома, разговоры наши, как у старых добрых знакомых начинались «с середины», без предварительной разведки. Я узнал, что Гелена — врач, анестезиолог, замужем никогда не была, но у нее есть дочь, которая живет в Гамбурге с бабушкой, так удобнее и для девочки, и для бабушки. Рассказывая о себе, Гелена с такой убежденностью доказывала преимущества одинокой жизни, что поневоле не хотелось ей верить. Во время беседы она красиво склоняла голову, ее тяжелые темные волосы падали ей на лицо, хорошо отработанным легким движением она откидывала их назад.

Незадолго до Рождества я увидел ее выходящей из магазина с большим круглым тортом в красивой коробке. «У меня сегодня день рождения», — объяснила Гелена. «Принимаю приглашение», — моя шутка заведомо отдавала намеком. «Прости, — Гелена провела ладонью по моей щеке. — Давай в другой раз. Вечером мне на работу». — «Ну, еще достаточно времени, чтобы съесть торт», — это было тоже, пожалуй, слишком настойчиво для шутки. «Мы будем спешить, это вредно. Я поставлю торт в холодильник», — она засмеялась и приложила ладонь к моим губам, точно запечатывала их. Я поцеловал ее нежные пальцы. Мы расстались,

и в ту же минуту, как я остался один, я почувствовал, что сейчас же, немедленно пойду к Гелене, чего бы это мне ни стоило. Я купил букет ярко-красных тюльпанов и повернул к ее дому.

«Подожди минуту, у меня не убрано», — сказала она в домофон, когда я позвонил и назвалась. Через несколько минут входная дверь заверещала и открылась. Несколько задыхаясь от волнения, я поднялся на четвертый (по-здешнему третий) этаж. Гелена ждала на пороге квартиры. «С днем рождения» — я протянул ей цветы. «Какая прелесть», — она на мгновение окунула лицо в букет и снова откинула назад волосы. — «Проходи в комнату». Она пропустила меня вперед. На полу в коридоре стояло ведро, заполненное такими же, как мои, красными тюльпанами. В небольшой комнате напротив двери раскинулась широкая тахта, наспех покрытая темно-красным пледом. На тахте лежал цветастый ночной халат; в его позе было что-то примечательно динамическое, точно его только что сбросили или вот-вот должны надеть. В углу комнаты жалась елка, украшенная немногими сверкающими шарами, на ее верхушке вместо звезды светилось красное сердце, выгнутое из неоновой трубки. Над тахтой были беспорядочно приклеены почтовые открытки — цветы, виды, собачки и кошки, пасхальные зайцы, Эйнштейн с высунутым языком. «Это друзья присылают мне к праздникам, жалко выбрасывать», — сказала Гелена. — Вот ты пришлешь мне поздравление к Рождеству, я тоже его сюда повешу... А это моя дочка». На черно-белой фотографии, помещенной посреди открыток, уже взрослая девушка с такими же, как у матери, прямыми темными волосами и жаркими темными глазами. «Сколько же ей лет?» — «Девятнадцать. В этом году заканчивает гимназию. Погоди, я принесу воду для цветов».

С той минуты, как я вступил в квартиру, меня не покидало ощущение, что в ней есть еще кто-то, кроме нас с Геленой, и, хотя было совсем тихо, только из кухни или из ванной слышалось шипение воды, я не мог отделаться от этого ведьмовского «человеком пахнет». Появилась Гелена и поставила банку с моими тюльпанами на пол возле тахты. Она успела переменить туфли на домашние шлепанцы; без каблуков она оказалась совсем маленькой. Снять уличную куртку Гелена мне не предложила. Я сказал: «Лучше я приду в другой раз». Гелена подошла ко мне совсем близко, приподнялась на носки, крепко обхватила руками мою шею. «В следующий раз мы не будем спешить — правда? Мы бу-

дем пить вино, разговаривать, молчать...» Ее дыхание было теплым и сладким, с легким привкусом табака, я вдыхал ее слова, как колечки дурманного, душистого дыма. Она прижалась губами к моим губам, остренький скользкий язык настойчиво просился в мой рот. На мгновение я потерял ощущение чужого присутствия, мои руки налились силой и желанием, которых я давно не испытывал. Гелена тут же выскользнула из моих объятий, отступила на шаг: «Подожди. У меня есть кое-что для тебя». Она отворила дверцу шкафа, наполнив комнату ароматом сложенного стопками белья, сняла с полки коробку из-под обуви, порылась в ней минуту и протянула мне небольшой плотный лист бумаги: «Возьми — вместо рождественской открытки». Это был мастерски исполненный рисунок карандашом: тотчас отличимая улица провинциального русского города, выстроившиеся в ряд добротные одноэтажные каменные дома, поодаль двухэтажное с треугольным фронтоном здание какого-то губернского учреждения, запряженная парой коляска у входа, на переднем плане, возле украшенной вывеской лавки беседуют полная женщина в салопе и молоденькая служанка с корзиной на руке; под рисунком по-русски: «Старый Воронеж» (с «ером»), в уголке сплетенная монограмма «АБ» и дата «1933».

— Боже мой! Откуда это у тебя?

— Дед привез с Восточного фронта. Наверно, единственный трофей. Он вернулся без ноги. По дому прыгал на костыле, а в спальне рядом с кроватью стоял засунутый в штанину брюк протез, — я в детстве ужасно его боялась. А что тут написано?

— Это название одного русского города.

— Ты был там?

— Только однажды проездом, всего несколько часов...

Было это, наверно, три с половиной десятилетия назад. Московский поезд отправлялся поздно вечером, я, скучая, бродил по городу, сливавшемуся в моих впечатлениях в нечто единообразное со множеством других виденных мною городов российской провинции, сунулся было в картинную галерею — там, уже не помню почему, оказался неприятный день, заглянул в магазины, на одной из центральных улиц в «Кулинарии» в качестве полуфабрикатов предлагали шницеля из свеклы и отбивные из моркови, — с малолетства знакомая «продовольственная проблема». (Несколькими днями раньше в городе Острогжске, на родине ху-

дожника Крамского, куда забросила меня работа над книгой о нем, я после жалкого обеда в общепитовской столовке и обозрения торговых точек спросил руководителя местной власти, как, по его суждению, можно решить эту вечную проблему; «А как ее решишь? — он скучно потер начинающую лысеть макушку. — Надо бы поросю завести, да некому ухаживать. Я целый день на работе, жена тоже, а сын, *так его мать*, разве будет поросю кормить? — растет, понимаешь, чистый хунвейбин».) Чтобы скоротать время до поезда я зашел в кино, крутили фильм «Не промахнись, Асунта!», — от ленты остались в памяти лишь темпераментное лицо актрисы и название (впрочем, тоже немало). Всего этого я, конечно, не рассказал Гелене, потому что такое невозможно передать в словах тому, кто этого не пережил. Я вспомнил также, что позже, опять-таки очень давно, снова побывал в Воронеже, но уже во сне. Это был странный сон. Мне привиделось, будто в городе воздвигнут памятник русской литературе. Вокруг громадного водоема возвышались массивные бронзовые статуи классиков, и у ног каждого, как молодая поросль, толпились, образуя причудливые мизансцены, его герои. Неподалеку от фигуры Гоголя, с высоты печально и снисходительно созерцающего окружающих его Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей, я заметил в толпе зрителей тотчас привлекающую взгляд яркой вульгарной красотой девчонку лет восемнадцати с ярко накрашенными губами; под черной суконной курткой петеушницы на ней переливалась полосками тельняшка, тесно облегающая высокую грудь. Девчонка стояла с двумя пожилыми тетками, толстыми и краснолицыми, похоже, изрядно поддавшими. Я протянул ей руку и позвал вместе со мной осмотреть памятник; у нее была жесткая, крепкая ладошка. Девчонка лениво жеманилась, тетки, точно сводничая, уговаривали ее идти и услужливо ко мне подталкивали. Я повел обретенную спутницу поближе к водоему и стал было показывать ей разных Хлестаковых и Чичиковых, которые вдруг превращались в живых человечков, одетых в разноцветные костюмы, шустро двигались, кривлялись, перебежали с места на место прямо по поверхности воды, но девчонка потащила меня в сторону, к тяжелой чугунной ограде парка, она распахнула бушлат, прижалась ко мне упругими грудями, так, что я чувствовал ее крепкие, как пробки, соски, ее долгий поцелуй набил мне рот ягодным вкусом дешевой помады, мощное желание охватило меня, я чув-

ствовал, еще минута и взрыв обратит меня в ничто, но тут задрезжал медный вокзальный колокол, я открыл глаза и увидел, что мы стоим на вокзале в толпе пассажиров, толстолицые тетки уже подхватили свои мешки, девчонка с силой тянула свою руку из моей: «Пусти, некогда, поезд отходит», — я проснулся. Про сон я Гелене, конечно, тоже не рассказал... Ведро с красными тюльпанами в коридоре уже не стояло. «Мне было хорошо с тобой, — сказала Гелена, отворяя дверь. — А в следующий раз будет еще лучше».

В следующий раз мы увиделись почти через год, уже после моей болезни. Я брел за покупками, толкая перед собой каталку. Гелена выбежала мне навстречу из дверей магазина — в одной руке набитая доверху сумка, в другой — всё та же туалетная бумага, десять рулонов в цветастой пластиковой упаковке с влюбленной парочкой и горным пейзажем.

— Что с тобой? — спросила она. — Я думала, ты переехал.

— Я было переехал, но потом раздумал и вернулся.

— А я, правда, переехала: вышла замуж.

— Ого! Поздравляю. И что же, замужем лучше, чем одной?

— Знаешь, он палестинец. Сперва я хотела облегчить ему получение постоянного вида на жительство, а теперь — люблю и очень счастлива.

— А что твоя дочь?

— Она в Париже. Поступила домашней работницей к богатым людям и учится в университете. Что-то юридическое и языки. Конечно, счастлива. Еще бы! Париж!

— Я, как Азazelло, предпочитаю Рим.

— Кто этот Азazelло? Твой знакомый?

— Все мы так или иначе оказываемся с ним знакомы.

Она поставила сумку на тротуар, порылась в кармане и протянула мне визитную карточку: «Тут мой новый адрес. Непременно позвони мне. Непременно. Я очень по тебе скучаю»...

Быстрое прикосновение ее щек к моим щекам... Легкий ветерок ее дыхания, приправленный ароматом табака...

Часто в половине шестого утра что-то гонит меня открыть окно, высунуться и посмотреть, зажегся ли свет на четвертом (поздешнему третьем) этаже в доме на противоположной стороне улицы, слева наискосок. Да и вечером я нет-нет и выгляну: засветился ли над темной улицей этот красноватый прямоугольник. Я

почему-то благодарен толстому владельцу «Смарта» за то, что он не сменяет занавес. Что-то пропадет для меня, когда окно станет белым или зеленым.

К нынешнему Рождеству Гелена повесила на ручку двери нашего дома коробку с испеченными ею песочными бисквитами. Я ответил трогательной открыткой...

...Город обступил меня со всех сторон, холодный, как лед. Холод, которым веет от его стен, мостовых, темных окон, жадной, тоскливой болью проникает в мое тело. Я совершил ужасный проступок. Отчаяние мое беспредельно. Я ищущу наказания. Я хочу умереть. Я ступаю босыми ногами по окованным холодом черным камням, на мне только белая рубаха, расстегнутая на шее и на груди. Я брежу долго, не знаю, сколько кругов успеваю совершить стрелка стенных часов над дверью палаты в течение всей этой долгой ночи, пока я блуждаю по городу, который никак не могу узнать. Холод все более заполняет меня, тело мое каменеет, становится подобием окружающего меня камня, частью его, но жажда жизни все еще копошится во мне и вдруг подает о себе вестись сильным желанием помочиться. Я звоню в дверь дома, мимо которого в этот момент прохожу. Массивная дверь отворяется, я оказываюсь в залитом светом коридоре богатого особняка, на полу белый мягкий ворсистый ковер. Молчаливая служанка в фартучке подводит меня к туалету. Я с наслаждением справляю нужду и выхожу обратно в коридор. У двери туалета, видимо служанкой, поставлен невысокий мягкий табурет, обтянутый белой кожей. Я присаживаюсь на минуту, но счастье ощущения тепла и света так властно, что не нахожу в себе сил вновь погрузиться в холодную темноту за дверями. Опять появляется служанка и также молча предлагает мне следовать за ней. В красиво обставленной гостиной меня ждут мои давние московские приятели, муж и жена Л.(О. и Т). Я каюсь им в моем проступке, они сочувственно кивают головами, я вижу, что мой вид пугает их. Они суетятся, отдают распоряжения прислуге, звонят по телефону. Посреди комнаты оказывается высокая больничная кровать, на которую меня укладывают. Тут, к моему изумлению, появляется московская медсестра Зина, с которой я имел удовольствие познакомиться сорок лет назад в сумасшедшем доме, деликатно именуемом психоневрологической больницей № 4. В первый же день пребывания

там мне были назначены инъекции магнезии (кто-то успел предупредить, что они весьма болезненны). Я бодро вошел в процедурную и — обмер. Передо мной стояла маленькая стройная брюнетка с ослепительно сияющими изумрудными — таких я прежде никогда не видел (и, добавлю, после тоже) — глазами. Она надломилла внушительного размера ампулу, окунула туда иглу шприца и сказала без интереса: «Снимайте штаны». Ошарашенный, я непослушными пальцами расстегнул брюки и слегка обнажил верхнюю часть бедра. «Быстрее, вы не один. Спускайте штаны до колен и ложитесь на топчан... Да не так, — коротко усмехнулась она, когда я суетливо исполнил ее приказ. — Ягодицами кверху». Укол она сделала виртуозно. Я не почувствовал никакой боли. Впрочем, может быть, не в проворных ее руках было дело, а в изумрудных глазах. Поднимаясь с топчана и натягивая брюки, я сказал: «После всего, что произошло, я, как порядочный человек, должен на вас жениться». — «Хорошо, я подумаю». С этого дня мы с Зиной стали приятелями. Она баловала меня мелкими одолжениями, в условиях упомянутой больницы неоценимыми.

(Когда вы, миновав проходную, оказывались на территории сумасшедшего дома, безумство мира становилось для вас очевидным. Куда бы вы ни обратили взор, все вокруг было густо насыщено «наглядной агитацией». Прямо перед взором вошедшего на центральной аллее высился огромный, пятиметрового размера портрет Ленина. Приложив распахнутую ладонь к козырьку кепочки и как бы покручивая большим пальцем у виска, Ильич подтверждал: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Справа, над вывеской приемного покоя краснел транспарант: «Великому Октябрю достойную встречу!» Другой транспарант, слева, на фасаде главного корпуса, звал выполнить задания партии. Яркая афиша на двери извещала, что по случаю годовщины Октября состоится «концерт силами голодающих». Вход же в отделение, куда меня поместили, украшал длинейший, в четыре или пять строк лозунг, требовавший свободы поработенным народам Азии и Африки. Прочитать этот лозунг до конца и запомнить я за все время пребывания в больнице так и не сумел: возвращаясь с прогулки под командой поторапливавшей нас сестры всякий раз не успевал, в остальное же время дверь — для больных — была всегда заперта...)

За минувшие годы Зина ничуть не постарела, и глаза у нее такие же изумрудные. Она бережно моет мое тело, смазывает каки-

ми-то снадобьями, дает мне выпить что-то. Я задремываю, охваченный сладким блаженством усталости. Проходит, наверно, совсем немного времени, я просыпаюсь в той же гостиной, изнемогая от навалившейся на меня тяжести. Тело мое, как бывало уже не раз, придавлено к кровати громоздящимися на мне свинченными, как строительные леса, металлическими конструкциями. Не то что приподняться, я и пошевелиться не в силах. Зины уже нет, но приятели мои, муж и жена Л., по-прежнему в комнате. О. сидит в кресле, слева от меня, совсем недалеко, на коленях у него иллюстрированный журнал, в руке стакан. Я чувствую запах виски. О. всегда много пил. Он быстро скользит глазами по тексту, то и дело окуная в стакан свой длинный тонкий нос. Т. — где-то в отдалении, я вижу только ее поднимающиеся руки и понимаю, что она одно за другим примеряет новые платья. Красное, лиловое, зеленое кружится в воздухе, падает вниз и снова взмывает вверх, слышен шорох скользящей по телу ткани. Вокруг нее мелькает, появляясь и исчезая, произносящая подобающие делу слова молодая дама, портниха или, может быть, представительница фирмы готовой одежды. Ни муж, ни жена не обращают на меня ни малейшего внимания, будто меня нет в комнате.

Я пытаюсь окликнуть их, кричу все громче, но скоро мне становится ясно, что прозрачная завеса опустилась, я невидим для них и неслышим. Что-то еще происходит с ними, потом оба подходят к стенному шкафу, оказавшемуся лифтом, и исчезают. Я, корчась в отчаянии, понимаю, что никто теперь не освободит меня из железного плена, и снова проваливаюсь в сон, заполненный холодом, темнотой и болью. Когда я просыпаюсь, уже рассветает. Железные конструкции все еще лежат на мне, но дышится легче. Воздух легкий, морозный, но холода я не чувствую, только какую-то удивительную, напоенную прохладой свежесть. Я по-прежнему в гостиной моих приятелей, но слева от меня нет ни продолжения комнаты, ни стены дома. Если посмотреть на дом с той стороны, комната, где я лежу, наверно, похожа на выстроенную театральную декорацию или на помещения, которые открываются взгляду, когда стена здания срезана бомбой. В шаге от моей кровати, тотчас за срезом стены, — широкое, до горизонта поле, невспаханная стерня, припорошенная выпавшим за ночь снегом, поодаль длинный приземистый сарай, побеленный, под соломенной крышей, а над полем огромное быстро светлеющее небо. Кто-то тихо берет

меня за руку. Я узнаю женщину, которую встречал в юности. Она любила меня, я был в силах ответить ей лишь дружеским расположением. Потом я иногда сталкивался с ней на улице, на именинах, на похоронах; несколько лет назад, когда я в последний раз был в Москве, она пришла на вокзал передать какие-то бумаги ее давно уехавшему сыну — старая, грузная, с грубо выкрашенными зачем-то в черный цвет редкими волосами. Теперь передо мной опять та юная девушка, с которой я познакомился когда-то, только эта, нынешняя, намного прекрасней прежней — сильная нежностью Суламифь или Ависага, с тонким иудейским профилем и смоляными кудрями, покрывающими плечи. На ней прозрачная туника, как на балерине. Едва уловимым движением она извлекает меня из-под металлических конструкций, как если бы тело мое было соткано из воздуха, и я уже стою рядом с ней. «Смотри!» — она вдруг прямо, как стояла, начинает подниматься над землей, все выше, выше — и вот она уже высоко в небе, остановилась и стоит, прямо, вытянувшись стрункой, как стояла на земле. (Я вижу ее все время только в профиль.) Восходящее солнце пронизывает ее тунику оранжево-розовыми лучами. Ветер упирается в тонкую, подставленную ему навстречу грудь женщины, отдувает невесомые края туники, руки она откинула назад, не для того, чтобы лететь, а чтобы оставаться на месте, противостоя ветру. Я слегка упираюсь ногами в землю и вдруг чувствую, что тоже легко начинаю подниматься прямо вверх, так, словно это не я поднимаюсь, а земной шар отплывает от моих ступней. Я — в небе, но не рядом с женщиной, а ниже и чуть в стороне от нее. Как и она, я откидываю назад руки, противоборствуя ветру. Я не помню, когда мне дышалось так легко: морозный воздух втекает в меня, как вода горного родника. Оранжевые лучи восходящего солнца не приносят холода, они обжигают тело особенным ледяным теплом. «Я молюсь за тебя!» — кричит женщина. Ветер относит ее ввысь и вдаль, к горизонту, совсем далеко она растворяется в небе, как оранжевая звезда. Вся земля подо мной — одно нескончаемое белое поле, исчерченное полосками выглядывающего из-под снега жнивья, посреди темнеет прямоугольником крыша сарая. Земной шар снова приближается к моим ногам, я чувствую всем телом, как он принимает меня в сферу своего притяжения. На белой стене палаты прямоугольник картины Шагала с ликами лошадей и коров, в дверь входит Хамид, в руке у него чашка с носиком, чтобы удобнее было

пить лежа: «Вы просили ромашковый чай». Неужели? «Когда просил?» — «Да вот только что. Погодите, я подтяну вас повыше на подушку». Справа за окном хозяйничает осень. Мой уже облетевший Медный Всадник побронзовел, устремился куда-то на своем тощем Росинанте по берегу пустынных волн...

Внучка спросила меня, помню ли я свои прежние жизни, прожитые до этой, нынешней.

Мне непросто представить себе бесчисленную череду возвращений, но так же непросто осознать, что существует бесконечность, направленная лишь в одну сторону (по определению Толстого) и что такая бесконечность, если великое *Быть Может* все-таки может быть, означает вечный покой, разве что сознаваемый, отсутствие всякого развития, всякого движения.

(Немыслимо увидеть движение в бесконечном накоплении любви сонмом постоянно приближающихся к недостижаемому Богу праведников, у которых, кроме любви и нет ничего, как не узришь его и в вечных однообразных муках тех, кто на них обречен, — стоило ли жаловать человеку «семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят», чтобы потом, сведя баланс, обречь на нескончаемое мучение, не найти для него прощения, которое здесь учат нас находить всякому грешнику, прощая не до семи, а до семидесяти семи раз, подставляя ударившему другую щеку? Какое уж тут «око за око, зуб за зуб» — тут за единый зуб карают жестоко и бесконечно. Нет, в Бога любви я могу верить, в Бога вечной кары — нипочем не поверю. Образ карающего Бога создан людьми, подвигающими себя к лучшему. «Ад — это отсутствие света». В тебе самом.)

Я не помню своих прежних жизней. Скажу лишь, что многое, с чем встречаюсь на долгом своем пути — разнообразные предметы, цвета, мысли, типы лица, ландшафты, мелодии, — воспринимаю двояко: одно как приобретенное опытом лет, другое — как нечто изначальное, знакомое, врожденное, до нажитого годами мне данное. То, что не с годами и даже не на заре жизни, в младенчестве вошло в меня, но с первой встречи было почувствовано своим, не потребовало ни постижения, ни привычки, как материнское тело, воздух, вода.

Я рассказал внучке про одно видение, которое с незапамятных лет, однажды явившись, неотступно живет во мне. Я иду под

солнцем по каменистой дороге, горячей, сухой и пыльной, положив ладонь на спину ослика, вышагивающего рядом, чувствую кожей ладони его согретую солнцем пыльную шкуру. Мы сворачиваем направо, по узкой тропе поднимаемся на покрытую выжженной, почти серой травой небольшую площадку и выходим к крутому скалистому обрыву. Внизу, под обрывом — море. Синее, сверкающее, играющее волнами. Я стою на крутизне, чувствуя ладонью сухую, теплую шерсть животного, и, не отрываясь, смотрю на опрокинутое над морем яркое небо. Я знаю, чего я жду. Наступает момент: по небу, справа налево, неспешно пролетает Невидимое. Движение этого Невидимого словно сминает гладь неба, оставляет след, как оставляет плывущая по воде лодка. Иногда мне кажется, что я, не видя, ощущаю некую движущуюся передо мною, надо мною Плоть. Душа во мне расправляется, наполняется радостным покоем...

— Нет, — это не прошлая жизнь, — подумав, решила внучка. — Это будет с тобой, когда ты умрешь.

5

Алик лежал в гробу, как на дне лодки, большой и глубокой. Болезнь иссушила его, плоть утратила рельефность.

«И снова сосновая лодка, // Качаясь, плывет по плечам...»

Он с детства любил воду, корабли. Когда он был мальчиком, его отец несколько лет подряд во время навигации плывал судовым врачом на линии Москва-Астрахань. В Астрахани до революции жил дед Алика, был пароходчиком, принадлежавшие ему суда крутили в плицах колес волжскую воду. Любовь к кораблям у Алика была в крови. Семье судового врача полагалась каюта и питание. Теплоходов не было, ходили еще пароходы. За лето успевали два-три раза спуститься вниз по Волге до устья и подняться обратно. Канал «Москва-Волга» еще не построили, суда шли от Москвы по Окской системе, через старые шлюзы (может быть, я что-нибудь путаю, Алик бы поправил). Уже взрослыми мы плыли вместе этим путем в Константиново, к Есенину. (В Константинове, на есенинском дворе я подобрал картофелину — вспомнилось: «наша тощая и рыжая кобыла выдергивала плугом корнеплод», «отцу картофель нужен, нам был нужен сад», — картофелина удивительно долго — годы! — хранилась у меня, не сморщиваясь и не за-

сыхая, будто только что вынутая из земли.) Сооружения канала «Москва-Волга» в свое время смотрелись величественными (мне несколько лет довелось работать на канале), но прежний маршрут был несравнимо поэтичнее: судно, казалось, прокладывало себе путь среди заросших высокими травами и полевыми цветами лугов, бревенчатые стены и ворота старинных шлюзов дышали сказкой. Во второй половине жизни у Алика оказалась дача на канале. Приезжая к нему, я любил ночевать на террасе: проснешься на рассвете — огромный белый красавец-корабль задумчиво, неслышно движется совсем близко, перед твоими глазами, словно вливается в твой сон и вновь уплывает. Был капитан парохода, на котором прошли незабываемые месяцы детства Алика, именно такой, каким должен быть капитан, поджарый, с обветренным лицом, резкими морщинами на щеках и зоркими глазами, Василий Иванович, кажется, так его звали, Алику разрешалось стоять рядом с ним на мостике, у Алика была белая матроска с синим отложным воротником и бескозырка с золотой надписью «Моряк» на ленте. Он стоял рядом с капитаном на мостике, повторял за ним команды и зорко всматривался в даль. Была какая-то веселая мистика в этом образном предопределении. Молодым врачом — первая должность — его отправили в Вологду, поставили во главе больницы водников; на небольшом служебном буксире он плавал по северной Сухоне, проверял медпункты, часто сам становился к штурвалу. Капитанский мостик было назначенным ему местом в жизни...

Жили, не разлучаясь, до старости, в одном доме, можно сказать — под одной кровлей, если оба были в Москве, почти непременно виделись каждый день. Однажды сложилось так, что Алик должен был обменять квартиру, я смириться с этим не мог, недоумогал физически от одной мысли, что окажемся в отдалении друг от друга: на Арбат или на Остоженку в выпавшие свободными полчаса не забежишь. Возвращаясь домой, смотрел на его окна и заранее тосковал, что в них будет гореть не его свет. Алик сумел получить другую квартиру в нашем же доме. Когда я уехал, он писал мне, что по вечерам старается возвращаться домой так, чтобы не проходить мимо моих пустых окон. Он понимал, что я вряд ли что мог изменить в своей судьбе, но рассудительно принять мою судьбу, как она сложилась, похоже, был не в силах. Мы не говорили об этом, но я знаю, что он находил для меня другие варианты.

Наверно, он так и не простил меня до конца. Наши встречи — два-три раза в год (по большей части он приезжал ко мне), длинные письма и короткие телефонные разговоры (разговаривать по телефону Алик не любил) можно обозначить известными словами классика как «вещественный знак неведущих отношений»: несмотря на разлуку каждый из нас пристально и внимательно, главное же — с еще большей, чем когда-либо, раздираемой разлукой любовью исследовал и уяснял, что происходит с другим, — вот на чем всё между нами продолжало держаться. Недавно я прочитал то, что и сам давно знал: люди — биографы друг друга. За долгую жизнь мы с Аликом не успели друг другу надоесть и продолжали воодушевленно писать один биографию другого. Но в наших нечастых встречах уже таился надрыв, о котором мы оба молчали, — их воздух напоялся чувством неизбежного конечного предела. Из них ушло привычное пренебрежение к неизбежному. Они были слишком желанными и необходимыми, чтобы не стать считанными. В последний свой приезд он вдруг произнес то, что оба таили: «Знаешь, а ведь нам, может быть, осталось увидеться лишь несколько раз». Мы виделись еще два раза: я ездил к нему, уже безнадежно больному. В третий раз я полетел его хоронить.

До похорон оставалось четыре с половиной месяца, когда он решил широко и серьезно отметить свой юбилей. Позвонил: «На похороны можешь не приезжать, а на юбилей приезжай непременно». Юбилей не обернулся репетицией похорон. Цветы, которые нанесли люди в Дом ученых (народу набилось столько, что, к удивлению администрации, пришлось отворить вход на балкон), дышали наступающей весной. Алик был энергичен, весел, много пил, мыслью и чувством обращен в прожитую жизнь, а не в грядущее небытие (он был убежден, что в — небытие).

Во второй раз я повез ему рукопись книги о Толстом. Эту книгу мы с ним давно задумали: «Лев Толстой в пространстве медицины». Между собой мы именовали ее *интегративная биография*. Нам хотелось сопрячь в едином тексте физическое, психическое, творческое. Алик с юных лет энергично, как всё делал, любил Толстого. Это тоже сильно нас роднило. Чувство, которое связывало нас с Толстым, звало не только читать, постигать, усваивать им созданное, но — постоянно беседовать с ним, спрашивать совета, искать встреч и мечтать о них, думать о нем,

как думаешь не о властителе дум, не о великом художнике, не об учителе, а о своем, близком человеке, понятном и непонятном, как бывают понятны и непонятны близкие люди, как о близком человеке, постоянно тебе, и только тебе, открывающемся и что-то открывающем. Конечно, при всем том отношение к Толстому у нас во многом было разное, мы немало спорили, в отношении к нему, кроме того общего, что нас объединяло, являли себя в полной мере и личные особенности, черты личности каждого из нас. Вывод Толстого, что без «гипотезы Бога» ничего не мог бы сделать доброго, Алик принять так и не захотел, зато толстовское «Мне кажется, что мир кончится, если я остановлюсь» — это было совершенно его.

Он вывез меня (мало выезжавшего и мало выездного) в круиз по Средиземному морю (любовь к кораблям в годы зрелости и старости осталась прежней, юной). Часами стояли на верхней палубе на самом носу корабля, задыхаясь от встречного ветра и встречного счастья, всё высматривали что-то впереди, хотя впереди было только море и небо.

В Марокко, на автобусной станции, среди добела запыленных автобусов, разглядели один, неказистый, видно по всему отслуживший долгие годы, — на борту цветастый знак туристской фирмы, ниже адрес: Танжер, ул. Толстого, 2. Остановились посреди пыльной площади и засмеялись от радости.

Я долго возился с книгой. В последний свой год (зная, что — последний) Алик торопил меня дописать ее, чтобы пополнить своими комментариями ученого медика (так у нас было задумано). Я успел привезти рукопись ему живому, но на комментарии времени у него не осталось. Книга увидела свет, когда уже чужой свет горел в окнах его квартиры.

На похороны пришло так же много народу, как на юбилей. Цветов нанесли еще больше. Говорили речи. «И снова сосновая лодка, // Качаясь, плывет по плечам // Дорогой простой и короткой // На самый последний причал...»

Толстой (впереди у него еще более полутора десятилетий напряженной жизни) записал в дневнике, что всё чаще и живее думает о смерти (тут хорошо это — *живее!*). Он уже не видит перед

собой той плотской — только плотской — смерти, которая прежде его ужасала. Отчего бы не дожить до страстного *любопытства*? — мечтает он. И осаживает себя: нет, нельзя, не дано. Хорошо бы обрести — готовность.

Но страх смерти побеждаем не любопытством, и готовность даруется верой. В ту же пору, когда занесены в дневник толстовские строки, затворник Феофан, известный духовный делатель, пишет умирающей сестре: «Ведь ты не умрешь. Тело умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. День, другой, и мы за тобою. Скоро свидимся»...

Однажды в молодости Толстому приснился сон, который можно назвать архетипическим. Редко кому не снилось нечто подобное. Во сне была дверь, которую он не мог отворить, потому что кто-то (неизвестно — кто) держал ее с другой стороны. Ужас объял его. Он хотел бежать, ноги не шли. Он проснулся и был счастлив пробуждением. Чем же я был счастлив? — спрашивает Толстой, занося сновидение в дневник. И отвечает: я потерял сознание, которое имел во сне, и приобрел иное сознание при пробуждении. «Не может ли быть так же счастлив человек, умирая? — нащупывает вывод Толстой. — Он теряет сознание *Я*, говорят. Да разве я не теряю его, засыпая, а все-таки живу».

Десять лет спустя сновидение по-своему повторится в последнем томе «Войны и мира». Оно отдано умирающему князю Андрею. От того, успеет он или не успеет запереть дверь, зависит всё. Он спешит, но ноги не двигаются. Охваченный мучительным страхом, он подползает к двери, держит ее, но с другой стороны ломится в дверь что-то ужасное, обе половинки двери беззвучно отворяются, и это *что-то* входит в комнату, и оно есть смерть. И князь Андрей умирает. Но в то самое мгновение, как он умирает, он сделав над собой усилие просыпается. «Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение» вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая неведомое, была приподнята перед его душевным взором. «С этого дня, — завершает эпизод Толстой, — началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна — пробуждение от жизни».

«День каждый, каждую годину // Привык я думой провождать, // Грядущей смерти годовщину // Меж их стараясь уга-

дать»... Дума о годовщине, о дате преследовала Толстого, наверно, еще более, чем Пушкина. Софья Андреевна говорила: «Ты февраля боишься, а я ноября». Может быть, Лев Николаевич боялся не февраля, а — в *феврале*: накануне весны света, солнцеворота, пробуждения природы — любимое его время!.. Как бы там ни было, Софья Андреевна, по обыкновению, оказалась права: оба умерли в ноябре. Толстой умер 7-го ноября, по новому стилю — 20-го. (Федор Васильев, великий пейзажист, прожить ему было отпущено всего двадцать три года, шутил: если объявят дату конца света, поезжайте в Россию — тринадцать дней лишних проживете.) Александра Львовна Толстая, младшая дочь (из Толстых — едва ли не самая упрямая долгожительница: добралась до девяноста пяти) говорила, что перестала горевать, когда после смерти отца заглянула в любовно составленный Львом Николаевичем «Круг чтения» на каждый день и под датой 7 ноября обнаружила: «Жизнь — сон, смерть — пробуждение».

В Астапово мы приехали ночным поездом. Ночи стояли долгие, дни короткие и темные — конец ноября (очередная годовщина со дня смерти Толстого). Сотрудницы тамошнего маленького музея — в пристанционном здании, где, в комнате начальника станции, умер Лев Николаевич, — нас ждали; накормили горячими пирожками и творогом, какого в Москве давно не едали, напоили душистым чаем с медом. Беседовали сообразно с обстоятельствами места и времени, и при этом душевно (та душевность ночных бесед, когда собравшиеся, пусть на эту ночь всего, объединены общностью мысли и чувства), а в *ту* комнату идти не спешили: кажется туда и электричество не было проведено, во всяком случае, не помню, что его зажигали. Была какая-то внутренняя необходимость в том, чтобы не очертя голову, не сразу, не с дороги — *смотреть*, чтобы, не думая об этом специально, не прикидывая, не рассчитывая, дождаться минуты, когда только и останется, что *пойти*, когда уже нельзя не пойти, когда все предшествующее сойдется в одну точку, в этот неизбежный следующий шаг.

С сжавшимся от волнения сердцем — по темному коридору, и — налево: надо одолеть проем двери, пробудиться в *его* смерть — в *его* жизнь. Снизу дверной проем заложен листом плексигласа, чтобы посетители не входили, смотрели с порога, но для нас (мы — из московского Музея Л.Н.Толстого) плексиглас убрали, и

мы — вошли. За окном было еще совсем темно, засветили то ли лампу керосиновую, то ли фонарь, то ли свечу: свет был не электрический — теплый, живой, подвижный, каждая вещь в комнате — *жила*, повторяясь глубокой тенью, всё было не по-музейному, не расставлено, а именно так, *как было* (как стояло *тогда*) — железная кровать, столик, стакан, стул с вынутым сиденьем и подставленным снизу ведром, занавеска на окне, и среди живых вещей на тогдашних уцелевших обоях — карандашом обведенный профиль *его*, профиль тени его, уснувшего и пробудившегося в иную жизнь. Он жил здесь (той ночью и для меня — несомненно), в каждой вещи, профилем на стене, воздух в комнате был заполнен его присутствием... Начало светать — я вышел на улицу.

К утру подморозило. Земля была присыпана свежим снегом. Пахло близкой зимой, дымом топящихся печей, металлом и мазутом пролежавшего рядом железнодорожного полотна. Приземистое, обшитое досками одноэтажное пристанционное здание неспешно выбиралось из темноты.

Вдруг вспомнилась эта замусоленная вместе со страницами бессчетно читавшейся книги дичь: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»... Когда-то я тоже хохотал над нелепо смешным (так же, как про апельсины бочками и братьев Карамазовых) текстом телеграммы, которой великий комбинатор атаковал запуганного советского миллионера, — с годами, умудрясь, хохотать перестал, не улыбнусь даже (в оправдание авторов: их молодое советское потешенье над прошлым в данном случае питалось словесной пошлостью газетных репортажей 1910 года: «Горе супруги Льва Толстого... Софья Андреевна, узнав о бегстве мужа, совсем потеряла голову. Она с горькими рыданиями побежала на пруд и бросилась в воду...»). Теперь перед глазами страшная, облетевшая весь белый свет фотография: одинокая старая женщина, укутанная в платок, с улицы прижалась лицом к стеклу окна, загородилась рукой в рукавице, чтобы не отсвечивало, чтобы поглубже проникнуть взором в темноту комнаты, разглядеть *его*, единственного, с кем и кем прожила без двух годов полвека, кому беззаветно (и как часто — безответно) эти без двух годов полвека служила, — стоит одна-одинешенька посреди забеленного первым ноябрьским снежком простора: все вошли в дом, внутрь, к нему, родные и близкие, всем место рядом с ним, только ей по другую сторону стекла. В осенние дни комната сумрачна, да и кровать поставлена

направо от окна, в стороне, — снаружи *его* не разглядишь... (В дневнике Софьи Андреевны: «До Льва Ник. меня не допустили, держали силой, запирали двери, истерзали мое сердце».) Поневоле задумаешься: апустили бы ее, как бы оно повернулось? В бреду повторял: «бежать, бежать...», но в последние часы, думая о жизни и смерти, заботясь об истине, произнес сокрушенно: «Многое падает на Соню, мы плохо распорядились»... Но — не он сам, другие строили сюжет его последнего сна в канун пробуждения...

Между тем утро вступало в свои права, наваждение таяло, вместе со светом всё энергичнее разворачивалась вокруг станции Астапово и прилежащего городка, непостижимо переименованных в «Лев Толстой», фантазмагория бодрствования, или, может быть, сон, так же воздвигнутый для всех нас чужими, недобрыми руками. В городке обитали не толстовцы, в заботе о великой эпохе затравленные, запертые в тюрьмы и лагеря, вместе с прочими врагами народа вовсе ликвидированные, а нормальные советские люди — «левтолстовцы». И это к ним обращалось огромное панно на привокзальной площади — летящий паровоз («в коммуне остановка») и текст над ним: «Левтолстовцы! Ударным трудом умножим богатство Родины!» И ради их блага, не ведая отдохновения, старались «Левтолстовский райком КПСС», и «Левтолстовский отдел народного образования», и даже «Левтолстовский мяскокомбинат». На стене станционного здания, под часами, навеки оставленными на 6.05, под барельефом Льва Толстого, мемориальная доска: здесь, на этой станции, в 1919-м, кажется, году нашей эры товарищ Калинин выступал перед красноармейцами...

Хамид подтягивает меня повыше на подушку, подкладывает мне под ноги валик (тут важно, чтобы пятки висели свободно: пятки если упрутся в ткань простыни или подкладки со временем *протираются*) и желает мне спокойной ночи. Но едва он успевает потушить верхний свет и закрыть за собой дверь, моя кровать оказывается посреди ярко освещенного просторного помещения, вроде складского, с нештукатуренными кирпичными стенами, и Хамид сидит за письменным столом совсем рядом с моей кроватью, так, что, если изловчиться и постараться, можно дотянуться до стола рукой. Возле его ног распахнутые створки подвала. Прямоугольное отверстие лаза, точно вход в преисподнюю, освещено колеблющимся темно-красным светом. Оттуда, снизу, неви-

димые руки неумоимо выбрасывают на поверхность всевозможную снедь — ящики, бочки, мешки, коробки, корзины. Хамид ведет учет поставляемым продуктам: перед ним разложены на столе какие-то казенные бланки, он проворно оглядывает всё выплескиваемое из преисподней наружу и проставляет в разграфленных листах слова и цифры. В клинике готовятся к какому-то торжественному балу, ждут большого притока гостей. Я не успеваю заметить, каким образом, мне на ноги ставят тяжелый деревянный ящик, из сот которого торчат узкие, запечатанные сургучом горлышки бутылок с красным вином. Придавленные ящиком ноги болят отчаянно, я корчусь, чтобы не кричать, сердце сжимается в комочек и не хочет разжаться снова. Наконец я не выдерживаю и начинаю звать Хамида, но он не поворачивает в мою сторону свою круглую, как шар, бритую голову, знай пересчитывает, тыкая перед собой карандашом воздух, ящики и бочки и вписывает цифры в клеточки бланков. Я понимаю, что между нами опущена завеса непроницаемой пустоты. От боли я начинаю терять сознание. Хамид со своим столом, черная, дышащая красным дыра подвала, мешанина ящиков и бочек, красный кирпич стен, — всё заволакивается темным дымным облаком, точно за окнами самолета, входящего в тучу, но в эту минуту, выявившись из мрака, около моей кровати возникают обе мои дочери, они одеты в белые врачебные халаты, у обеих в руках маленькие фонарики, наподобие электрических. Вырвавшиеся из фонариков тонкие, как спица, голубоватые лучи гиперболоида не то что разрезают ящик, но как бы поглощают со всем содержимым — стеклом, винной жидкостью, сургучом печатей. Мгновение — боли как не бывало, и ноги мои снова свободны. Дочери исчезают куда-то, Хамид упрямо продолжает трудиться над своими бумагами, я встаю и направляюсь к выходу. За дверью — длинный темный туннель. Не помню, как одолеваю его, но выхожу уже из метро, на площадь у Пречистенских ворот, прямо напротив Храма Христа Спасителя, то ли нынешнего, восстановленного, то ли прежнего, еще не снесенного.

Я перехожу площадь и погружаюсь в круговорот переулков, примыкающих к храму. Хорошо зная это место Москвы, смею предположить, что таких переулков в мое время никогда не было, разве что теснились они здесь в давние времена, до постройки храма или в пору его возведения. Но облик вечерней Москвы, открывшийся передо мной, когда я вышел на площадь, совершенно

сегодняшний — освещенные витрины, разноцветные огни вывесок и реклам плавают в темном воздухе, пятнами витражей отражаются на засыпанных снегом тротуарах и мостовых. В переулках, конечно, не в пример темнее. Я уверенно нахожу каменный одноэтажный особняк с высоким крыльцом, быстро взбегаю по лестнице и дергаю проволочную ручку звонка. Слуга в белом галстуке встречает меня, как давнего знакомого. «У ее сиятельства гости», — предупреждает он, принимая мою куртку на молнии. В углу зала за круглым столиком Софья Андреевна беседует с каким-то толстым господином, лицо которого украшено пышными седыми усами и бакенбардами. На столике перед ними чашки с дымящимся чаем, вазочка с мелким сухим печеньем. «Вы, верно, намереваетесь сопровождать Льва Николаевича на прогулку? — не приглашая сесть, обращается ко мне Софья Андреевна. — Ему нынче нездоровится, он гулять не пойдет. Да и поздно уже». Она щелкает крышечкой висящих у нее на шее часов, словно прочитывая на циферблате подтверждение ею сказанного. «Да-да, — прибавляет господин с усами и бакенбардами, — вы уж, будьте любезны, не похищайте у нас графа». Он смотрит на меня с усмешечкой. Софья Андреевна терпеливо помешивает ложечкой в чашке. Мне ничего не остается, как раскланяться. Слуга, подавая куртку, шепчет: «Его сиятельство просили на углу подождать».

Я стою на углу, стараясь держаться в тени, и еще издали вижу, как Лев Николаевич своей особенной походкой, — широко расставляя носки и ступая сначала на пятку, — быстро шагает по переулку. Тулуп на нем нараспашку — не успел застегнуть, удирая, шарф в руке. Мы сворачиваем за угол, здесь он останавливается, чтобы отдышаться, оборачивает шарф вокруг шеи, застегивает доверху тулуп, заправив бороду внутрь. Более не спеша и о чем-то беседуя, мы выходим к Пречистенским воротам. Я предлагаю отправиться на обещающее быть интересным действо, посвященное семидесятилетию художника-концептуалиста Ильи Кабакова, но он упрямо зовет меня следовать за ним. Мы пересекаем Пречистенку и огибаем угловой дом, выходящий одной стороной на бульвар (на первом этаже дома — издавна булочная), и тут выясняется, что между Пречистенкой и Гагаринским переулком, где вроде бы никогда никакого проезда не было, имеется еще один, параллельно им проложенный переулок, узкий, неказистый на вид, старинные двух- и трехэтажные строения по обе его стороны, исчеркан-

ные красными, оранжевыми, голубыми неоновыми буквами вывесок, почти сплошь освоены сомнительного вида питейными и увеселительными заведениями, недорогими киосками, игровыми залами, за окнами которых вспыхивают в полумраке разноцветные лампочки и экраны автоматов.

Давно нечищенные тротуары горбятся под ногами ледяными наростами, мы скользим, спотыкаемся, я пытаюсь поддерживать Льва Николаевича за локоть, но он сердито вырывает руку. Возле заведения с игривым названием «Под селедочку» (буквы на щите очерчены оранжевым неоновым контуром рыбы) он останавливается: «Пожалуй, зайдем на минутку». Чтобы зайти, надо подняться на несколько ступенек, от основания до верху заросших льдом (лед, похоже, не скальвали с начала зимы). Лев Николаевич крепко берется рукой за железные перила, утверждает ногу в валенке на бугристой ступеньке и начинает переставлять вторую ногу, — но вдруг скользит, срывается вниз в сторону, тяжелые перила будто подламываются и, как дуга капкана, с громким стуком падают ему на ногу. Он кричит от боли, пытается выдернуть ногу, — безуспешно. Я мечусь: то тяну Льва Николаевича под мышки, то пробую поднять перила, но они точно вмерзли в ступеньки, в придавленную ими ногу. Начинает собираться народ — странная смесь типов и одежд с начала прошлого до начала нынешнего веков, люди гомонят, обсуждая происшествие, но никто не берется помочь. В дверях вырастает огромный мужик в клетчатой рубашке с засученными рукавами и в длинном белом фартуке, приказывает: «Уберите тело». Лев Николаевич затих и лежит недвижимо, я не могу понять, жив ли он. В эту минуту мне удастся вытащить из валенка его схваченную капканом ногу. На ноге большая рана, из нее сочится кровь. Около меня возникает шустрый человек с настойчиво торчащей бородкой: «Куда поедем?» Я понимаю, что Льва Николаевича надо везти в мою клинику. «Далековато на машине-то, — говорит шустрый. — Лучше вертолетом». — «А можно?» — «Были бы деньги».

Мы долго летим над погруженной в темноту землей, под нами тут, там прямоугольники и цепочки электрических огней.

(Помнишь наш ночной полет над Кавказом: кругом тьма и селения далеко внизу — прямые и ломаные линии, скрепления огоньков освещенных окон и уличных фонарей, как отраженные на поверхности земли созвездия?..)

Обхватив Льва Николаевича, я прижимаю его к себе, держать неудобно, неподатливый тулуп напозаает ему на лицо, босая нога с зияющей раной торчит как-то вбок. Он кажется бездыханным и лишь редкие стоны, им издаваемые, убеждают меня, что он жив. Наконец, вертолет снижается и садится на пустынную площадь. Всё еще ночь, окна домов темны, только в здании клиники, внизу, в холле, горит слабый свет. Здание совсем не то, что я ожидал увидеть: вместо моего серого бетонного куба — старинное строение девятнадцатого столетия. Я вдруг понимаю, что оказался снова на Пречистенке, на другом конце ее, при всем том клиника та самая, которая мне нужна. Я поднимаю Льва Николаевича на руки и, задыхаясь, — очень тяжел — тащу через площадь. Полы его распханутого тулупа путаются у меня в ногах, выбившаяся наружу борода лезет мне в лицо, раненая нога торчит надломленной куриной лапой. Из холла вглубь здания ведет так же тускло освещенный коридор, по обе стороны — бесконечные застекленные двери: врачебные кабинеты, лестничные пролеты, ответвления других коридоров, но все двери заперты, становится ясно, что до утра мою бесценную ношу пристроить некуда. Я иду пока не упираюсь в торцовую стену. Силы мои на исходе, я укладываю Льва Николаевича на стоящую у стены деревянную скамью, такую, какие раньше были на российских вокзалах — покрытую грязно-коричневой масляной краской, с прямыми подлокотниками и высокой спинкой, на которой посредине вырезаны буквы «МПС», — и сам усаживаюсь на краешек скамьи, положив его босую ногу себе на колени. Я сижу в отчаянии, не ведая, что предпринять, пока вдруг не замечаю невесть откуда взявшуюся в углу маленькую дверцу, не застекленную, глухую, покрашенную в такой же, как скамья, казенный цвет. Я бросаюсь к дверце, гулко ударяю по ней кулаком. Дверца тут же распахивается — передо мной знакомая лестничная площадка той самой «параллельной» клиники, куда, оберегая от опасности, так часто приводит меня неведомая спасительная тропа. Окно с бронзовыми щеколдами, кое-где облупившаяся эмалевая краска подоконника, кресло без одного подлокотника, банка, заменяющая пепельницу, в которой еще дымится брошенный кем-то окурочок. И вот Лев Николаевич уже лежит в моей палате и на моей кровати, мой верный Г.З. обрабатывает и перевязывает рану. «Я только вчера возвратился из Баварии, неделю ходил на лыжах, — говорит Г.З. — В этом году на редкость много снега...»

Его руки в тонких резиновых перчатках осторожно копошатся в глубокой дыре, резко краснеющей на белой жилистой икре Льва Николаевича. «Ничего страшного, — улыбается он мне. — Но история, конечно, наделает шуму». Наконец, рана почищена и перевязана. Лев Николаевич приходит в себя и просит стакан нарзана с красным вином. «Отличное, испанское, — говорит Г.З., наливая вино из темной бутылки с острым горлышком в пузырящуюся воду, — а нарзана нет, у нас в клинике пьют *Герольштейн*...»

Коридоры — бесконечные магистрали моих странных скитаний, коридоры ярко освещенные и темные, застекленные и с непроницаемо глухими стенами... Пробираясь какими-то лесенками, переходами, тамбурами из одного коридора в другой, я двигаюсь вдоль Пречистенки и так, не выходя на улицу, прохожу ее из конца в конец, пока непонятным образом не выныриваю в залы Толстовского музея. Час ранний, посетителей еще нет, да и сотрудников тоже, но директор у себя в кабинете. Знакомая секретарша показывает мне войти. Директор сидит за огромным столом под портретом Л.Н.Толстого, за его спиной развернут трехцветный российский флаг. На директоре темно-синий морской мундир с золотыми пуговицами и капитанская фуражка, украшенная позументом. Я коротко сообщаю о происшествиих минувшей ночи. Крепкие, как яблоко, гладко выбритые щеки директора наливаются румянцем негодования. Опершись кулаками о стол, он медленно и неотвратно, точно возносясь, поднимается из своего кресла. В его сощуренных синих глазах сверкают зарницы. «Как вы посмели! — голос его рокочет где-то высоко над моей головой. — Вы обманым путем выманили Льва Николаевича из дома. Вы были причиной и соучастником нанесенного ему увечья. Мало того: вы на протяжении целой ночи укрывали тело». Ужас содеянного скрывает меня. «Выйдите, — приказывает директор. — Я должен оповестить семью». Он снимает капитанскую фуражку, кладет ее на стол, отирает лоб платком и тянется к телефону. Секретарша, провожая меня взглядом, укоризненно (подслушивала) качает головой. Я задерживаюсь было в сенях, но появляется швейцар, тоже в форменном мундире с галунами, и объявляет, что находится тут не положено — музей еще не открыт. Я выхожу на улицу и стою у подъезда в ожидании грядущей расплаты. В воздухе кружит снег, мне холодно, у меня мерзнут ноги. Подъезжает коляска, может быть, две, мимо меня следует Софья Андреевна, поддержи-

ваемая под руку вчерашним полным господином с седыми усами и бакенбардами, и кто-то двое из сыновей — все неприступны, как крепостные сооружения. По неподвижности их лиц, по тому, как они, проходя мимо, стараются не скосить глаза в мою сторону, я понимаю, что они замечают меня, но не хотят замечать. Швейцар услужливо отворяет перед ними двери, потом, обернувшись ко мне, велит не торчать у входа. Я выбираю взглядом подъезд двухэтажного дома, прямо напротив музея, перебегаю улицу и прячусь там. Сквозь стеклянную дверь я вижу, как по Пречистенке двумя встречными потоками движутся вперемежку старинные коляски и современные автомобили. Между тем по городу уже разнеслись слухи, и на улице перед музеем начинает собираться народ. Люди все гуще набиваются в подъезд, оттесняют меня к стене. Входит жандармский полковник Орлов, Александр Евдокимович, с подкрученными в иголки усами; высмотрев меня в толпе, сурово грозит пальцем. У двери выставляется часовой — статуеподобный полицейский при пашке. Я замечаю среди собравшихся моих давних приятелей, супругов Л. (О. и Т.), машу им, они не отвечают, губы у них склеены в недобрую складку. Два музейных служителя в мундирах переносят через улицу небольшой столик и кресло, ставят прямо на тротуар перед входом в мой подъезд. Затем из дверей музея появляется целая депутация: впереди Софья Андреевна, сопровождаемая все тем же полным господином (подмышкой у него бювар из тисненой кожи), следом двое сыновей ведут под руки Льва Николаевича, за ними еще какие-то люди, среди которых директор в полной капитанской форме. Лицо у Льва Николаевича бледное, глаза полузакрыты, он едва переставляет ноги, обутые в неуклюжие фетровые боты. Его усаживают в кресло, полный господин раскрывает перед ним бювар и, огладив бакенбарды, торжественно объявляет: граф Л.Н.Толстой изъявил готовность подписать новое завещание, соответствующее желаниям семьи. Сыновья монументально возвышаются позади кресла, лица их сдавлены высоко поставленными каракулевыми воротниками зимних пальто. Софья Андреевна, порывшись в сумочке, достает голубую шариковую ручку, вкладывает в пальцы мужа: «Подпи-сывай!» — «Не подпишу!», — качает головой Лев Николаевич. «Подпишешь!» — острым носком ботинка Софья Андреевна ударяет его по больной ноге. Лев Николаевич вскрикивает от боли, голова, мотнувшись, падает на грудь. Некоторое время он сидит

недвижимо, снег кружится в воздухе, ложится ему на плечи, присыпает разложенный перед ним бювар. Наконец он приоткрывает глаза, негнуцимся пальцами выводит на бумаге несколько букв. Свита аплодирует. Появляется вереница колясок и лимузинов, украшенных, как свадебный поезд, гирляндами, лентами, куклками в белых платьях. Участники действия рассаживаются и отбывают. Толпа начинает таять. Я тоже хочу выйти со всеми, хоть и не знаю, куда идти, но часовой преграждает мне путь. Я устал, ноги замерзли, ноют от усталости и холода («тоскуют» — говорили в семье Толстых). Я поворачиваюсь и начинаю взбираться по узкой крутой лестнице на второй этаж. Лестница приводит меня в большую комнату, уставленную, как общежитие или казарма, рядами коек. Я устраиваюсь на первой же у самой двери койке, накрытой серым солдатским одеялом.

В комнате, как я тотчас понял, обитают молодые люди, юноши и девушки, статные, с тонкими талиями, все в черных трико в обтяжку. Иные из них в проходах между койками и на свободном месте около окна неумоимо выполняют различные гимнастические или балетные упражнения. Они, похоже, и понятия не имеют о происходивших внизу событиях. Никто не обратил на меня внимания. Я подтыкаю себе под бок тощую казенную подушку и впадаю в забытие, теряя счет времени...

(...Плохо помню, да и не стараюсь вспоминать, что еще происходило в те многократно повторяющиеся часы, когда я барахтался в этой истории. Каким-то образом случилось попасть в Петербург, где я смотрел спектакль в театральной студии Гали Губановой; потом судьбе угодно было доставить меня в незнакомый немецкий город, где я целую ночь бродил по пустынным улицам в поисках пристанища, но на оконных стеклах домов, куда я предполагал толкнуться, неизменно была наклеена изнутри некая комбинация игральных карт, обозначавшая, что меня здесь не желают принимать и я должен немедленно удалиться; наконец, я снова оказался на Пречистенке, в том самом угловом доме, где булочная: там, если войти с торца, со стороны магазина «Софрино», торгующего церковной утварью, и подняться по лестнице на четвертый этаж, имеется квартира № 19, которую делили поэт Владимир Маяковский и мой знакомый клоун Аффразин, носивший кепочку из цветных клиньев с красным помпоном, — в этой квартире я и прячусь некоторое время, будучи подзреваем в похищении графа Л.Н.Толстого...)

Я прихожу в себя в той же комнате, на чужой солдатской койке, привалившись к тощей подушке. Вокруг молодые люди в черном плавно взмахивают руками, словно готовясь взлететь. К своему удивлению я вижу подле себя Сережу Разина, знакомого репортера, умершего лет тридцать назад совсем молодым от сердечного приступа. За выправку, лихость и гасконский нос приятели именовали его Д'Артаньяном. Модный реглан глядится на нем, как мушкетерский плащ. Сережа протягивает мне номер вечерней газеты, свернутый так, чтобы на глаза сразу попала небольшая заметка на последней странице, как раз над черной рамкой с извещением о кончине некоего Героя социалистического труда. Заметка называется «Нога Толстого». В ней говорится, что накануне поздно вечером граф Л.Н.Толстой незаметно ушел из дому и направился в расположенную неподалеку молодежную балетную студию самого авангардного направления. В последнее время он тайно поддерживал с этой студией тесные творческие отношения. Имеются сведения, что Лев Николаевич работал над либретто танцевального спектакля, в котором, в частности поднимались проблемы однополрой любви. По дороге он поскользнулся, упал и серьезно повредил ногу. Прохожие принимали лежащего в неказистом тулупе старика за пьяного бомжа и не обращали на него внимания. К счастью, проходивший мимо знакомый распознал великого писателя земли русской и тотчас вызвал по мобильному телефону скорую. Граф был доставлен в клинику медицинской академии. Его раненая нога исследуется ведущими отечественными и зарубежными специалистами... «Да у меня и мобильного никакого нет», — говорю я в смятении. «Ну, это частности, — отзывается Сережа. — Мог позвонить из автомата, из ближайшего кафе, наконец. Пошли, пошли, — торопит он меня. — Тебя в музее ждут, чествовать». Он сильно тянет меня за руку и поднимает с кровати. Молодые люди в обтянутых трико по-прежнему машут крыльями. Мы спускаемся по узкой круглой лестнице. «Родные не очень-то довольны, что выплыла эта студия, — веселится Сережа, теснясь бочком и меня придерживая. — Зато — эффект!» Внизу, в подъезде уже никого. Часовой с пашкой, завидев нас, берет под козырек. Мы выходим на улицу. Напротив, в дверях музея, высится директор в парадной капитанской форме, за его спиной — швейцар с галунами и полный господин с седыми усами и бакенбардами. Тут же прохаживается жандармский полковник Орлов, Александр Ев-

докимович, он издали машет мне рукой в белой перчатке и прителевски подмигивает. Я останавлнваюся. Чувство необыкновенного освобождения охватывает меня. (Так бывало иной раз на лыжной прогулке, уже что-нибудь в начале марта, ярким солнечным днем. Разогнавшись по лесной просеке, вырываешься на залитую светом опушку — впереди сверкающий простор поля и бесконечное небо над ним. «Стоп!» — командует Алик. Опираясь на палки, откидываешься назад, зажмурив глаза, в которых плавают красные и зеленые геометрические фигуры, подставляешь лицо солнцу. Легкий воздух напоен запахом близкой весны. Минута, другая, и вдруг будто плывешь, неведомо куда, свободный от земного притяжения, и ничего еще не было, всё впереди...) Скинув груз прошлого и не ступив в будущее, я стою на Пречистенке. В этот момент маленькие одноконные сани проносятся по улице в сторону Девичьего поля. Черные лимузины и лакированные коляски сторонятся, уступая дорогу. В санях сгорбленный человек в шинели и чиновничьей фуражке везет, держа стоймя, какой-то предмет, завернутый в ярко-желтую бумагу, — что-то треугольное, наподобие небольшой арфы. Когда сани проезжают мимо, я успеваю прочитать черную надпись на свертке: «Нога Толстого»...

В больнице меня не хватились. Да и с чего бы хватиться, когда на ногах у меня колодки в виде срезов соснового ствола, сплошь в разных направлениях исписанных какими-то текстами (прочитать их я не в силах, поскольку не могу нагнуться к своим ногам); кроме того, один охотник из Польши натянул мне на ноги тесную войлочную обувку, которая приросла к коже, я уже не раз вынужден был просить содрать ее с меня, но сделать это пока не удалось...

Однажды Блок, бесеуая с Горьким, заметил: может быть, через тысячу лет атомы, движущиеся во Вселенной, вновь соединятся таким образом, что вот точно так же, как сейчас, на том же самом месте опять будут сидеть и беседовать Горький и Блок. Предположение соблазнительное, только заковыка тут в том, что Блок и Горький, бесеуающие через тысячу лет, точно так же не будут иметь ни малейшего понятия о нынешних Блоке и Горьком, как ныне бесеуающие Блок и Горький о Блоке и Горьком, возможно, бесеуавших уже тысячу лет назад.

(Что за бессмертие, Радость моя, если, снова возродившись где-то и когда-то, я не буду знать, что это я, ты не будешь знать,

что это *ты*, мы не будем знать, что это *мы*? Бессмертие, в котором утрачена память о прошлом. Бесчисленные возвращения, в каждом из которых не утрачены ни ощущение случайности рождения, ни страх неизбежной смерти, ни загадка небытия. Если так, всё одно: всякий раз умирая, мы умираем навсегда...)

В Книге Бытие сказано, что Бог произрастил посреди рая два дерева — дерево познания добра и зла и дерево жизни. Адам был изгнан за то, что вкусил плоды дерева познания добра и зла. Но Бог сказал при этом: «Вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно»...

Христос не обещал воскресшим новой земной жизни во всей ее полноте (или — неполноте): «Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах».

И Магомет обещает правоверным гурий не на земле — в раю.

Только представить себе: Эйнштейн, не знающий ни теории относительности, ни того, что он ее творец, через тысячу лет (или тысячу лет назад) торгует рыбой на Иерусалимском базаре...

Недавно перелистывал книгу, автор которой утешает читателей грядущим бессмертием. На ее страницах собрано триста с лишним суждений великих умов разных времен и народов в подтверждение того, что, умирая, мы на самом-то деле так или иначе продолжаем жить. (Для получения пенсии российские посольства ежегодно выдают престарелым соотечественникам, обитающим за рубежом, гербовую бумагу, именуемую «Свидетельством о нахождении в живых».) Поиски доказательств бессмертия, которыми человечество занялось с той минуты, как обрело способность мыслить, продиктованы тревогой, страхом исчезновения из мира, данного нам в ощущение, трудностью представить себе потерю всех связей с ним, вообразить мир без себя или себя без него. Пушкин, определяя суть Великого *Быть Может*, очень точно обозначил два направления поисков: либо *Рай* — то есть где-то и всегда, либо *Вечность* — то есть здесь и многократно. Но при этом — *Быть Может*. Суждения великих умов интересны (подчас увлекательны), кому-то даруют надежду, кого-то уводят от отчаяния, но приводимые доказательства скорей всего обречены остаться гипотезой, в лучшем случае личным

опытом. Грядущий Блок вряд ли сообщит грядущему Горькому что-нибудь новое на эту тему (ну, разве повторит то же самое не столь материалистично, как оно прозвучало в пересказе нынешнего Горького). Всё сказанное о бессмертии каждым из трехсот великих умов не выходит за границы частного суждения. Единственное и несомненное способен сообщить только *Один*, но, может быть, *не* сообщать как раз и есть одна из важнейших задач целесообразности Творения. Свидетельства о вечном нахождении в живых, выданные Кантом и Эйнштейном, Ницше и Блаватской, Юнгом и Толстым, не более значимы, а по внутренней убежденности каждого из авторов значимы куда менее, нежели исполненная ясности бумага, назначенная затворником Феофаном умирающей сестре: «Скоро свидимся».

А Лазарь молчал...

6

Люблю следить за тем, как прибавляется день. Высчитываю по календарю время солнечного восхода и захода. Вот после самой долгой ночи свет отвоевал у тьмы одну-единственную минутку, день спустя — другую, потом — третью: я физически чувствую каждую прибавившуюся минуту света. Я выключаю стоящую возле кровати лампу и вижу, как робкий утренний свет, пробравшись в окно, растекается по комнате, как расталкивая темноту, пробирается в расщелину между книжными полками, под кресло, поджигает бронзу подсвечника, заглядывается на картинку, нарисованную внуком, когда тот был еще совсем малышом — дома с освещенными окнами, стоящие в ряд на берегу, отражаются в реке.

Помнишь, Радость моя, зиму в Снегирах? Вместе с небольшим домом, который мы сняли, на наше попечение переданы были его четвероногие обитатели — лохматый черный пес Мухтар и драчливый бродяга-кот Барсик (такие вот незамысловатые имена)? Когда стало раньше светать, мы обнаружили, что название поселка — не прихоть первостроителя: нас и в самом деле каждое утро навещали снегири: стайка птиц всегда в одно и то же время подлетала откуда-то к нашему дому и рассаживалась на заснеженном заборе, красные грудки горели огоньками в окружающей бе-

лизне. (Снегирь — твоя любимая птица. Прежде, когда ты и твои ученики поздравляли друг друга с Новым годом, вы непременно выбирали открытки с изображением снегирей.) Наш маленький внук бежал от кровати к окну, тянулся на цыпочки, радуясь видеть гостей, — мы с умилением смотрели на остренькую попку, выглядывавшую из-под клетчатой байковой рубашки. Зима в тот год была снежная, с первым по-настоящему пригревшим землю весенним солнцем мы, вооружившись лопатами, увлеченно разгребали снег, прокладывая дорогу ручьям. Внук, словно постигая счастье сотворения мира, неумоимо рыл канавки, в которые тотчас врывалась, бурля, веселая весенняя вода. Мухтар, ошалев от весны, с разбегу бросался в сугробы, взметая сверкающую снежную пыль. Негодяй Барсик, слопавший пойманную в саду птицу, взобрался, предполагая возмездие, на ветку березы и, презрительно щурясь, смотрел свысока на наши, казавшиеся ему бессмысленными труды.

Ты уже на ногах, я слышу в кухне твои шажки, звяканье посуды, время от времени ты появляешься на пороге и напряженно смотришь в мою сторону. Я показываю тебе, что жив — киваю головой или ласково машу рукой.

Хотя ночь заведомо позади, мой день еще не начался.

...Мы пробуждаемся в жизнь и обнаруживаем себя в камере смертников. Все мы живем в ожидании приведения приговора в исполнение.

И тот, кто полагает однажды и навсегда переселиться отсюда в край блаженного покоя, плавно двигаться в лодочке по озерцу, окруженному вечнозелеными деревьями и собирать выпавшие ему на долю костяшки.

И тот, кто убежден, что после исполнения приговора вновь и вновь будет возвращаться сюда, в эту камеру, потому что здесь всякий раз будет ждать его иное, нежели прежде предназначение.

И тот, для кого весь отведенный срок существования ограничен сроком ожидания казни, а там — «хуже полена», о чем размышлять равно страшно и нелепо.

И тот, кто в этом «хуже полена» нашел высшую целесообразность, кто готов обратиться в прель, дабы лечь в основание нового леса.

А завтра казнь...

Покидающих наш земной мир доставлял на своем челне в царство мертвых перевозчик Харон. Древним грекам Харон виделся мрачным старцем, одетым в рубище.

А пастор Харальд Пёльхау был молод, красив лицом и крепок телом; при исполнении своих обязанностей он надевал черное облачение с высоким белым воротником. (Его портрет стоит у меня на книжной полке.)

Судьбе было угодно познакомить меня с историей пастора.

Харальд Пёльхау жил при тюрьме, дни, а часто и ночи проводил в ее мрачных стенах. Он постоянно навещал узников, размещенных в шестистах одиночках, измученных допросами, сомнениями и надеждами, ожидавших приговор и уже услышавших его. Он знал, что для запертого в одиночку человека не существует подлинного одиночества — камеру заполняют голоса и видения прожитой жизни. Беседуя с заключенными, он старался унести с собой те осколки прошлого, которые томили и угнетали их, оставить каждому лучшие воспоминания.

Пастор Пёльхау участвовал в движении Сопротивления. Среди тех, в чьи камеры он приходил, были его друзья, знакомые. Ни один из них на допросах, под пытками, не назвал его имя. Рискуя жизнью, пастор выносил в потайном кармане письма и записки арестованных. Архив Сопротивления обязан ему многими ценнейшими документами.

Самым тяжелым испытанием в жизни, им для себя назначенным, стало сопровождение приговоренных к месту казни. После 1933 года число священников в тюрьмах резко сократилось (отношение национал-социализма к церкви не отличалось доброжелательностью), а смертные приговоры выносились как никогда щедро. В иные годы пастор Пёльхау «перевозил на другой берег» более тысячи человек.

В камеры смертников парового отопления не проводили: опасались, что осужденный отыщет способ самостоятельно лишить себя жизни. Государство всегда цепко отстаивало присвоенное им право убивать своих подданных. Холод усиливал дрожь волнения. Пастор держал при себе (недозволенную) фляжку вина, запас сигарет: глоток спиртного, глубокая затяжка многим приносили облегчение. В последнюю ночь при арестанте полагалось находиться двум охранникам. Сговорчивые унтер-офицеры из старослужащих охотно оставляли смертника наедине со священником.

Многим была необходима последняя исповедь — откровенный разговор о том, что приносило любовь и радость, боль и разочарование в минувшую уже пору пребывания на земле. Некоторые предпочитали молчать, но пастор понимал, что им легче молчать с ним вдвоем. Иным даже удавалось заснуть — сидя рядом, он почти физически ощущал, что, засыпая, они соразмеряют свое дыхание с его дыханием. Пёльхау знал также, что у тех, и у других, и у третьих впереди последнее утро — мало кто в это утро умеет оставаться спокойным: люди то и дело спрашивают, который час, встревоженно ждут приглашения на казнь. Но прежде, на рассвете, в камере появится тюремный сапожник: даст приговоренному взамен обычной обуви деревянные бахилы, снимет с него куртку или мундир, выстрижет волосы на затылке, обнажая пространство для ножа гильотины.

Казнь с помощью гильотины совершалась прямо в тюрьме и занимала не более трех минут, причем само умерщвление человека, от момента, когда его подводили к станку, до того, как его голова падала в подставленную под нож плетеную корзину, при опытном палаче и умелых помощниках (обычно из мясников), требовало лишь 10–13 секунд.

Позже, подробно описав устройство гильотины и производство казни (читая, холодеешь), Пёльхау вывел психологические «преимущества» гильотинирования сравнительно с расстрелом (количество расстрелов сильно увеличилось в годы войны, когда среди противников режима появилось много офицеров).

На расстрел возили группами в тюремном фургоне. В России такой челн Харона именуют «черным вороном», у берлинцев — «зеленой Минной». В темном нутре кузова, с единственным зарешеченным оконцем на двери сзади, осужденных усаживали друг против друга на скамьях вдоль обоих бортов; всех мест было двенадцать, но случалось, заталкивали в машину и двадцать человек. По тряскому булыжнику фургон неторопливо тащился на окраину к стрельбищу. Дорога казалась бесконечной: у людей, которых везут на смерть, свое чувство времени. Каждая минута, такая ничтожная, в сопоставлении с ожидаемой вечностью (бытия или небытия), оказывается нестерпимо долгой в сопоставлении с обратившейся в минуту прожитой жизнью. Настоящее превращается в нестерпимое ожидание мгновения соприкосновения прошлого и будущего, каким бы оно ни оказалось, — мгновения, когда Харона ладья отчалит, направляясь к другому берегу.

Машину останавливали в полусотне метров от места казни. Открывалась задняя дверца. Осужденных вызывали по одному. С вызванным выходил священник. Последний путь заканчивался у стены, сложенной из бревен и мешков с песком. Здесь человека привязывали к врытому в землю столбу. Солдаты с винтовками строились в два ряда: первый ряд стрелял с колена, второй стоя. Люди, оставшиеся в машине, застыв в молчании, слушали удаляющиеся шаги одного из них. До них доносилась команда офицера, руководившего казнью, и следом — залп. Иногда после залпа раздавался крик недобитого двенадцатью пулями человека, почти тотчас оборванный одиночным выстрелом. А потом снова — тяжелые шаги приближающихся фельдфебелей, которые сейчас назовут чье-то имя...

Как мог помочь людям пастор Харальд Пёльхау в эти тягчайшие для них минуты ожидания, которые остались самым ужасным воспоминанием его жизни? Он подходил к одному, к другому (руки у осужденных были схвачены наручниками за спиной), раскуривал сигарету и молча вкладывал в сухие губы человека, приготовившегося к смерти и никогда не готового к ней...

Древние греки клали в рот покойного монету, «обол» — это была плата Харону за перевоз.

При нацистах родственники осужденных на смерть платили за «перевоз» государству.

У меня хранится копия документа, определяющего назначенную нацистами цену смерти (*цену жизни?*):

Оплата смертного приговора — 300 рейхсмарок

Стоимость исполнения приговора — 122 марки 18 пфеннигов

Содержание в тюрьме (48 дней) — 73 марки 50 пфеннигов

Оплата почтовой пересылки данного счета — 12 пфеннигов

Всего (*всего!*) — 495 марок 80 пфеннигов

Счет отправлен для оплаты семье (наследникам) дамской портнихи Эльфриды Шольц, урожденной Ремарк.

Знаменитый брат, чьи книги публично сжигались на площадях, скитался по миру, сестра между тем на отеческой земле сболтнула что-то лишнее. Это считалось подрывом оборонной мощи отечества.

У нас государство было по-российски щедро и нерасчетливо: миллионы людей расстреляны бесплатно. Или, может быть, смерть (*жизнь*) и в копейку не ценилась?..

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

..В разных городах сразу несколько сходных судебных процессов: *Krankenpfleger*'ы в больницах убивали своих пациентов. Один такой убийца действовал в клинике, где я находился, и примерно в то же время. Он «перевез на ту сторону» тридцать три человека. Другой, еще где-то — двадцать четыре. Третий (или третья) — семнадцать человек. Убивали исключительно стариков обоего пола.

Отлично помню своих *Krankenpfleger*'ов (за редким исключением — молодые ребята) — умелых, заботливых, часто, в трудные минуты, трогательно ласковых. Они стали моими Харонами «наоборот»: перетащили меня обратно, с *той* стороны на эту. А ведь уже и кое-кто из своих смирился с мыслью, что, должно быть, настало мне время отправиться *восвояси*. Нико, Патрик, Саша, Михаэль... — нет, никогда не поверю, что кто-нибудь из тех, кто ставил мне капельницы, перестилал белье, убирал за мной нечистоты, ночью подкладывал мне под ноги подушку, а днем учил меня заново двигать ногами, что кто-нибудь из них мог бы однажды...

Но вот смог же кто-то. Этажом выше. В другом конце коридора. В соседней палате, может быть...

Что побуждало этих ребят убивать?

Прежде всего ищут обычно причину материальную. Сговор с нетерпеливыми наследниками, — что-нибудь в этом роде. Но можно ли себе представить, что в одной и той же больнице, притом никак не предназначенной для миллионеров, на протяжении года, двух лет оказалось более тридцати тяжело больных стариков, чьей смерти жадно ждали готовые заказать убийство родственники? Что все эти родственники-убийцы — целая толпа! — видимо, без особого труда находили услужливого медбрата, эдакого убийцу по призванию, готового, пренебрегая грозящим ему в случае разоблачения пожизненным заключением (смертная казнь отменена), превратить свою должность в некий комбинат бытового обслуживания (*отель «Танатос»!*)?..

Нет, я склонен поверить молодому убийце, когда он признается, что убивать побуждало его чувство жалости к тому, кого убивал. Наше «позднее время» представляется ему излишеством, ненужным, даже мучительным для нас самих. Он еще не проверил собственным существованием известного парадокса, что старость — единственный способ жить долго. Мы, люди «позднего времени», иначе, нежели он, ощущаем скорость движения времени и расходимся с ним в оценке конечного срока. Мы с почтительным изумлением размышляем над мафусаиловым веком библейских героев («всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет»), а ему наше «позднее время» («семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет») видится мафусаиловым веком. Наверно, старость иной раз блазнит их миражом покоя и воли, но созерцание немощи, болезней, утраты жизненных радостей быстро развеивает мираж. В стремлении избавить нас от нашего тягостного «позднего времени» они укрепляют весла в уключинах Харонова челна и торопятся оказать нам последнюю услугу...

...Возле меня, на соседней кровати, неделю или, может быть, десять дней лежал старик. Он не открывал глаз, не отвечал на вопросы — лежал с закрытыми глазами и либо стонал, либо спал, и тогда переставал стонать. Не знаю, был ли он без сознания или такое состояние и было его пребыванием в сознании. Лицо соседа, красивое, с резкими правильными чертами смотрелось отрешенно... — сказал бы: как у покойника, — но нет, в лице покойного мы непременно ищем что-то, и находим, — неподвижное лицо старика словно пребывало в ином, чем мы все, пространстве, куда не только нам самим, но и нашему взгляду доступа не было. Когда по утрам кто-нибудь из персонала обтирал это лицо влажной салфеткой, иногда даже брил, мне казалось, я вижу, как в музейном зале ухаживают за статуей. У старика были ампутированы обе ноги, очень высоко, по самые ягодыцы. Его ягодыцы, изборожденные глубокими рваными шрамами, были по-своему не менее приметны, чем лицо, — они хранили память прожитой жизни (я предположил для него военную биографию). Кормили старика, видимо, искусственно, с помощью капельницы; если к губам подносили поильник с водой, он делал несколько безучастных, автоматических глотков. Пищеварение между тем функционировало вполне

активно. В палате появлялись Хамид и Саша, мыли больного, переодевали, меняли на кровати белье. Когда неведомый мне курс лечения закончился, короткое тело старика завернули в большое теплое одеяло и увезли обратно в какую-то богадельню (Seniengenheim) где, как мне удалось выяснить, он обитал уже долгие годы. (Слова «старик», «престарелый» числятся здесь некорректными, взамен говорят — Senior)...

С точки зрения целесообразности нахождение старика в живых вряд ли объяснимо. Но кто может проникнуть в мир, в котором он пребывает? Кому ведомо его предназначение? Кто знает, на какой цифре кончается циферблат?..

Я был знаком с одной старой женщиной. Когда она тяжело занемогла (а болезнь ее была та самая, которая дает сто процентов смертности — старость), врачи стали предпринимать все доступные меры, чтобы сохранить ей жизнь: ее перевели на искусственное дыхание, искусственное кровообращение, искусственное питание, сквозь отверстие в животе в нее вливали воду. Около года она не приходила в сознание, превратившись в своего рода механическую деталь той системы приборов, которые удерживали ее в живых, — стала частью шланга, трубочкой, сквозь которую приборы гнали кровь, кислород, питательные вещества. Но за несколько минут до смерти она вдруг открыла глаза и улыбнулась дочери...

Я приветствую эвтаназию, но можно ли предугадать, что придет в голову самоубийце через пять минут после того, как попытка отнять у себя жизнь не удалась?..

...Остров возвышался посреди океана, волны постоянно бушевали у его скалистых обрывистых берегов. С корабля, направлявшегося к острову, уже издали можно было различить узкую красную башню маяка с обращенным в сторону океана циферблатом часов. На острове располагался небольшой городок — что-то вроде американской провинции девятнадцатого — начала двадцатого столетия, какой ее изображают в кинофильмах: белые одно- и двухэтажные дома с полукруглыми балконами под холстинными полосатыми навесами, обсаженные кустарником дорожки от ворот к дому, небольшие, помеченные яркими простецкими вывес-

ками магазины и лавки на главной улице, набитые табачным дымом салуны, где местные жители обменивались новостями и читали толстые газеты.

В определенные сроки, жителям заранее известные, океан полностью затоплял остров: тогда с проплывавшего корабля виделась над беспокойной поверхностью воды лишь оконечность башни с белым циферблатом часов, никогда не перестававших вести счет времени. Часть островитян, оформивших необходимый заказ, перевозилась на время затопления в другие страны, те, кто почему-либо не сумел или не захотел заказать для себя спасение, уходили под воду вместе с каменистой землей, на которой они жили. Но люди, избравшие исчезновение, приобретали бесценное преимущество: прежде чем погрузиться в небытие они могли назвать дату своего возвращения и, соответственно, вновь появиться на этом свете тотчас после спада воды, через сто или через тысячу лет — по желанию.

Мне случалось несколько раз навещать остров, в последний раз я попал туда как раз перед затоплением. Город был охвачен суматохой. Люди выносили пожитки — то, что можно было унести, — и уталкивали в стоявшие у дверей грузовые и легковые автомашины. Хозяева магазинов забивали витрины тяжелыми деревянными щитами. (Похожие картины я наблюдал несколько лет спустя по телевизору во время наводнения в Новом Орлеане.) Рядом с суетными действиями отъезжающих было особенно заметно внешнее спокойствие остающихся. Они были как фотографии, поставленные перед киноэкраном, на котором мчится разгоряченный боевик. Задумчиво покуривали на своих балконах или, стоя у изгороди, без интереса следили за тем, как их соседи уталкивают в кузова автомобилей коробки и тюки. Молодая женщина с ребенком на руках, раздвинув тюлевые занавески, стояла у окна второго этажа и смотрела на вереницу разнокалиберных машин, двигавшихся по улице в сторону порта. Мальчик во дворе, поставив велосипед колесами кверху, спускал из шин воздух. Салун был открыт и полон народа, люди за столиками и у стойки неторопливо отхлебывали из стаканчиков спиртное. Перед входом девочки-школьницы начертили мелом на асфальте «классы».

По принятому обычаю люди перед исчезновением собирались на самом высоком месте острова — на просторной площадке у подножия маяка, будто так уж важно было отложить небытие на

считанные часы или минуты. Многие уже направлялись туда, двигаясь навстречу автомобильному потоку. Я пошел следом. Я, собственно, и прибыл на остров для того, чтобы исчезнуть. Мне было девяносто три года (так я почему-то полагал), я хотел взять неизбежное в свои руки, я не хотел, чтобы это близкое неизбежное, когда наконец (*конец?*) подступит, показалось неоправданной случайностью. По дороге ко мне несколько раз подходили чиновники в униформе с изображением птицы на груди (птица Феникс?), просили назвать желаемую дату возвращения, но я не решался назвать ее. Я не знал, как движется время в небытии: кажется ли прошедшее тысячелетие минутой или минута тянется тысячелетием?.. Практическое соображение, в какую эпоху и при какой ситуации на этом свете я возникну здесь снова, тоже меня тревожило, не способствовало решению назвать точную дату. Но, может быть, мне просто не хотелось возвращаться. Не помню.

Вода поднималась все выше. Острые зубцы береговых скал лишь изредка выныривали между качающимися волнами. Серые пенистые волны захлестывали площадку, на которой мы теснились. Люди вокруг заметно убывали, их будто уносило каждой набежавшей волной, но я не успевал заметить, как это происходит. Я очень волновался. Момент исчезновения страшил меня больше, чем само исчезновение. Чиновник с птицей на мундире возник рядом со мной: «Пора!» Я почувствовал, точнее, не только почувствовал, но как-то странно увидел, одновременно изнутри и снаружи, что в кратчайший — доля секунды — миг сделался совсем маленьким, крошечным, как, наверно, зародыш в первую неделю зачатия, и, скорчившись, в позе зародыша, оказался внутри ореха, обыкновенного орешка-фундука, в полной темноте, под его янтарно-коричневой, снаружи гладко полированной, изнутри — ворсистой и мягкой скорлупой. Я видел (снаружи), как волна слизнула орешек с площадки и утопила в океанской бездне, видел, как он устремился в глубь, кружась и мечась в толще серой пузырящейся воды, видел и одновременно чувствовал, находясь внутри, в темноте, как новая волна подхватила мой орешек и одним махом вышвырнула его обратно на берег, как он запрыгал, постукивая, по каменистой площадке и снова был подхвачен и унесен накатившей водой. Я ждал исчезновения, небытия и поначалу убеждал себя доводами оставленного мира: «Мне девяносто три года, — говорил я себе, — мне девяносто три года!

Зачем мне дальше, дольше быть там (здесь?), зачем?.. Скорее! Скорее!..» А орешек то падал в пучину, то снова прыгал, стучал по камню площадки.

Когда-то, в молодости, я ночевал в горах под открытым небом. Ночи были холодные. Я ложился на бок, укрывался с головой, подтягивал колени к груди, со всех сторон подтыкал под себя одеяло. Прежде чем заснуть, мне чудилось, что я вот так, в позе эмбриона, лечу (и вижу это со стороны) сквозь бесконечное пространство Вселенной: скопления созвездий, целые галактики, как стустки икры в реке, проплывают мимо, а я все лечу и лечу, уже не ощущая себя как материя — только устремленное куда-то движение...

Теперь же сферическое пространство, окованное крепкой скорлупой, теснота и темнота, скрюченная поза, все больше наливавшееся тяжестью крошечное тело, погружения в бездну и смятенные прыжки орешка, в который я упрятан, по каменистой тверди, способность и вынужденная необходимость наблюдать внутренность орешка и одновременно эту нескончаемую игру, затаенную с ним океаном, приводили меня в отчаяние, с каждой минутой мое положение казалось мне нестерпимее. Страшная мысль пронзила меня: неужели этот фундук, эти оковы скорлупы вместо материнской утробы, и есть вечность, в которую мы исчезаем, с тем, чтобы (если предначертано) когда-нибудь, в названный срок, снова возвратиться в утраченный мир?.. Зачем мне такое *Быть Может*: мне девяносто три года, пусть осталось совсем немного, шажок один, пусть только до девяноста четырех — век Федора Глинки и моей мамы — я хочу дожить свой полный срок *сегодня и здесь*...

Я лежал на своей кровати, вытянув малоподвижные, трудно сгибавшиеся ноги. Вокруг буйствовал океан. Волны рушили стены здания. Половина палаты, слева, уже скрылась под водой. Бортовая качка сваливала кровать то в одну сторону, то в другую. Далеко впереди, над бегущими грядами серой воды виднелась красная башня маяка с белым циферблатом часов. Ловко удерживаясь на качающемся полу, ко мне приблизился Хамид. На груди его халата темнела нашивка с изображением птицы. Может быть, это была птица Феникс. Хамид держал в руке пластиковую одноразовую рюмку, наполненную желтой микстурой. «Вам не следует тревожиться, — сказал он. — Родные уже оформили заказ на вашу перевозку. Наша фирма выполняет заказы точно в срок...»

...Ты уже встала, Радость моя. Я слышу на кухне твои шажки, слышу, как ты гремишь посудой. Ты давно не готовишь, но в тебе живет потребность убирать со стола, укладывать в моечную машину или переставлять в шкафу тарелки и чашки, хоть это и не всегда по силам твоим рукам, измученным болезнью, переломами и вывихами. Когда я встану, ты будешь просить у меня прощения за то, что мешала мне спать, — а для меня счастье слышать за стеной стук твоих шажков, звяканье посуды, знать, что вот сейчас я позову тебя, и ты войдешь в комнату, приблизишься к моей кровати, молча, со слезами на глазах обнимешь меня, поцелуешь мою голову и руки.

Странно: здесь всегда поют птицы, днем и ночью, зимой и летом. Когда прибывают дни, они начинают петь особенно много и охотно.

...«Как гулкий колокол набата неистовствовал соловей»... Майским вечером мы стояли, замерев, на дышащей теплой пылью дощатой платформе и заворожено внимали этому невообразимому, как чудо, пению. Роца подступила к самой линии железной дороги, мимо нас с грохотом проносились грузовые составы, колеса многотонных вагонов и цистерн вминали в землю стальные полосы рельс, свистели, скрежетали, колотились на стыках, но не в силах были заглушить самозабвенное пение невидимого певца. Будто и в самом деле он оказался со своей веткой в самом центре мироздания, в вершинной точке раскачиваемого его пением небесного купола. Солнца уже не было видно, но небо еще светилось, отливая тускнеющей бронзой. Подошел наш поезд. Мы взглянули друг на друга — и остались стоять на платформе. Не было сил расстаться с чарующим пением, неосторожным движением оборвать его. Пискнул свисток, зашипели, глухо ткнулись одна в другую резиновыми прокладками сходящиеся двери, скрипнули колеса — поезд тронулся с места. И в этот миг соловей перестал петь. Будто вместо нас уехал с отправившейся электричкой в Москву. Мир показался оглушительно пустым. Мы молчали, растерянные, словно старясь угадать, что будет с нами дальше. Небо померкло. От роцы потянуло темнотой и пронизывающей прохладой. Душу заскребли сожаления об упущенном поезде, о легкомысленно не взятом свитере. Память растерянно металась выстраивая колонки расписания поездов. Раздраженное уныние уже овладевало нами. Но тут

птица объявилась снова: несколько раз, точно настраивая инструмент, попробовала голос, умолкла на долгие секунды, задумавшись о чем-то, — и вдруг провела певучим смычком по струнам, зазвенела, защелкала, пробежала по одной ей ведомым гулким, податливым клавишам, выдохнула душу в трубки свирели и, перемежая дробь, переливы, лешевы дудки (как там еще называют знатоки соловьиные колена?) разом взмыла в вершину небесного свода... «Вечно бы слушать», — сказала ты.

Греми посудой, Радость моя!.. Греми посудой! Пой, бормочи что-то свое, невнятное — я хочу слышать тебя.

Под окном звонко и весело, как птичья перекличка, звучат детские голоса. Через несколько минут во дворе начальной школы, неподалеку, раздастся громкий, дребезжащий звонок, извещающий о начале уроков.

Я отпиваю глоток холодного чая и устраиваюсь поудобнее на подушках.

Самый сон...

Самый сон...

СТАРИК НА ОБОЧИНЕ

Старик сидел на земле, опустив ноги в придорожную канаву, налитую водой после ночного дождя. Вокруг раскинулась побуревшая от долгого зноя степь, полоса дороги пересекала ее надвое. Направо поглядеть или налево, дорога тянулась куда-то до горизонта, и еще дальше,

Давно уже (годов он не считал) старик шел и шел по дороге, как она вела его, не обременяя себя раздумьем, где он есть и куда идет. И всюду на бесконечном пути его встречала война. Поля были истоптаны сапогами, искалечены колесами, деревья и кустарник обглоданы пулями, осколками снарядов.

Солнце припекало, старик чувствовал его плечами сквозь ветхий полушубок, но всё никак не мог унять озноб. Холщевые штаны его были мокры, от дождя или от недержания, и земля под ним была сырая, с ночи.

Ноги у старика болели. На левой и вовсе багровела открытая рана.

Старик огляделся. Место хорошее. Только и есть вокруг земля и небо. Если здесь зароят, будет лежать на приволье.

Вдали на дороге показались трое верхами. Старик, сощурился, высматривал: что за люди. На своем веку он перевидал и обдумал несметное множество разных людей, но пристальное любопытство по-прежнему неугасимо влекло его к ним.

Трое приблизились. Под передним, наверно, главным, был серый конь хороших кровей, под другими двумя — лошади простые, крестьянские.

Всадники заметили старика и остановились.

«Кто такой?» — сурово спросил главный.

Его кожаная куртка была перехвачена хорошей офицерской портупеей с большой, тяжелой кобурой на поясе.

«Хожу по белу свету».

В глазах у старика светлело небо.

«И далёко ли ходишь?»

«Земля просторная».

«На что тебе простор? — У главного подергивалась щека: контузия, должно быть. — Тебе и трех аршин хватит».

«Хватить-то хватит, да свои три аршина не сразу съешь».

«Это ты не сомневайся. — Главный положил ладонь на кобуру револьвера. — Мы тебе твои три аршина враз определим».

«Это у вас быстро», — согласился старик.

Молодой конник, почему-то в матросской рубахе под солдатской шинелью, выехал чуть вперед и принялся стаскивать висевшую на спине винтовку.

«Из попов, небось? — засмеялся он. — Бородищу-то отрастил».

«Погоди, — остановил его главный и снова повернулся к старику: — Какого рода-звания будешь?»

«Звания самого простого — человеческого. Другого вроде бы и не имеется».

«Звание имеется разное, — строго сказал главный. — Красный и белый, буржуй и пролетарий, господа и народ. Так оно нашему выходит...»

«Да разве все они не люди? Добрые, злые, хорошие, плохие, а — люди».

«Были — люди, — встрял в разговор третий всадник, чернобородый, в крестьянской одежде. — Были люди, когда с мужика шкуру драли. А теперь — дай нам наше в людях походить».

«И как же это — в людях?»

«Землю, скотину промежду собой поделим поровну, а господ да буржуев — к стенке», — объяснил чернобородый.

«Да отчего же непременно к стенке? Не надоело убивать-то?»

«Нам не убивать никак нельзя, — сказал главный. — У нас с капиталом последний, смертельный бой. Либо мы его, либо он нас. Пока врагов революции не уничтожим до последнего, новую жизнь не построим».

«Вы разве новую строите?»

«Ты что, незрячий? По земле ходишь и не видишь, что вокруг делается».

«Вижу: телега перевернулась кверху колесами, каждый запрягает и волочит в свою сторону. А дорога — вот она. Если телегу опять на колеса поставить да сесть всем вместе, можно мирно решить, по-божьи».

«Я говорю — из попов, — засмеялся молодой в матросской рубахе. — Ишь, стелет!»

«По-божьи народ завсегда в дураках останется, — сказал чернобородый. — А телега твоя, может, и вовсе давно без колес».

«А ты старик — опасный, — дернул щекой главный. — Тебя за твою агитацию расстрелять надо. Да пули жалко: сам долго не протянешь, вон колотит-то всего».

Лошади нетерпеливо переступали ногами. Черные искры дорожной грязи летели из-под копыт...

«Ну, не меня, хоть пулю пожалел», — улыбнулся старик.

«Ты, старик, смотри», — главный похлопал ладонью по кобуре и тронул коня.

«Смотрю...» — отозвался старик.

Он когда-то много думал о смерти как о пробуждении,
Такое и произошло с ним.

Приговоренный к смерти течением болезни, докторами, близкими, газетчиками (уже и последние слова произнес, которые впору напечатать в любой биографии), он вдруг и впрямь пробудился: откуда-то снова явились силы, и снова всё ему удавалось, — невидимый ушел он от всех, от болезни, от докторов, близких, газетчиков, заполнивших маленькую, прежде неведомую железнодорожную станцию, ныне прославленную тем, что он здесь умирал, и, отныне сам никому неведомый, двинулся в путь по открывшейся перед ним бесконечной дороге. Годы прошли (годов он не считал), и теперь ему суждено быть погребенным на этой дороге, если, конечно, среди прохожих и проезжих найдется добрый самаритянин, который не поленился вырыть яму и закопать его. Говорят, в древности мудрецы завещали хоронить их на большой дороге, чтобы ноги живых, идущих дальше, топтали и разносили по миру их прах. А тут, надо же, всё само образовалось.

...Лихорадка не унималась. Рана на ноге кровоточила. Когда-то, в давней жизни, о которой он почти разучился вспоминать, врачи нашли у него воспаление вен. Ему давали порошки, меняли повязки. Слуга Илья Васильевич возил его по дому в кресле-коляске на высоких колесах. Старик в недоумении покачал головой. Стал вспоминать, когда же это могло быть, но не вспомнил.

В отдалении, в той стороне, куда проехали конные, послышались частые выстрелы. Люди продолжали убивать друг друга.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Татьяна Бек. Было — так</i>	5
Из детского альбома	9
Позднее время	101
Старик на обочине	228

Владимир Порудоминский

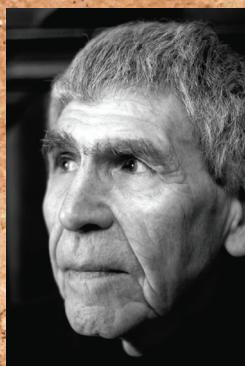
СТАРИК НА ОБОЧИНЕ

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.
Издательство «ФОП Ретівов Тетяна»
01001, г. Киев,
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3
Тел. (+38) 096-53-85-115
www.kayalapublishing.com

Отдел продаж
Kayala@ukr.net

Формат 66x88 ^{1/16}
Усл. печ. л. 14, 5
Подписано в печать 26. 03. 2018
Печать офсетная



Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ (1928) — писатель, автор многочисленных книг по истории русской культуры. Уже более полувека внимание читателей привлекают написанные им биографии выдающихся писателей, художников, ученых (многие из них увидели свет в сериях «Жизнь замечательных людей», «Жизнь в искусстве», «Писатели о писателях»). Широко известны его книги для детей, в частности книги об искусстве. Составитель и комментатор изданий русских писателей-классиков. В отечественной и зарубежной печати публикуются его рассказы и повести, мемуарные повествования, очерки и статьи.